НЁМАН

6/2018
ИЮНЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир САЛАМАХА. Если упадет один… *Повесть.*
Перевод с белорусского О. Никольской 3
Микола МАЛЯВКА. Нам защищать самим живое слово. *Стихи.*
Перевод с белорусского Г. Авласенко 57
Иван КАРЕНДА. Ой, Нёман! *Мысли-догадки.*
Перевод с белорусского О. Пушкина 61
Анатолий АВРУТИН. Прощание с августом. *Стихи.* 74
Юлиана ПЕТРЕНКО. Табор уходит в небо. *Рассказ* 79
И новый день наполнится теплом. Алесь ДУБРОВСКИЙ-СОРОЧЕНКОВ. *Стихи.*
Перевод с белорусского Г. Пудова, А. Рыжова. **Змитер АРТЮХ.** *Стихи.*
Перевод с белорусского Г. Пудова 84

Соприкосновение

Микола МИКУЛИЧ. «Я учился, влюблялся, дружил…» 87
Феликс ЧЕЧИК. Возвратиться — никогда не поздно. *Стихи.* 89

«Всемирная литература» в «Нёмане»

Джо АЛЕКС. В бесшумном полете гналась я за ним. *Повесть. Окончание.*
Перевод с польского Р. Святополк-Мирского при участии В. Кукуни 93
Зинаида КРАСНЕВСКАЯ. Переводчики, которым хочется сказать «спасибо».
Вера Маркова 130

Документы. Записки. Воспоминания

К 100-летию Петра Машерова
Эмануил ИОФФЕ. Пятнадцать лет во главе Республики 141

Личность

Раиса СЛУЦКАЯ. В поисках истины 157

Время. Жизнь. Литература

Изяслав КОТЛЯРОВ. Поэт непостижимой простоты 167

Культурный мир

Вадим САЛЕЕВ. Современный белорусский театр
на фоне национального смотра 176

Литературное обозрение

С точки зрения рецензента
Олег ЖДАН. Литературный диалог 186

Напоследок

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ. «Арбузы на пробу показывают красные языки…»
Рыгор Бородулин и Азербайджан 190

Авторы номера 192

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 325-85-25, заместителя главного редактора — 319-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 304-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Павел Яковлевич СУХОРУКОВ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 12.06.2018. Формат 70 ×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,80. Уч.-изд. л. 16,96. Тираж 1325. Заказ

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*

16 +

Владимир САЛАМАХА



Если упадет один...*

Повесть

Часть 1

1

…Иосиф, с огромными трудностями перейдя болото, отделяющее хутор от шоссе, а точнее, от внешнего мира, окончательно выбившись из сил, еле выбрался на твердое и как подкошенный упал на тропку между крыльцом дома и двумя березами. Дышал он глубоко и тяжело. Сердце стучало так часто, что казалось, еще мгновение — выскочит из груди. В висках кололо, в голове стоял какой-то зловещий звон. Глаза жгло, веки слипались, и только большими усилиями воли удавалось открывать их.

Он долго лежал на холодной земле, уже вобравшей в себя влагу первых осенних дождей и сырость утренних туманов. Лежал неподвижно, прислушиваясь к самому себе, будто приглядываясь со стороны — живой ли… Конечно, живой, коль так сильно клокочет в груди, коль болит, режет глаза. И когда открывал их, прежде всего видел две высокие березы шагах в двадцати от себя, а потом уже лес, окружающий хутор, серый и унылый. Медленно качались длинные желтые косы берез, казалось, касаются высокой пожухлой травы, то приоткрывая почти до половины желтый бугорок под деревьями, то закрывая его. А через некоторое время, кое-как успокоившись, Иосиф попытался подняться, попробовал оттолкнуться от земли, но руки в локтях будто надломились — рухнул на тропку, прохрипел: «Боже… Что же мне делать…» Конечно, ни от кого он не ждал ответа и через минуту отчаянно вымолвил, обращаясь к самому себе: «А надо ли что делать?.. В Гуду идти?.. Нет!»

А в это время на окраине Гуды возле дамбы собрались Михей, Николай, Игнатий и Надя Соперские, их дочь Света, а также Катя с сыночком Петриком. Собрались, чтобы проводить в дорогу Ефима и Валика. Михей, Николай и Игнатий держались спокойно, что предстоящее далекое плавание по реке будет непростым, будто не знали, что Ефим только что оправился от болезни, а у Валика для такого путешествия опыта маловато. И женщины скрывали волнение, особенно Надя, мать Валика. Она, отведя сына в сторонку и искоса поглядывая на мужа, казавшегося совершенно спокойным, говорила: «Валик, ты уже взрослый, за дедом смотри. За старым, как за малым, глаз да глаз нужен». Валик молча кивал головой, дескать, понимаю, не волнуйся, мама…

---

* Журнальный вариант третьей повести трилогии «…И нет пути чужого». Первая под одноименным названием напечатана в журнале «Нёман» № 2, 3 за 2011 г. Вторая — «Чти веру свою…» — в № 2, 3 за 2015 г.

А Катя, подойдя к старику, стоящему на мостку, к которому была привязана лодка, словно пригрозила ему:

— Дядь Ефим, посмейте только приплыть без Иосифа! Скажи ему, мы все его ждем. Скажи, что есть где ему жить, вон в общежитии лесоучастка свободных мест полно.

— У меня поживет, пока новый дом поставим ему, — сказал Ефим. — Захочет — на месте его дома, фундамент же из камня, прочный, не сгорел, и паводок его не разрушил, да и, подновить можно. А не захочет там, так где сам решит, там и поставим — у реки, у бора…

Старик уверенно прошел по качающемуся мостку к лодке, посмотрел на нее, чтобы в который раз убедиться, надежна ли. Конечно надежная, сам каждую весну дно просмаливал, обстукивал борта, заглядывал в уключины, чтобы все было как надо. Остался доволен — дно было сухое, рюкзаки с едой и теплой одеждой не подмокнут. Лодка вместительная, с широким дном, высокими бортами — добротная, известно, для себя делал Иосиф, а лодки мастерить он умел как никто в Гуде.

Мужчины Ефиму никаких советов не давали — лишнее, старик лучше них знает дорогу в Кошару, да и, как держаться на воде, не надо его учить. И никто не пытался, как вчера, отговаривать его от намерения отправиться в дорогу, знали: если Ефим Михайлович на что-то решился, сделает. Знали также, что все до мелочей продумал старик, он жизнью изрядно потерт.

И это так: решил — сделает, никто и ничто его не остановит. И жизнь потерла его как никого из односельчан. Вчера, пока Ефим от шоссе в деревню вез в телеге женщин с детьми, он много думал о том, что было в его жизни, что есть и будет. В пути думается хорошо. Особенно если не торопишься, если лошадь сама спокойно идет по знакомой дороге, направляясь туда, где ее ждет хорошая охапка сена, а то и полведра овса. И Буланчик шел мерно, хотя Петрик время от времени дергал вожжи, подгонял его.

Многое вспомнил Ефим из того, что касалось жизни бывшего друга Иосифа Кучинского. Вспомнил, будто со стороны посмотрел и на свое, и на его. Посмотрел и на то, где пересекалось свое и чужое, да как… Все там было: и хорошее, и не очень, и совсем плохое. И у Ефима, и у Иосифа, и там, где пересекалось. Вспомнил, как быстро сдружились, когда Ефим пришел в Гуду... Как жили в деревне, как работали, вместе людям избы ставили, детей растили… Вспомнил и о том, как война развела их по разным сторонам... Вспомнил и паводок после того как взорвалась дамба, и сжалось сердце, словно в него шило воткнули, — исчез тогда Иосиф бесследно, а виноват в этом он, Ефим… Семь лет о нем ничего не было слышно, и вот наконец — жив!.. Так Катя говорит. А вдруг она ошиблась?.. Вдруг она Антона приняла за Иосифа — старые люди чем-то похожи. Тогда нет Иосифа на свете. А если так, на нем, на Ефиме, смертный грех. И будет лежать на душе, пока он ходит по земле, а может, и там, на том свете не даст ему упокоения.

Как только не укорял себя Ефим в мыслях за то, что случилось между ним и Иосифом, когда тот той страшной ночью приплыл к ним на пригорок, а облегчения нет. Укоряй себя не укоряй, кайся не кайся, а то, что по твоей вине свершилось, этим не исправишь. Ишь, бес в душе у Ефима сидел. Увидел Иосифа, подплывал тот к пригорку, еще издали, из кромешной тьмы хрипел, людей звал, Ефима, да и всех, кто от паводка там спасался, и будто кто указал Ефиму: «Гони его! Он, он виноват во всем, что случилось в Гуде в войну».

Еле сдерживал тогда себя Ефим, открыто не гнал. Не кричал. Не показывал того, что было на душе. Но говорил с Иосифом враждебно, с едкой

насмешкой: ничтожество… Говорил и понимал, что слова его больно били Иосифа, проникали в сердце, да так, что, наверное, невмоготу ему было все это слышать, невозможно было там оставаться — ушел… Страшно все это. И сейчас, раздумывая о том, как будет плыть в Кошару, сможет ли перейти болото (может быть, тот, кто живет на хуторе, перебросил в другое место плашки), что скажет Иосифу, если это он там, Ефим, еле сдерживал себя, чтобы не сказать вслух: «Что же я сотворил тогда, старый дурак...»

А вчера, когда ехали на телеге от шоссе в Гуду, вспоминая, как и в молодые годы, да и позже, видя немало горестного в жизни Иосифа, зная, что тому нужна его помощь, будто ничего не замечая, проходил мимо. Стеснялся, не хотел вмешиваться в чужую жизнь? Как сказать… Вспоминал, что и до войны, и в войну, когда сын Иосифа Стас служил в полиции, односельчане не сторонились Кучинского, понимая, что не виноват он, а женщины даже сочувствовали. Впрочем, помнится, до войны, когда еще была жива Мария, жена Иосифа, люди не просто сочувствовали ему, жалели его: хороший человек, а баба вьет из него веревки, брезгует им, и он все переносит молча.

Также вспоминал тогда и слова участкового Савелия Космановича, сказанные вскоре после того, как исчез Иосиф, что власть не считает его виноватым за действия сына-полицая. Выходит, власть за Иосифа, а ты против него… Если так, то получается, что ты, Ефим Боровец, против власти?.. Да кто ты такой!..

Понимает Ефим, что перед людьми Иосиф ни в чем не виноват. И перед ним лично — также. А вот он, Ефим, во многом чувствует свою вину перед бывшим другом. И не надо считать себя едва ли не святым, а ко всему, еще и выносить Иосифу свой личный приговор.

Есть у Ефима вина перед Иосифом, есть, и особенная. Она, будто приклеенная, тянется за ним еще из их далекой молодости. Столько лет прошло, давно пора позабыть, но нет, случается, душу так всколыхнет, что хочется закричать, да так, чтобы мир содрогнулся: «Почему же ты тогда друга одного в беде бросил, Ефим?!. Как же это могло случиться? Ведь ты сам столько горя хлебнул, знаешь, что почем. Тебя же малого, сироту, чужие люди подобрали и спасли от голодной смерти, и как бы им самим ни было тяжело, в беде не бросили, вырастили, в жизнь пустили… Эх, Ефим, Ефим...»

Ну что ж, со стороны легче на себя смотреть, со стороны и осуждать себя легче…

Думал так старик и еле сдерживался, чтобы не закричать, но уже сам себе: «Какой же позор!..» А как еще назвать то, что случилось? Не поддержал Ефим Иосифа, когда бабы оклеветали его девушку, когда своими языками клеймо на ней выжгли: «Блудница!.. Днем при всех голышом к жеребцу явилась…»

Видел Ефим, как Иосиф страдает, как ходит словно неприкаянный. Но не подошел к нему, не утешил, даже руки на плечо не положил. А почему?.. А вот этого он и сам толком не знает. Может, потому, что не нравилась Ефиму Теклюшка. Душа его отталкивала ее: случается такое меж людьми… Не понимал Иосиф, как Ефим может ее любить.

Ладно, пусть не утешил Иосифа, не поддержал в трудную минуту, это еще ничего. Иное хуже: сказал же Иосиф ему, что пойдет повидать Теклюшку, когда Авдей повезет ее венчаться. Знал Ефим, опасное, непростое дело и для себя, и для нее затеял Иосиф, но не пошел с ним… Боялся, что побьют Авдеевы прихлебатели? Нет, не боялся, но и теперь нет у Ефима ответа, почему не пошел с ним.

Иосиф один пошел. Вне себя был, словно чумной. И Теклюшку не вернул, и Авдеевы дружки измолотили его как сноп, долго Иосиф кровью харкал. Так какая после это могла быть дружба между ним и Ефимом?..

Удивительно, что после этого он вообще не отвернулся от Ефима. Если бы такое стряслось с ним, Ефимом, он ни за что не простил бы. После этого они какое-то время все еще держались друг друга, хотя прежней искренности и открытости между ними уже не было, и постепенно дружба угасала, пока не угасла совсем.

Окончательно их развела по разные стороны война. Она будто провела между ними борозду, да такую глубокую и широкую, что через нее не перебежать, не протянуть друг другу руку...

А что оболгали, оклеветали бабы Теклю, Ефим позже узнал. Услышал однажды, как Авдей Юхновец, уже прожив с Теклей несколько лет, на какой-то гулянке в Забродье пьяный хвастался парням, дескать, я и сейчас могу любую девку так приручить, что косы ее буду накручивать себе на руку, а она и не пикнет…

Больно кольнуло тогда Ефима: это что еще за «прирученье» такое? И что значит любую?.. И его Марфушку Авдей мог бы так одурманить, если бы встретил раньше, чем Ефим? Однако ж…

Глянул на Авдея, на парней — стояли у плетня, курили: тот красный, уверенный в себе, слова нехорошие словно шелуху в лица им бросает, а те лоботрясы ржут, как жеребцы: «Научи!»

«Научи, — скалился Авдей. — Задаром? Задаром и чирей на задницу не сядет... Одно могу сказать, секрет отвара знаю, дорого он стоит, а вы — научи!.. Дай ей выпить того отвара, одуреет, и веди ее, как овцу, куда хочешь. А вы здесь топчетесь, на девок пялитесь — и никакого толку! Женихи...»

На улице это было, возле дома, в котором гуляли. На все лады заливалась, захлебываясь, гармошка, кто-то оглушительно колотил в бубен, женщины сыпали припевками, колкими, высмеивали незадачливых кавалеров, которые боятся подойти к девчатам…

Ефим Авдея давно знал, не любил: кривляется, задается, дескать, кто вы передо мной, голь этакая… На вечеринках всегда первый, и когда парнем был, и сейчас, женатый. Поговаривали, что и теперь дома женушку взаперти держит, а девчат, которые у него работают, втихаря таскает в гумно и в стога… И вообще говорили, что немало девичьих слез пролил, и все ему как с гуся вода…

Говорили, возмущались, но не трогали Авдея, боялись его, но и шли к нему хоть что-нибудь заработать — где ты в деревне найдешь копейку, как не у Юхновца?

Понял тогда Ефим, что по злому умыслу обесчестил Авдей Теклюшку, чем-то опоил ее, вне себя она была, когда бабы их в снопах застали. Знал, Авдей давно к ней присматривался: красивая, трудолюбивая — такая нужна в хозяйстве. А что ершистая, так с бабьей ершистостью, коль совести у мужика нет да рука крепкая, он вмиг справится… (Старые женщины, случалось, поучали кого из парней, кто долго не женился, дескать, возьми эту или ту. Перезрела, лицом не пригожа? С лица воды не пить. Зато — какая работница! И хозяйство будет ухожено, и никакой Авдей в блуд не сведет.)

Глянул тогда Ефим на Авдея, внутри все будто взорвалось, закипело, хотел закричать: «Ах ты, погань несуразная!» — да наброситься на него… Но не закричал, не набросился: «Скажут, обезумел Ефим Боровец, на людей ни за что ни про что кидается».

Понял Ефим, что случилось тогда с Теклей, когда бабы застали ее с Авдеем в снопах, но Иосифу об этом не сказал. И теперь не знает почему... Хотя, может, уже тогда стыд жег его, Ефима. Еще бы: Иосиф побежал перегородить

лошадям дорогу, когда Авдей вез Теклюшку под венец, чтобы в последний раз повидать ее незамужнюю, а может быть, и воротить себе, так Ефим не поспешил с другом. Нет… А сейчас пришел, чтобы сказать, что оговорили ее? Поздно…

И Марфе своей об этом долго не говорил, носил в душе стыд, и стыд, казалось, обжигал ее, словно раскаленный камень. А Марфушка, наверное, догадывалась, что нет уже прежней дружбы между Ефимом и Иосифом, но ни о чем не спрашивала.

Уже после того, как раскулачили Авдея и сослали вместе с Теклей (тогда никто не знал куда), как-то обмолвился Ефим: «Камень у меня, Марфушка, на душе… Давит, нет мочи терпеть».

Выслушала тогда его жена, долго молчала. Затем, собравшись с мыслями, молвила: «А что бы ты тогда изменил в судьбе Иосифа и Текли? Ну рассказал бы Иосифу, как все было, так что, он бросился бы к Авдею да Теклю забрал? Так она уже перед Богом была Авдеевой женой».

Действительно, ворвался бы Иосиф в чужую семью, порушил ее, что здесь хорошего… И люди смеялись бы. А не сказал, так, может, и лучше…

Рассуждал тогда Ефим и так: Иосиф уже давно семейный человек, хоть и лада в его семье нет, а все-таки живут… Зачем, чтобы Иосифу и Марии было еще хуже...

Две семьи мог бы порушить тогда Ефим. Правда, у Авдея с Теклей детишек не было. А у Иосифа и Марии — сынишка. Его или не его — Ефиму до этого нет дела. Бабы сплетничали, что Иосиф брал Марию брюхатой. Говорили, она на него чужое повесила — парень у Марии до Иосифа был, крепко любились...

Ах, бабы бабы... Давно уже у вас все женское угасло, а все не терпится кого-то из молодых оговорить, хоть в мыслях, да возле чужой кровати постоять. Был — не был у Марии парень, какое ваше дело?.. Не слепой же Иосиф брал ее. Дитя принял и растил как отец. Вот только беда, вырастил такого супостата, которого здешняя земля еще не видела: своих в войну истреблял...

Знал Ефим, видел, как тяжело жилось Иосифу. Сочувствовал ему, но слова в поддержку никогда не сказал, боялся, что обидится тот, возмутится: «Чего ты меня жалеешь?.. Мой крест, мне его и нести…»

Не любил Иосиф говорить о том, что и как в его семье. Но если подумать, так все же надо было обо всем рассказать ему: и об Авдеевом отваре, и о том, почему он, Ефим, не пошел тогда с Иосифом, и о том, что вину свою чувствует перед бывшим другом, вот только мальчонку не надо было бы трогать...

Старые они уже, Ефим и Иосиф. Многое пережил каждый из них. И вместе, и порознь. Ефиму почему-то иногда тяжело выговорить имя бывшего друга так, как когда-то в молодые годы на городской манер: Иосиф. Еще бы, из города пришел в Гуду Ефим, молодой был, с ветерком в голове, куражась перед деревенскими, «перекрестил» Осипа на свой аршин. Всех научил, скоро привыкли сельчане: какой Осип? Иосиф!.. Только Теклюшка его по-прежнему Осипом звала. Ефим посмеивался: «Ты — будто старуха какая. Так только старухи стариков зовут. Теперь молодые в городе скажут — Иосиф. И не стыдно тебе».

Отвечала, как по лицу хлестала: «Ай, какой умник отыскался!.. А я — деревенская, какой была, такая и есть! И не чета тебе, чтобы слушаться. Старуху нашел!.. Как надо, так и называю: Осип! И ты мне не указ!»

Не понравилось это Ефиму: коза! Рожки ей обломать бы! С кем бодаться вздумала? Да кто ты такая?!. Что в жизни дальше своего носа видела?»

Иосиф на это их «в рожки» внимания не обращал: пусть… Ефиму он — Иосиф, ей — Осип. Хоть горшком назови, только в печь не ставь…

Теперь даже в мыслях — Осип. Хотя говорит Иосиф — с человеком с таким именем все обидное у Ефима связано. Но когда встретятся, назовет Осипом. Этим самым разрушит стену между ними, подальше отбросит все плохое, что разъединяет их. А потом много чего своего горестного поведает ему, чтобы понял Иосиф, почему тогда на пригорке он был с ним таким жестоким. А там будет видно: поймут ли друг друга, простят ли взаимные обиды… И если даже не простят, не поймут, наверное, все равно станет легче: живой Иосиф. Хотя все-таки Ефим иногда сомневается: Иосиф ли живет на хуторе…

Хотелось, чтобы в Кошаре были Иосиф и Антон. Вдвоем. Да вместе. А что, может случиться и такое. Человеческие судьбы иной раз так переплетаются, что и вообразить невозможно. Пересекаются, соединяются, переплетаются на земле дороги, впрочем, как и все в этой жизни, и от этого никуда не деться.

Женщины говорят, что на хуторе живет человек. Один. Называет себя Антоном. Шофер, подвозивший их из города, так сказывал. А он давно знаком с обитателем Кошары. Антон человек хороший. Во всяком случае, таким его когда-то знавал Ефим: в молодости работал у того на хуторе. Недолго работал, а хорошо узнал человека, случается так… И после, когда время от времени проведывал его, убеждался, что Антон дружбой дорожит.

Но если бы Ефиму сказали: выбирай, Антон или Иосиф, сейчас он выбрал бы Иосифа. И здесь нет ничего удивительного: у Антона была большая семья. А с семьей, если в ней лад, нигде не пропадешь. А Иосиф один, как горькая полевая былинка. Говорил же шофер женщинам, будто у того человека, который живет в Кошаре, была хозяйка, но умерла... А почему у Иосифа не могло быть хозяйки? Вон сколько повсюду после войны осталось одиноких горестных женщин, нуждающихся в утешении, сочувствии, мужском тепле. Может быть, нашел где такую же несчастную, как сам, и жили. Вместе легче, чем одному...

Нет, нельзя Ефиму спокойно ходить по земле и неизвестно что думать. Он немедля должен узнать, кто живет в Кошаре. А то, что женщины говорят, дескать, не пустят одного в такую дорогу, так он и спрашивать ни у кого не будет. Это уж очень личное. И хотя давно уже Ефим, Михей, Николай, Игнатий со своей Надей и детьми, и Катя с сыночком живут одной семьей, все равно есть у него на душе нечто такое, о чем никому не скажешь. Пусть живут спокойно, и так настрадались...

И вот провожают в дорогу... Вчера в Гуду приехали еще засветло. Дорога привела лошадь на улицу, прямую и широкую, а по ней — к новому небольшому строению конторы лесоучастка (его после войны создали в Гуде). Таким временем здесь, как обычно после работы, собирались мужчины — лучшего места, чтобы поговорить, не найти. Тут же — руководство: начальник лесоучастка — бывший фронтовик, и не из рядовых, а подполковник в отставке Ерофей Костров. Человек уважаемый, прислали из города, награды — китель оттягивают...

Мужчины, которые были здесь, также воевали. Почти все Европу прошли, а Игнатий Соперский даже японца видел, окончил войну, как говорил, на «Дальнем Востоке».

Вальщики леса, сучкорубы, шоферы лесовозов, все они по фронтовой привычке держались вместе и после работы не спешили расходиться, пока не переговорят о том, что сделано сегодня, что надо сделать завтра.

Сейчас Гуду населяют больше приезжие из мест, о которых здесь и слышали, и не слышали, были семейные и одинокие мужчины и женщины. Люди сблизились быстро — не было человека, который не изведал бы горя, а оно объединяет.

Были здесь и Игнатий с сыном Валиком. Были и Николай с Михеем. Буланчика они заметили еще тогда, когда конь только показался из бора и начал спускаться по дороге к деревне. Первым телегу заметил Игнатий, сказал:

— Наконец-то едут! Я уже думал, что придется отправляться на поиски.

— Да брось ты, Игнатий, — сказал Костров. — Какие поиски? Машины по шоссе туда-сюда ходят, кого-кого, а женщин с ребятишками никто не преминет.

Костров приехал сюда летом сорок пятого. К тому времени вода, затопившая Гуду после того, как взорвалась дамба, скатилась в русло реки. Поглядывая на Дубосну, сверкающую на солнце синевой и серебром, произнес: «Хорошее место. Здесь и жить хорошо, и работать». Тогда начали строить в Гуде лесоучасток, который и возглавил Костров. Конечно же, место для такого предприятия удобное — справа сразу за деревней начинаются леса, огибающие ее дугой. Они подходят к шоссе и, перешагнув его, тянутся на многие километры, заходят в другой район, а через него — еще дальше, неизвестно куда. И вдоль реки за дамбой (восстановили ее военные) им нет ни конца, ни края.

Вывозить древесину было удобно — через мост на Забродье, а оттуда по дороге — в город, но не в свой райцентр, вдругой — там лесокомбинат. Ждали, когда построят такое же предприятие в своем райцентре, тогда туда на лесовозах можно будет ездить хоть каждый день, теперь же — пока неудобно, приходится идти к шоссе и ждать попутку.

Возле конторы Ефим остановил Буланчика. И хотя конь шел не спеша, старик, еле сдерживаясь, крикнул: «Да стой ты!» Вожжи у Петрика не забрал, торопливо спустился с телеги, тяжело поковылял к мужчинам, сказал:

— Здорово, кого не видел!

— Здорово, Ефим Михалыч, — ответил за всех Костров. — Задерживаешься, твои уже волнуются. — И, обращаясь к женщинам, будто укорил: — Что же вы...

— Ну да, — то ли подтвердил его слова, то ли спросил Игнатий, глядя на телегу, на которой все еще сидели его Надежда, дочь и Катерина с сыном.

— Вот тебе и ну да!.. — возмутилась Надя, легко спрыгнула с телеги и, направляясь к мужу, крикнула: — Катя дядю Иосифа видела!

— Кучинского? — удивился Михей.

— А кого же еще.

Какая здесь связь с тем, что задержались женщины, никто, кроме гуднянцев, не понимал. Да, была война… Страшная беда постигла Гуду. Немцы сожгли ее. Почти все жители деревни, за исключением Ефима, Надежды и ее детишек Валика и Светки (они в тот страшный день в лесу были, потому и выжили), погибли... Правда, выжил и некто Иосиф Кучинский, так он же — отец полицая. А после войны многие не вернулись в Гуду — в память о них и в память о заживо сожженных — обелиск среди деревни, это приезжие знали. Но не знали, кто такой Кучинский и почему женщины, как только приехали, начали с него.

— Неужели Иосиф задержал? — спросил Михей. — Где он? Что с ним? Пусть бы приехал. Что, в городе прижился?..

— Да нет, не задержал, — сказала Катя. — Не знаю, прижился ли, но меня не признал. Даже разговаривать со мной не стал. Но чует мое сердце — он был на базаре! Там его видела, стоял с протянутой рукой.

— Знать, ошиблась, — возразил Николай. — Если бы он, как это — не признал?

— Он, он, — подтвердил Ефим, возвращаясь к телеге и снимая с нее Петрика. — Больше некому. В Кошаре живет. Иосиф знает туда дорогу, как-то еще до войны открыл я ему ее тайну. Трясина, болота там непроходимые. Правда, еще один человек ее знает, тот, кто проложил, — хозяин хутора, мой давнишний друг Антон. Но его оттуда выслали, раскулачив, еще в тридцать седьмом. Только уже тогда Антон старше меня теперешнего был. Ну, может, и не старше, а такой же. Так сколько ему сейчас должно быть? Вряд ли он. Пока не слышно, чтобы кто из ссылки вернулся, — многих из Забродья выслали, из других деревень. Это в Гуде никого не тронули, не было у нас ни крепких хозяев, ни середняков — на бедной земле не разбогатеешь ни своей мозолью, ни чужой…

А Антон… Вот и думай, мог ли он сейчас ходить через болото, да еще в город наведываться? Ему же, поди, под девяносто годков. Конечно, нет. Значит, Иосиф. Завтра-послезавтра будет известно.

— Иосиф, говоришь, дядь Ефим. Говоришь, завтра будет известно. Он что, сюда придет? — хмыкнул Михей.

— Брось! — рассердился Ефим. — Сюда придет... Тебе что?.. Тебе, поди, так, как мне, не больно и не обидно ни за себя, ни за него. Ты с Николаем в сарае был, когда я его той ночью с пригорка в воду столкнул. Позабыл, как было?

— Так уж и столкнул!— смутился Михей. — Не позабыл. Помню. Это я шутя. Ты же его в грудь не толкал.

— Иной раз и словом не то что столкнуть, пришибить можно. Шутя, говоришь… Так думай иногда, как и с кем шутить. Да над кем: не собака же Иосиф. Только сюда он сам не придет. Я его знаю... Слыхал же, что Катя говорит: не признался, ушел. Думаю, не зря, Михеюшка. А ты едва не «гы-гы». Я сам все узнаю.

— Это как же? — спросил Михей.

Ефим молчал, будто не слышал, повернулся, подошел к телеге, взял Петрика, поставил на землю. Мальчик смахнул сено со штанишек, побежал к Валику. Тот подхватил его на руки, подбросил, поймал, поставил рядом с собой на землю, не выпуская из своей руки его ручку. Затем, показав на коня, что-то сказал мальчишке, должно быть, восхищаясь, как тот управлял Буланчиком.

Мужчины молчали, ждали, что будет дальше.

Старик протянул руку Светке, она все еще сидела на телеге, будто ждала приглашения.

— Давай и ты, внученька.

Светка легонько спрыгнула на землю, чмокнула Ефима в небритую щеку:

— Ой, дедуля, ты все со мной, как с маленькой.

— Ну, ну, коза, — растаял и еле заметно улыбнулся Ефим. Его седые усы сломались: — Ты и замуж пойдешь, а все равно останешься для меня маленькой...

На этот разговор мужчины внимания не обращали, их, приезжих, интересовало, а кто таков Иосиф и что с ним…

— Николай, Михей, — сказала Надя, обращаясь к своим, гуднянцам, — дядь Ефим собирается плыть в Кошару. А это же — край света!

— Край не край, а что он там забыл? — спросил Николай.

— А ты будто не понял, — раздраженно сказала Надя.

— Ты это брось, Ефим Михайлович! — повысил голос Николай. — Не юноша! В такую дорогу — сила нужна. Нет, мы тебя одного не пустим. Может, позже туда сплаваем. Или я, или Михей на весла сядем. А сейчас некогда, начальство завтра из леспромхоза приезжает, какую-то шишку из министерства привозит, собрание будет, то-се... Словом, надо подождать.

— И мы с Катей говорим, что никто дядю одного туда не пустит, — сказала Надя.

— Вы что, сговорились? — возмутился Ефим. — Не пустит! Да я, может, уже семь годов жду!.. Живу и жду... Сыновей жду. Тебя, Игнатий, ждал. Всех ждал и жду, кто пришел и не пришел... И Иосифа жду. Жду с того дня, как он исчез, когда вы, Николай и Михей, искали его, да не нашли. Мы вместе с ним многое пережили, и хорошее у нас было, и плохое. Много чего такого, что прощать тяжело, он сотворил, много чего и я. Не ангел, знаю. Только я никому никогда ни о чем не говорил. И свое прошлое не ворошил, и его былое не трогал. Зачем вам, молодым, это знать? Вы не должны пережить то, что мы пережили. Не надо, чтобы наше вам мешало. Потому все и держу в себе. Оно со мной туда пойдет (Ефим ткнул пальцем вниз). Да, я жду Иосифа. Еще как жду. Иной раз вспомню наш последний с ним разговор там, на пригорке (Ефим показал рукой в сторону реки), когда я ему такое сказанул, что мне и на том свете не простится, хочется закричать, да так, чтобы мир вздрогнул: «Иосиф, отзовись!»

Но не закричишь, силы нет. Пытался, крик вот здесь каменеет (постучал себя в грудь), не продохнуть. И вот — ниточка... Не-е-т, мужики. Не-е-т, девушки. Сейчас меня и на цепи не удержать — разорву! Завтра же поплыву. Дорога, говоришь... Да я с закрытыми глазами каждый поворот реки преодолею! Да я каждую плаху, спрятанную в болоте, ночью найду! Дорога к хутору плахами вымощена. Хаживал там, и не раз. Еще в молодости ходил, и — ничего. А когда пошел туда в тридцать седьмом, так кладки те мне всей своей тяжестью на душу легли: по ним выводили с хутора Антона и его детей и внуков. Его хутор был. Много лет хозяйничал он там со своей семьей. Жил, никому дорогу не перешел, никого не трогал. И что? За это всю семью своего гнезда лишить? Ладно, мы старые, за свою жизнь много горя хлебнули, настрадались, мы уже ничего не боимся. Но детишек за что?.. Там, на кладках, — следы от лапотков видел я. Маленькие, некоторые на такую ножку, как у Катиного Петрика. За что, а?.. Здесь уже не только кресты на душе. Здесь уже раны кровоточат, да еще как... Я сам сызмальства в лапотках с чужими людьми по земле ходил, ни мать, ни отца не знал. Спасибо, среди людей не сгинул, хотя всякое бывало... И теперь думаю: если детишек и от родителей оторвали, и от деда с бабой, и неизвестно куда увели? Что это такое — детей от отца-матери оторвать? Не дай бог!..

Меня тогда, когда людей раскулачивали, моя Марфушка к Антону направила. Велела: «Детей приведи, пусть у нас поживут, а то, чего доброго, — отберут от родителей да от деда с бабой. А мы, коли что, скажем, мол, родичи».

Понимала, и я понимал, что старых и взрослых нам не спасти. Не была бы женщиной Марфушка: и за чужих детей ее сердце кровью обливалось. Но опоздал я. Хотя, если бы и успел, вряд ли смог чем помочь. Раньше бы мне на день-два появиться там. Я Иосифу говорил, что туда иду. Он со мной идти хотел, да не взял я его. Может быть, в лодке по течению да вдвоем попеременно на веслах и успели. А если успели — что бы там ни было, детишек увести не дали бы. И он, как и я, сиротского хлеба наелся, правда, пока его отец не

привез мачеху, заменившую ему мать. Удивительная женщина была, мачеха его, тут ничего не скажешь… Нет, мы бы с ним детишек в обиду не дали, я его знаю. Вот и должен я знать, Антон там или Иосиф. Конечно, хорошо было бы, если бы и тот, и этот...

Ефима слушали не перебивая. Светка и Петрик пошли домой, понесли покупки. Валик стоял около отца, внимательно смотрел на старика. Его рассказ затронул каждого: страшные кровавые следы в душах людей оставила война. Время идет, а следы не затягиваются, не залечиваются раны. Особенно каждого трогает, когда говорят о детях. Нет ничего более святого на свете, чем они. И оторвать их от родителей… Здесь для меня чужое — как свое. И неважно, кто детишек отрывал от родных, свои или иноземцы: и те, и эти — варвары!

Ефим умолк, долгим взглядом обвел мужчин, дескать, поймите меня… Они молчали, понимали, что старику надо было выговориться. Понимали, что на душе его тяжесть особенная — детишек хотел уберечь, да не смог. Понимали, что тяжесть эту, чувство вины он давно в себе носит — облегчение ему нужно. Понимали: считает себя виноватым не только за то, что не смог забрать детишек, но и за Антона, которому не помог, и за Иосифа, которого в паводок «столкнул» в воду с кусочка суши, на котором нашел тот спасение. И вот появилась надежда сбросить хоть какую-то часть тяжести. Но для этого надо убедиться, что Иосиф жив. И вот когда подвернулся случай облегчить душу, оказывается, люди, с которыми столько пережил, с которыми живет как в одной семье, — против.

Ефим стоял и думал: что делать?.. Подчиниться односельчанам?.. Конечно, они желают ему добра. Они волнуются за него, просят не спешить, подождать, пока у них появится возможность помочь ему в такой далекой дороге. Можно и подождать, но тогда он потеряет время... Для него сейчас дорога каждая минута. Ведь мало ли что не сегодня-завтра может случиться и с ним, и с Иосифом, или с Антоном, если тот на хуторе. Все трое — люди старые, и как говорят, для каждого день — век… В общем...

А плыть ему есть на чем. Возле пригорка на реке у берега качается привязанная к столбику его, Ефима, лодка. Двухвесельная, хорошо просмоленная, с широким дном. В ней, если надо, можно вдвоем прилечь, причалив в укромное место. В ней могут плыть четыре человека: хорошая лодка, ни у кого такой нет.

И есть вторая лодка, Иосифа. Ее он оставил односельчанам в ту весеннюю ночь сорок пятого года, когда взорвалась дамба и вода накрыла Гуду, когда здесь творилось такое — не дай бог никому ни слышать, ни видеть. Оставил Иосиф свою лодку, а сам после словесной перепалки с Ефимом как в воду канул.

Утром в лодке, которую оставил Иосиф, мужчины обнаружили еду, мешок ржи и завернутую в полотенце икону Божьей Матери. Когда человек идет из дома и берет с собой еду, а еще и икону, конечно же, возвращаться он не собирается. Одно и сегодня непонятно Ефиму: Иосиф сам поджег свой дом или из печи выпал уголек?.. Хотя может быть и такое: кто-то из мужиков из Забродья, воспользовавшись неразберихой, приплыл сюда да таким образом расквитался с отцом полицая за его сына — тот, случалось, и там лютовал… Впрочем, сам поджечь вряд ли мог: говорил же тогда Ефиму, чтобы люди плыли к его, Иосифа, дому. Дескать, теплый еще…

Хорошо, поплыли бы. Дом был крепкий, но затоплен до подоконников… Что, ночевали бы на чердаке, а днем к пригорку плавали?.. А Иосиф как?..

И почему он тогда еду и икону забрал из дома, куда собирался податься, если на пригорке спасения искал?..

Одни вопросы без ответов…

Пожалуй, Иосиф тогда все говорил и делал сгоряча. Наверное, хотел любой ценой им помочь, потому и суетился, бросался, как загнанный в клетку. Вот и спросит Ефим у него: «Скажи, что тогда тебя из дома гнало? Я и сейчас этого не знаю».

Теми продуктами, которые нашли в лодке Иосифа, долго детей поддерживали, Валика и Светку. И Катю — дитя родила. Зерно чуть позже в Забродье на жерновах смололи, на лодке Иосифа, их лодки наводнение снесло — Ефим и Николай туда плавали. Надя тут же, на пригорке, в печке пекла хлеб, с голоду не пухли. Да и Савелий Косманович приплывал сюда, привозил свой паек и еще что-нибудь из продовольствия, люди передавали. А икону забрала Надя и отдала Кате. Теперь икона в ее доме в красном углу, иной раз Ефим тайком перекрестится: «Боже, сохрани и помилуй рабов твоих». И назовет поименно: «Петрика, Валентина, Светлану, Катерину, Надежду, Игнатия, Николая, Михея…» А потом: «Никодима и Ивана».

Называл их по отдельности, ведь они где-то далеко, как отрезаны от всех. Себя не называл. Губы будто слипались: пожалуй, за свою долгую и очень непростую жизнь немало сделал такого, чего не надо было бы делать. И Иосифа не называл, тот тоже, как и Ефим, — большой грешник. А почему грешник Ефим за других просит, так ведь этим самым свою душу очистить хочет: пошли на меня любую кару, если в чем виноват перед тобой и людьми, а их сохрани и помилуй. И они, как все люди, в чем-то грешны, да каждый по-своему, так прошу, на меня положи грехи их.

И сегодня утром, собираясь в дорогу, Ефим трижды перекрестился. А потом издали, с пригорка, дрожащей рукой крестным знамением осенил деревню да всех, кто здесь живет: место это многострадальное, святое, вот и задрожала рука, задрожали пальцы, сложенные в щепоть. Есть или нет Бог, не его ума дело. Только перекрестился Ефим и деревню перекрестил не на всякий случай, а с надеждой и верой: должен быть, а кто же создал небо и землю, само по себе ничего не бывает. И душа, пожалуй, есть, иначе не болела бы так в груди — настрадалась, натерпелась…

И лодку перекрестил: Валик в ней будет плыть, большой уже, а все равно дитя.

Лодка Иосифа немного поменьше, чем у Ефима, и более легкая. Но тоже хорошо просмоленная. Ею мужчины не пользовались. Когда Иосиф оставил лодку, утром, не найдя его, Николай и Михей затянули ее на пригорок — обязательно вернется за ней, куда ему без лодки, если окрест все затоплено.

Но не вернулся Иосиф и в тот день, и через день, и через неделю, да и через семь лет... До ледостава желтело на пригорке суденышко Иосифа, потом мужики занесли в сарай зимовать: «Пусть здесь дожидается хозяина», — сказал тогда Николай.

Из-за нее, из-за лодки, у Ефима, Николая и Михея были неприятности. Вскоре после того, как исчез Иосиф, участковый Савелий Косманович, увидев лодку, заподозрил их в том, что присвоили ее. Но как? Не иначе, как совершив над ним самосуд — отец полицая.

Савелий приплыл сюда через две недели после того, как взорвалась дамба. И его понять можно: все здесь, а одного человека нет. Где он?.. Где-где, чтобы мы знали...

Участковый был злой. Решил, что убили они Кучинского. Но жалел их, как тогда считал, преступников. Будто между прочим, подсказал им: дескать, лучше бы лодку снесло наводнение.

Нет, Савельюшка, если бы так, легко развязался бы этот узел: исчез Иосиф, и лодки его нет, значит, где-то сгинул. Наводнение же было досель невиданное, все вокруг на многие версты накрыло. Благо, пригорок и сарай на нем миловало. Здесь тогда такое творилось — ребятишек спасти бы да самим уцелеть, не до Иосифа, он особняком в своем доме жил. Хотя было — приплыл сюда, но не приняли его. Исчез бесследно… А если так, какой с нас спрос?

От лодки они не избавились и после подсказки Савелия. Знали, что этим вызывают подозрение. Пусть! Когда-то же должен отыскаться Иосиф. Только живым, или... А грех на нас есть, мы его, вернее, я, Ефим Боровец, изгнал, но не более того. На мне и вина.

А лодку его Савелий потом много раз видел. Не прятали ее. Но ничего не говорил. Ефим однажды, когда просмаливал ее на пригорке, сказал:

— Вернется Иосиф — бери, в целостности да в сохранности!

Савелий ничего не ответил, но заметил Ефим, стал мягче лицом, подал ему руку и, поскрипывая хромовыми сапогами, пошел к Михею и Николаю, курившим в отдалении.

Семь лет никто не пользовался лодкой Иосифа Кучинского. Хотя каждую весну на день-два спускали ее на воду. Перед этим Ефим постукивал по бортам и по днищу, прислушивался к звуку и, убедившись, что доски крепкие, древоточцем не повреждены, просмаливал. Только не может так быть бесконечно, когда-то истлеет: пусть бы хозяина дождалась, Иосифа... Вот только, собираясь в Кошару, Ефим думал: «А вдруг там действительно Антон».

Было в этом что-то не совсем искреннее, словно выбирал, кто ему больше нужен. И вслух продолжал: «Хорошо, если б там — и тот, и этот. Хотя, конечно же, Иосиф на хуторе».

— Дядя, — почти раздраженно сказал Михей, — если ты не уверен, так, может...

— Нет, Михеюшка, в том-то и дело, что уверен, — перебил его Ефим. — Антоном Иосиф назвался. Думаю, хотел, чтобы Катя не узнала его. Но почему? Неужели все еще обижается на меня, на всех нас? А что с хозяйкой на хуторе жил — так жалостливый он был. Я знаю. Может, где встретил какую страдалицу, их же после войны, да еще и сейчас, много на земле, все в утешении нуждаются. Так что занимайтесь своими делами, а я как-нибудь потихоньку завтра и поплыву.

Ефим повернулся и неторопливо направился к пригорку у реки, на котором стоял старый сарай. Когда отстраивали деревню, его не разобрали, оставили рыбакам. Они в нем прятали снасти. Не разрушили и печку на пригорке: место удобное, рядом река, мужики часто собирались здесь, варили уху, брали «фронтовые» сто граммов, разговаривали.

Мужчины молча смотрели вслед Ефиму. Молчали и Надя с Катей: что ты ему скажешь, когда заупрямился. Хотя Катя думала, что все-таки вечером отговорит старика, попросит подождать, пока кто из мужчин сможет плыть с ним. За столом попробует поговорить со стариком. Он как всегда придет ужинать. Ефим, хоть ему уже давно поставили дом, каждое утро, в обед и вечером приходил к Кате, к Петрику, которого называл внучонком. (Мальчик считал его своим дедушкой. Катя смотрела за стариком, как за отцом.)

Когда Кате первой в Гуде построили дом, она согласилась пойти туда только с тем условием, что с ней будет жить и Надя с детьми. Сразу же после того,

как заселились в новый дом, мужчины начали возводить сруб Соперским. К зиме дом поставили, и Надя со своими детишками перебралась туда, где и ждала мужа, а они отца: Игнатий писал, что скоро вернется, а пока задерживается в армии. Вернулся он только осенью сорок шестого. Уже в свой дом.

А зимой сорок пятого Катя едва не насильно привела к себе Ефима, он вместе с Николаем и Михеем жил в сарае, к которому сейчас направлялся.

Мужчины по-прежнему молчали, не знали, как быть. Вдруг Валик, он стоял возле них, сказал:

— Мама, отец, пустите меня с дедом Ефимом. Как же он один поплывет?.. Да и мне нужно увидеть деда Иосифа. — И крикнул вдогонку Ефиму: — Деда, возьми меня из собой!

Ефим, не пройдя и десяток шагов, остановился, не торопясь повернулся, неопределенно пожал плечами:

— Валентин, надобности такой нет. Дорога мне известная. Ничего страшного: туда по течению легко доберусь. А назад как-нибудь потихоньку шестом около берега буду отталкиваться. Думаю, назад будем плыть вдвоем. Пусть с Иосифом, пусть с Антоном. А может быть… А тебе что, Иосиф нужен?

Что имел в виду старик, сказав «а может быть», мужчинам было непонятно. И Валику — тоже.

Он ответил не сразу, подошел к старику, остановился рядом, произнес:

— Обидел я деда Иосифа. Мальчишкой был, а помню.

Ефим внимательно посмотрел на парня, затем положил тому руку на плечо:

— Помнишь, оказывается.

— А как же…

— Ты обидел старика Кучинского? — удивился Игнатий. — Как? Когда?

— После войны. Зимой. Говорю, еще мальчишкой был. Лед в деда бросал...

— Дурачился, — рассудительно сказала Катя, вступаясь за парня. — Я видела, Иосиф не обиделся, понимал, что Валик хочет поиграть.

— Ну что, мать, пустим? — Игнатий глянул на жену: — Конечно, если дед возьмет.

— Пустим, если возьмет, — ответила Катя и уголком платка вытерла непрошеную слезу.

— Возьмет, а как же, — сказал Ефим. — Коли так, еще как возьмет! — И заглядывая Валику в глаза, добавил: — Значит, помнишь. А как на веслах сидишь, знаю, рука у тебя уже давно крепкая. Что скажете, мужики?

Старик, ожидая ответа, внимательно посмотрел на мужчин.

— А мы, Ефим Михайлович, хорошо знаем, какая у Валентина Игнатьевича рука, — сказал Костров. — Парень он самостоятельный, на машине научился ездить, на тракторе. Были у меня в батальоне такие ребята: с ними — хоть в разведку, хоть в бой.

— И я давно это знаю! — сказал старик. — Да мы с Валентином — ого!..

Не договорил, запнулся, отвернулся… Парень решительно обнял его, сказал: — Мы с дедом куда хочешь доплывем!

Раньше Валик никогда не видел слез на глазах старика...

И вот Николай, Михей, Игнатий, Надя, Светка, Катя с Петриком провожают Ефима и Валика в дорогу. Катя, хоть и собиралась вчера вечером отговаривать старика, когда он пришел на ужин, передумала: коль решился, значит, надо ему… Ставя на стол еду, пока Ефим мыл на кухне руки, сказала, что ему

с Валиком собрала в дорогу сала, головку масла, клин сыра, вареные яйца, хлеб и даже ведро картошки.

— Ты нас туда словно зимовать отправляешь, — улыбнулся старик, — зачем всего столько?

— Зимовать не зимовать, а дорога неблизкая. Да и дядя Иосиф домашнего отведает, откуда у него такая еда, коль стоял с протянутой рукой.

— Ну тогда возьму все, — сказал старик, садясь за стол.

Петрик и Катя уже поужинали, и теперь мальчик спал в небольшой комнатке, которую, как только поставили дом, ему отгородил Ефим.

Ужинал один. Катя упаковывала корзинку, уложив туда, как заметил Ефим, и бутылку. Подумал, пригодится...

...И вот теперь Ефим и Валик отплывали.

— Ну, с Богом, — сказал Ефим, убедившись, что все как надо: и лодка не протекает, и вещи хорошо размещены, и весла уже в уключинах, и даже шест лежит на дне — пригодится, когда будут плыть обратно против течения.

Старик, даже не пожав никому руки, дескать, ненадолго плывем, нагнулся, обнял Петрика. Тот попробовал заплакать, но Ефим успокоил его, сказав: «Ну-ну, ты же мужик, мамке помогай, большой уже...» — и потихоньку ступил в лодку. Она качнулась, он устоял, затем уверенно прошел вперед, устроился на носу суденышка.

Валик не спеша сел на весла, мужчины оттолкнули лодку от берега, река подхватила ее, понесла.

— Дядя! — не сдержалась Катя. — Смотри, не задерживайтесь там. И Иосифу скажи, что ждем его.

— Неужто не скажу! — крикнул Ефим. — Обязательно скажу. Без него не вернусь.

2

...Долго лежал на земле Иосиф. Вспоминал, как привез сюда Теклю. Хутор ей нравился. Он заменил ей дом. Нравился лес вокруг хутора. Река нравилась. Ведь Дубосна протекает недалеко и от ее деревни, в которой она родилась, жила с родителями, из которой когда-то за Авдея замуж пошла. Но знала Текля, что теперь ей туда пути нет и, пожалуй, уже никогда не будет. Знала, если бы и пришла в деревню, опять очутилась бы в Сибири: никто за нее не заступился бы, как и не заступился тогда, когда ссылали.

И болота здешние любила: клюквы, голубики, по берегам — брусники — россыпи несметные. А еще болота оберегали ее и Иосифа от тех, кого они боялись. Если бы не было болот, сюда уже давно добрались бы люди... Здесь с Иосифом ей было спокойно. И она радовалась этому спокойствию, к которому, кажется, привыкла сразу, как приплыли сюда. Хотя спокойной она была уже вскоре после того, как убежали из города, где Иосиф нищенкой встретил ее на базаре и, как говорила, спас от погибели.

Кажется, успокоилась сразу, как только город исчез за первым же поворотом реки. Наверное, ее успокоило то, что за ними никто не гнался. (Позже как-то сказала, что была уверена — если бы их даже и догнали те, от кого сбежала, Иосиф кровушкой умылся бы, но ее не отдал.)

Значит, она считала, что Иосиф не боится, а он боялся, и еще как, только не показывал этого. Он уверенно правил своим суденышком, заставлял себя не оглядываться, хотя время от времени косился назад, соображая, как и чем будет отбиваться, если догонят. Веслом, шестом?.. А Текля, обесси-

левшая, исстрадавшаяся, как легла на дно челна на его стеганку, так сразу и уснула.

Какое же это было дорогое для него мгновение, когда она, укладываясь на стеганку, говорила: «Мне с тобой, Осипка, ничего не страшно, даже смерть...»

Он тогда еще ничего не знал о том, что было с ней все эти долгие годы их разлуки, не представлял того, что она пережила как жена Авдея, и здесь, и в Сибири. Но когда говорила, что ей с ним, Иосифом, ничего не страшно, понимал — жизнь ее с Авдеем была ужасной. Понимал, что Теклюшка решилась убежать из ссылки не только потому, чтобы его увидеть, — очень тяжело ей было на чужбине, — а потому, что на своей земле хотела умереть. Понимал также, как нелегко ей было идти по чужой земле, и если бы не добрые люди, встречавшиеся на ее пути, давно бы ей лежать где-то там…

К хутору плыли долго. Хотя река осенью уже не такая быстрая, как весной и в начале лета, местами даже мелкая, но челнок назад толкала, и не слабо. Уже и тогда не очень сильный Иосиф — годы брали свое, ощущал это хорошо. Хотя сразу же, как посадил ее в челн, напрягаясь всем телом и чувствуя силу в руках, решительность и даже какую-то злобу — будто бросая вызов реке, словно живому существу, которое вознамерилось препятствовать ему, понимал, что уходит силушка, уходит...

Реку он хорошо знал с детства. Как говорят, на реке родился. Ее нельзя было изъять из его жизни, отобрать, запретить к ней приближаться, как нельзя было отобрать землю, лес, воздух, небо.

Раньше река всегда разделяла его и Теклюшку. Он жил на правом берегу Дубосны, она — на левом, далеко, за десяток верст от него. В молодости, когда встречались, летом он плавал к Текле на лодке, прятал ее в заводи, подальше от деревни, чтобы не заметили местные парни, потом шел к ней на встречу. Обычно встречались где-нибудь в укромном месте, заранее договариваясь.

Бывало, простаивали под каким деревом ночь напролет. А утром, когда она бежала домой, Иосиф против течения плыл в Гуду, усталости не чувствовал, греб так, что гнулись весла...

Плавал он к Теклюшке и такою порой, как сейчас. В такое время, еще не осеннее, но уже и не летнее, когда вез ее в челне по реке из города на хутор, Дубосна была спокойной, словно выдохлась за весну и лето. Она уже не бежала, а тихо, будто в каком-то раздумье катила свои воды.

Тогда Иосиф как только мог быстро гнал челн, но все равно его суденышко скользило по реке осторожно, почти беззвучно. А сам он все время был в напряжении, натянутый, словно тетива, готовый ко всему, что только могло произойти с ними на реке.

Весло, а где надо было, и шест, держал сильно, часто поглядывал на Теклюшку, на ее лицо: спокойная ли... Смотрел на нее — седовласую, смуглую, со сплетением морщинок под закрытыми глазами и на опавших щеках, вокруг обветренных и местами потрескавшихся губ, а видел совсем иную — молодую. Видел ту далекую, которую так сильно любил: светловолосую, со всегдашней легкой полуулыбкой на пухлых губах, розовощекую, с веселым блеском голубых глаз... И кажется, ощущал, как вокруг нее колеблется какой-то неуловимый, еле заметный свет, тот свет, который когда-то пьяняще манил к себе, с которым он очень хотел соединиться, но так и не смог...

Этот неуловимый свет он помнил всегда. И всегда ощущал его, даже когда Теклюшки не было рядом. Хотя, кажется, свет тот иногда куда-то исчезал, особенно тогда, когда ничто не тревожило и не пугало Иосифа. Свет исчезал,

словно таял, а он все равно ощущал его — где-то рядом... И каждый раз появлялся, когда Иосифу было тяжело. Тогда он словно в бреду тянулся к этому свету, и когда, казалась, вот-вот дотронется, свет рассеивался, вновь куда-то исчезал, такой желанный и такой неуловимый...

Постепенно вечерело. Вода сначала на перекатах, затем на стрежне осветилась сверкающей желтизной. Постепенно тускнея, она еще долго бежала против движения челна, пока, наконец, не скрывалась под отяжелевшей темной водой. И сразу же на реку легла сверкающая краснота. На воде проявились зеленые, в желтых пятнах кроны деревьев, закачались вместе с коричневыми, будто размытыми стволами. Наконец все эти цвета потускнели, слились в нечто тяжелое, темно-серое.

Утихли птичьи голоса. Умолкли лягушки. Солнце еще полностью не скатилось за лес, а на небе выявилась огромная бледно-желтая луна. Река вздохнула прохладой, над ней заклубился сизый легкий туман и вскоре начал раскручиваться над уже темной густой водой.

Никто их не преследовал. А те, кому Теклюшка была нужна, наверное, не заметили, когда и куда она исчезла. Иначе река давно бы несла пустой челн...

И уже устоявшимся вечером, когда вокруг становится все тише и тише, они приплыли туда, где Дубосна не спеша проходит возле болота, за которым и находится хутор Кошара. В этом месте в заводи он всегда прятал челн.

Напротив хутора, затерянного на высоком клочке земли за неширокой, но плотной полосой леса, за большим болотом, за колючей грядой сосняка вперемежку с можжевельником, Иосиф повернул свое суденышко к старице, заросшей высокой, в человеческий рост, травой. Острый длинный нос челнока тихо раздвигал плотный травяной покров, смыкавшийся сразу же за кормой, и вскоре долбленка, еле слышно шаркнув дном по земле, остановилась. Теклюшка открыла глаза, сказала, глядя на Иосифа:

— Наконец-то выспалась. Хотя спала и не спала. Все слышала: и воду, и птиц, и какой-то всплеск. И ощущала, как садится солнце, но глаз не раскрывала — кого мне бояться, когда ты рядом?

— Вот и хорошо, что выспалась, — сказал он. — Небось устала.

Он посмотрел на ее босые ноги, стянул свои сапоги, размотал портянки, подал ей:

— Обуйся. Сначала по лесу пойдем. Корни, шишки, да мало ли что под ноги попадет. Потом — через болото. Топь. Затем — опять лес. Гряда.

Она взяла портянки, обернула ноги, осторожно, морщась натянула сапоги и будто удивилась:

— А ты?

— Мне все равно, что в сапогах, что так. Я больше так хожу. Везде. У меня и лапти есть. Мягкие. И не одна пара. Пока у тебя заживут ноги, в лаптях ходить будешь. А потом я тебе из города мягкую обувку привезу. — Помолчал немного, вернулся к прежнему: — Говоришь, устала...

— Еще как. И от страха, и от бессонницы. Если бы ты знал, сколько ночей я уже не спала. Ночью меня в каком-то сарае держали. Отстояв день на ногах — не уснешь. Ноги окаменеют, да так болят, хоть вой. Но не завоешь, рот быстро заткнут. Вот и катаешься ночь по земле на соломе. А утром — снова на базар.

Ты можешь спросить, почему не убегала. Отвечу: куда? Знала, догонят, убьют или в милицию отведут: берите, беглая!.. Вот и стояла, ждала, когда дух из меня выйдет... А если бы и убежала, так не встретились бы мы с тобой, дорогой ты мой Осипка.

Правда, признаюсь тебе, все ждала, когда убьют меня, я же совсем ослабла, изнемогла. Зачем им немощная? Знала, что просто так не отпустят: вдруг пойду к властям, не побоюсь, что беглая, расскажу, как издевались надо мной да над такими, как я. Ведь они в каком-то другом месте держали еще двух старых мужчин, тоже заставляли просить подаяние и отдавать им деньги. А знаешь, как я к ним попала?

— Откуда мне знать?..

— Приехала я в город, вышла из поезда — одна-одинешенька, нет у меня здесь никого. Стою, растерялась. Долго стояла, какие-то двое мужчин рядом прохаживались, нехорошо на меня посматривали. Сердце обмерло, подумала, ищут беглянку. Поезд какой-то пришел, из него люди высыпали, я и скрылась в толпе, толпа вынесла меня в город. Долго по улицам ходила, думала: куда идти? Домой? Так дома у меня нет. Кто где приютит?.. К тебе?.. У тебя своя семья… Вернулась на станцию, стою, размышляю. А тут те двое и подошли. Ну и повели. Думала, назад отправят, а они меня — сначала в сарай, а потом на базаре у ворот поставили подаянье просить.

— А власть? Людей кликнула бы.

— Люди, говоришь... Люди видят — ведут! Открыто ведут. А кто так может вести? Конечно же власть. Кто бросился бы на помощь? Боялась власти и боюсь. Шла и боялась, что дороги обратно в Сибирь не выдержу. Умру. Где умру, там и зароют. Видела, как зарывали тех, кто умирал в дороге, — хорошо, если в какой ящик положат... Думала, коль суждено мне умереть, с тобой не повидавшись, так пусть на своей земле. Чужая земля — она тяжелая, холодная. Помнят ее мои руки, не раз и не два падала на нее, когда домой шла. А уж как ноги помнят, так и говорить не надо!.. Вели, душа кровью обливалась: все, конец тебе, Теклюшка! А когда в сарай заперли, поняла — не власть это. И надежда появилась: жива буду. Покорилась.

— Как же так? — сказал он тогда. — Над тобой издевались. Коль не тогда, так позже могла людей позвать. И где те негодяи?

Внутри у Иосифа все кипело. Ему не хватало воздуха, пересыхали губы, говорить было тяжело.

— А что люди? — пожала она плечами. — Люди такие: чем страшнее вид у нищего, тем больше подают. Одни сочувствуя, другие будто откупаясь от чужого горя. Третьи проходят мимо, даже не взглянув на тебя. В твою душу никто не лезет. У людей и своих забот хватает. А сколько еще горя у людей! Видела, долго по земле ходила. Правда, если бы не люди, не дошла бы. Люди — они разные. И там, где была, и здесь, у нас. А кто издевался надо мной, откуда мне знать? Мужчины какие-то и женщина. Только зачем они тебе? Никто ничего не сможет изменить. Давай не будем об этом. Не хочу и тебя тревожить, и сама не хочу вспоминать то, что было. Одно скажу, если бы ты сегодня не увидел меня, я недолго пожила бы на этом свете. Или они меня уничтожили бы, или сама не выдержала бы, прости меня, Господи. Такие страдания терпеть невозможно. Не раз об этом думала. Бывало, наберу глупостей в голову, а когда рука уже к чему-то такому тянется, чтобы на шею набросить, — перекрещусь и как очнусь: какая же я дура!.. Что удумала! Зачем же тогда убегала? Зачем столько страдала, пока добралась сюда?..

А теперь знаю, ради чего… Нас с тобой, Осип, сегодня сам Бог свел. За твои и мои страдания.

— Свел, Теклюшка, свел, — глухо произнес он.

— Но где мы?

— В укромном месте. Считай, дома.

Сказал и вздрогнул: нет у него своего дома. Есть приют в чужом жилище. Причем он сам себе его определил.

Она заметила, что Иосиф засмущался, спросила:

— Что-то не то?

— Почему же. То, то. Там, за грядой леса, за болотом — дом, — Иосиф показал рукой вперед. — Хутор там. Чужой. Я на нем давно живу, с весны сорок пятого. Хозяина, как и тебя с Авдеем, раскулачили, с семьей сослали. Детей у него много было и внуков много. И совсем маленькие были, и большие. Всех вывели с хутора. Вот я и живу здесь, и по своей воле хутор берегу. Где что подлажу, где что починю. Словом, смотрю, чтобы ничего не развалилось, не истлело. Может быть, со временем появится или хозяин, или кто из его семьи. А может, и нет. Часто думал, придет хозяин, или кто из его семьи, застанет меня еще живого, повинюсь, скажу, что не испоганил я его жилище, не разграбил. Скажу, так уж вышло, что было у меня тяжелое время и его хутор стал мне спасением. И его право, прогнать меня или оставить доживать в уголке в кошаре, я же сам себя содержу, обузой не буду. А нет — так пойду по миру, пока ноги носят.

— Что же это такое, пойти по миру? — ужаснулась тогда Теклюшка и прильнула к нему, прижалась всем телом, да так, что челн, хотя и был наполовину на земле, закачался, словно на воде.

Иосиф пошатнулся, но устоял, крепче обнял ее, ощутил, как она дрожит, словно в лихорадке. Долго не отпускал, ожидая, когда успокоится. Чувствовал, как под его сердцем трепещет ее сердце. А когда дрожь унялась, проговорил:

— Ну, ну, успокойся. Больше никто тебя не обидит. Пошли, считай, дома ты.

— А твой дом что? — спросила она, немного успокоившись.

Иосиф не сразу ответил, с минуту молчал, шумно вздохнул, сказал:

— Мой? Нет его. Сгинул. Потом расскажу, потом, — и, придерживая под локоть, легонько подтолкнул Теклю вперед.

Когда она ступила на землю, нагнулся, взял в челне стеганку, осторожно набросил Текле на плечи:

— Пока хоть так согрейся. Дома печь протопим.

— Но… — что-то хотела сказать Текля, но так и не сказала.

Он взял взял ее за руку, повел за собой:

— Может, как-нибудь свое жилье приобретем, подожди маленько. У меня кое-какие деньги есть, собрал за это время, пока здесь живу. Друг помогал, Архип. Я тебе о нем уже говорил. Ему я возил грибы, ягоды, зайчатину, заячьи шкурки. А он сбывал в городе на базаре. Хватало мне и на еду, и на одежду. Что-то еще и оставалось. О своем жилье не помышлял. А сейчас с тобой вместе решать будем. Может, в какой деревне домик присмотрим.

— Нет, нет, — замахала она руками. — Придем к людям, кто-то найдется да спросит, кто мы, откуда. Да и власть — сельсовет…

— Оно-то так, — согласился Иосиф. — Правильно говоришь, кто-то найдется. Помню, у нас Фадей был. Старый человек. Набожный. Все Писание читал. Никому дороги не перешел. Жил сам по себе. Но если надо было, людям помогал. Говорил, как сейчас помню: «...если упадет один, то другой подымет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его».

Сказал однажды это при людях, никого чужого не было. А через сутки его — за ворот да в машину, из района приехала. Помню, вели, один молодой в длинной шинели, старика наганом в спину толкал: «Давай, давай, товарищей нашел! И где? Там, где опиум для народа. Контра!» А Фадей ему: «Детки,

товарищ — это слово Божье. Нельзя его так понимать, как вы понимаете. Все мы товарищи. Все должны подавать руку тому, кто вдруг упадет». А те как взбесились: «Будут тебе товарищи!»

Запомнилось мне, что никто из нас, мужиков со всей деревни, даже слова за Фадея не вымолвил. Боялись. И я там был, и Ефим, и другие такие же пожилые мужики, как мы. Я посмотрел на Ефима, а тот на меня: что делать?.. Хотелось сказать тем парням, которые вели Фадея: «Что же вы так со старым человеком? Он же никому зла не чинил. И не стыдно вам?» Не сказал, Ефим не позволил: «Молчи! И Фадея не спасешь, и сам в беду попадешь».

Вот так, Теклюшка!.. Так что ты верно говоришь, разные люди в деревне. Теперь я за Фадея заступился бы, ничто меня бы не остановило. А тогда…

— Лучше здесь поживем, сколько сможем, — сказала она. — Ты вот уже сколько живешь, и ничего. Тебе кто-то подсказал сюда идти или сам это место отыскал?

— И да, и нет. Дамбу около Гуды перед войной военные насыпали, говорят, где-то недалеко от нас в лесу полигон хотели делать. Паводки им мешали, вот они и перегородили реку. Дамба воду держала. И до войны, и в войну. А в сорок пятом было такое наводнение — я такого на своем веку не видел. Взорвалась дамба. Я после понял, заминирована была. Как-то видел в войну, когда наши уже близко были, немцы на дамбе копали. Думал, окопы, а оно вот что, мины укладывали. А я и не догадался сказать об этом. Хотя наши солдаты там прошлись, ничего не нашли. А все равно себя виню: почему не сказал, может, прислушались бы, более внимательно дамбу осмотрели. Вот и взорвалась она. Вода хлынула. Смела землянки — Гуду летом сорок третьего немцы сожгли. Один мой дом тогда только и уцелел. Людей столько погибло... Мало кто выжил. Ефим, если помнишь его, прежний мой друг, Надя Соперская и двое ее детишек, мальчик и девочка, и Катя Журовец.

— Помню Ефима, а как же, и Надю помню. А Катю — нет.

— Из Забродья она.

— А ты как с домом остался?

Сморщился Иосиф, как от боли:

— Мой сын заодно с немцами был. Вот и уцелел мой дом в войну. Все, Теклюшка, теперь его нет, нет!.. Я, когда вода на деревню пошла да затопила ее, долго в доме сидел. Многое передумал. И о себе, и о тебе, и о Марии, и о сыне. И о людях — тоже. Сердце кровью обливалось: я в тепле, а люди, да еще с детишками, в холоде и голоде. На пригорке за деревней они себе спасение нашли. Мужчины еще раньше там сарай собрали. А я дома спасался. Вода и в него пришла, но можно было на чердаке ненастье переждать. Я посидел, посидел в доме да к ним поплыл. Кричу: «Дом у меня теплый!..» А они — вон!.. Вон так вон, ушел я. А потом ночью дом заполыхал. Сгорел. И знаешь, сгорел, а у меня на душе легче стало: опостылело мне в нем… Чужой. Свой, а чужой. Как вспомню — просыпаюсь, будто и тепло в нем, а холод душу пронзает. Хожу по половицам, будто по толченому стеклу, места себе не нахожу. Спать ложусь — чужое. Глаза сомкну, тебя вижу. Кажется, руку протяну, дотронусь. Протягиваю — нет тебя... На Марию натыкаюсь, хотя ее давно уже нет. Вот как было, Теклюшка.

— Знаю такое, Осипка, знаю. Но на Марию не злись. Она же насильно тебя к себе не тянула. Слыхала я, парень у нее до тебя был. Говорили, любились. Сами расстались или кто их разлучил, не знаю. Может быть, если бы она с тем парнем жила, так и горя не знала бы. А так — ты с ней, она с тобой — чужие. Не каждый такое выдержит. Может быть, и ей так же было больно, как и тебе,

и мне. Поэтому и ладу между вами не было. Если мужчине своя женщина нужна, так и женщине нужен свой мужчина. Так что не злись на нее, не бери грех на душу. Тем более, там она... (Текля еле заметно подняла голову вверх.) Чужая она тебе была, потому и ты был чужой в своем доме. Только ты ведь мужчина, мог, если Мария не люба была, один спать ложиться. А я — баба, жена. Венчана с Авдеем. Постель у нас с ним всегда одна была. Нечего сказать — насилие каждый раз... А я все тебя помнила. Ты всегда рядом со мной был. Хотя вот как у нас с тобой вышло — телом я никогда твоей не была, и ты телом не был моим, но всегда моя душа чувствовала возле себя твою душу. По дому хожу — рядом ты. К кровати иду — тоже рядом. Авдей, когда молодая была, сгребет меня в охапку, на кровать бросит, своего добивается, а я давлюсь слезами — всхлипнуть не даст: «Что, о нем думаешь?» А что я ему скажу?.. Молчу. Бывало, и руку на лицо опустит. А она у него тяжелая.

— Не надо, не надо, родная.

— Не буду. Но ведь рассказываю тебе, и мне легче. Я вот что думаю: не надо было тебе из своей деревни уходить. Поссорился с односельчанами, а потом помирились бы. Случается. Никто тебя из дома не гнал... Чужой, говоришь. Ну чужой дом был, когда там Мария хозяйничала. А после что? Прости меня Господи, Мария же умерла, тебе больше глаза не мозолила. И его... сына, говоришь, уже не было. А сгорел дом почему? Подожгли?

— Нет. Пожалуй, загорелся от свечи. Уходил, зажженную на столе оставил. Крепко трещала она. Помнил, сказывали люди, коль свеча трещит — нечисто в доме. Думал, хоть эта, последняя свеча наконец-то очистит его, уж сколько сгорело их, пока в доме маялся! Думал, приплывут ко мне люди, а в доме чисто. Сейчас знаю, тогда я словно в бреду был. Метался, не зная, как быть. Может, что и недоглядел. Может, вода стол подняла, опрокинулась свеча, загорелась скатерть, огонь перебросился на занавеску, на мох между бревнами — стол у стены стоял. А может, когда я уплыл, поджег кто: меня все в округе сторонились.

Что тебе еще о моем доме сказать... Да, давно уже не было в нем Марии. И Стаса давно не было, а мне все казалось, что они рядом со мной. Чувствовал я их, нехорошо чувствовал. Мешали они мне или я им, не знаю. Но состояние было такое — хоть живым в гроб ложись, а все равно от них не спрятаться.

Говорил уже тебе, Теклюшка, и о Марии, и о Стасе. Говорил, но не жаловался, потому как сам во всем виноват. И больше скажу: что-то неподвластное мне гнало меня тогда из дома. К односельчанам толкало. Плыл к ним и понимал, что назад не вернусь. Даже мешок ржи и всю еду, которая у меня была, в лодку взял. Тяжело было плыть. Печи сгоревших хат при лунном свете видел. Жутко было, еще недавно здесь люди жили, мои односельчане, каждого знал, и меня они знали… Голоса слышал, лица видел…

К пригорку причалить тоже тяжело было. Людей звал, Ефима, Николая и Михея, Катю и Надю, ответа не было. В сарае они от воды прятались, может, не слышали. Хотя Ефим-то услышал, он и прогнал меня. Тогда я лодку им оставил, в воду вошел и поплыл прочь, и мне легко стало. Вот как, Теклюшка. Поплыл и будто валун с плеч столкнул: вода холодом обжигает, а мне хоть бы что. К бору доплыл. Переночевал, обсушился, а потом уже — сюда, на хутор. Хотя знал о нем от Ефима, но тоже словно кто вел меня. Сейчас думаю, если бы всего этого не случилось, вряд ли бы мы с тобой встретились.

Говорил Иосиф глухо, не спеша. Каждое слово будто отчеканивалось. Текля молча слушала, а когда он умолк, сказала:

— Тогда я сама тебя нашла бы, конечно, если бы смогла убежать от тех, кто держал меня в городе. Когда шла из ссылки, все думала: вот увижу тебя, семейного или одинокого, если признаешь меня, расскажу, что со мной Авдей сделал, прежде чем в снопы затащить, а потом и умереть с легким сердцем не страшно. Уж больно обидно мне было, что правду ты не хотел знать. У нас с тобой все так складывалось, что рано или поздно мы должны были сойтись. И вот сошлись. Наверное, так нам с тобой на роду написано.

— Может быть, и написано. Только за что нам такие горестные судьбы даны? С какого времени? С младенчества? С детства или с молодости?.. Да еще на всю жизнь. И ты не больно нажилась за бедными родителями, и я сиротой настрадался. Пока отец не привез мачеху, в слезах утопал. Святая была женщина, высушила мои детские слезы. Но все-таки — за что страдания?

— Не надо, не вспоминай. Никто не ответит, за что. Я же вижу, как тебе тяжело. И мне тяжело. Не надо ворошить угли, пусть угасают. Сейчас нам с тобой хоть немного спокойно пожить бы.

Сказав это, Теклюшка умолкла. Иосиф, по-прежнему держа ее под руку, шел осторожно. Не потому, что боялся поранить свои босые ноги, за Теклюшку опасался. Еще бы: ее ноги в язвах, больно ей и в сапогах ступать по земле. Была бы у него сила, понес бы ее на руках, но чувствовал, что и шагу с ней не сможет сделать.

Начинало смеркаться. Влажная серость опускалась на деревья, на землю, хотя местами на редколесье было еще достаточно светло, стволы сосен отсвечивали желтизной.

— Путь у меня здесь тайный, — сказал он, заметив, что она неуверенно ступает по еще твердой земле. — Рядом иди. Я тебя крепко держать буду. Пока стемнеет, дойдем…

Когда преодолели болото, поднялись к гряде, за которой начинался хутор, перешли ее, было еще светло. Лес, опоясывающий усадьбу, напоминал неровную высокую темно-серую полосу, по которой сверху спускались желто-розоватые разводы. Также сверху по всей темной полосе, по ее кривизне еле заметно трепетала желтовато-багровая лента. Трава под ногами была темная, местами на ней блестела тяжелая крупная роса, от нее тянуло холодом.

Они стояли на меже между хутором и грядой леса, откуда, пока еще не совсем смерклось, довольно четко были видны очертания дома и хозяйственных построек. Как только вышли из леса, Текле сразу бросились в глаза два черных креста на двух окнах, зловеще блестящих в лунном свете. От неожиданности она, споткнувшись, отпрянула назад, непроизвольно ойкнула. Иосиф вздрогнул — крепко обхватила его за плечи, хотел спросить, что случилось, но не успел, она, опередив его, произнесла дрожащим голосом:

— Кресты... Два. Нехорошо это.

— Перекрестись, Теклюшка! — спохватился он. — Какие кресты? Это же доски, окна заколочены. Не знаешь, что ли, так люди всегда делают, когда вынуждены оставить дом.

— Нет... Когда нас с Авдеем ссылали, так даже окна заколотить не дали. А это — как какой знак.

— Чудится тебе знак. Не я заколачивал, хозяин. Он и должен снять. Но если уж так, сниму.

— Сними. Возвратится, ругаться не будет: живой дом. Хотя, если хозяин где-то там, где я была, то вряд ли вернется. Один, может быть, и смог бы убежать. А с семьей не убежишь. Да и зачем искать новых бед? Семейные и там обживаются, если в семье лад.

— Хорошо, хорошо, пойдем, — сказал тогда Иосиф, понимая, что Текле вновь тревожно и боязно, несмотря на то, что он рядом и ведет ее туда, где столько лет живет.

Текля с трудом оторвалась от Иосифа, и они по траве, усыпанной холодной колючей росой, направились к дому.

Иосиф понимал, что Теклюшка не просто будет жить в чужом доме: женщине, как птице, свое гнездо надо иметь. Понимал и надеялся, что через какое-то время они где-нибудь попытаются приобрести свое жилье. А пока надо ей привыкать к тому, что у них есть. Сам он к чужому жилью привыкал долго, чувствуя себя не то что непрошеным гостем, а вором. Долго подавлял в себе это угнетающее чувство, долго сам себя стыдился, кажется, и сегодня полностью не избавился него. Но ничего не поделаешь — пока нет иного выхода. А жить здесь — постоянная неизвестность: что будет дальше? Хотя есть утешение: они вместе. А вместе, если что, можно и по миру пойти. Но это — если вдруг вернется хозяин и придется оставить его жилье. Конечно, летом можно и идти, просить подаяние, а каково в холода, зимой?..

Думая об этом, он, казалось, не замечал сгущающихся сумерек. Он шел к дому, держа Теклю за руку, и не ощущал босыми ногами холода. Чувствовал, как она дрожит, как горит ее рука в его руке, и вдруг ему стало жутко — дикая, будто ниоткуда взявшаяся мысль пронзила его: а если я первым умру…

Вздрогнул от этой мысли, остановился, опешил… Взор наткнулся на два уже еле заметных креста на темных окнах. Были они совсем близко, и от этого на душе стало еще более жутко.

— Ты что? — испуганно спросила она.

— Ничего, — еле сдерживая дыхание, проговорил он слипающимися губами. — Во рту пересохло. Да и холодом пахнуло, сыростью тянет.

Кресты были уже отчетливо виды. Вон они, прямо перед глазами. А может быть, сколько шла от межи к дому, столько она и не спускала с них глаз.

— Так что же это будет, Осип?

Спросила растерянно, глухо, словно обреченная на что-то непоправимо плохое.

— Все будет хорошо, — успокоил он ее тогда, двинулся с места, подвел к крыльцу (окна с крестами исчезли слева), и первым ступил на доски, просевшие под его ногами.

Второй раз на чужой усадьбе ойкнула она, взойдя на крыльцо вслед за ним, и едва не упала, но Иосиф поддержал ее, сказал:

— Новое крыльцо слажу. Доски есть.

— Сладь.

Он, одной рукой поддерживая Теклю, другой решительно толкнул дверь в сени. Дверь тихо и широко распахнулась. И сразу же в сени, выдавливая тьму, влился блеклый лунный свет, на пол упали их вытянутые тени.

— Домом пахнет, — сказала она, переступив порог. — Помню этот запах. У нас дома, когда с родителями жила, тоже так пахло. Грибами, ягодами, хлебом. Домашним теплом веет.

Не ответил Иосиф, хлебом у него давно не пахло, не привозил, разве что ржаные сухари были в полотняном мешочке, висевшем на гвозде в сенях возле его лежака у стены. А вот грибы, ягоды были. Сушеные, в связках, тоже на стене на гвоздях, да в кадушках, здесь же, в сенях. А тепло — протапливал печь, иначе дом омертвеет.

— Полати у тебя тут,— сказала она, глядя на лежак.

— А как же, смастерил. И тебе смастерю. А пока на моем лежаке будешь спать. А я рядом, на половицы что брошу.

Полюбила Теклюшка это место, надежно спрятанное природой от чужого глаза. А тогда, осмотревшись, сказала: «Кабы свое, так лучшего и не надо. И дом, и печь, и постройки. И огородик можно посадить. И лес вокруг».

Говорила это она на следующий день, когда он, как и обещал, сорвал кресты с окон. Доски долго не поддавались, протяжно и отвратительно трещали, он едва не сломал топор, отрывая их, — гвозди длинными были, въелись в сосновые венцы. А когда сорвал, в дом через тусклые стекла, покрытые серой пылью, влился мутный свет, упал на почерневший пол, на темные стены, на давно не беленую печь у порога.

Текля все это время молча стояла в сенях у порога, словно боясь войти в дом. Когда же дом осветился, сказала сама себе: «Вот и ожил. Теперь здесь и жить можно...»

3

...Два года тому, когда Иосиф привез сюда Теклю, они проговорили всю ночь, сидя в сенях на лежаке. Когда зашли в сени, хотя здесь и был разлит лунный свет, Иосиф зажег свечу, поставил ее в жестянку из-под консервов на столике возле лежака. Подвел к нему Теклю, посадил, осторожно стянул сапоги с ее ног, развернул портянки. Глянул на раны на ногах, вздрогнул, чуть не закричал, сдержался, боль пронзила все тело: как же она могла ходить?!. Сдерживая дыхание, молча достал из-под лежака чистые портянки, подал ей. Теклюшка не взяла, дескать, пока не надо, пускай раны заживут. А до зимы язвы сойдут, подорожник еще не усох, будет прикладывать. Была бы здесь трава молодила и сало, сделала бы мазь и горя с ногами не знала бы.

— Сало есть, а такой травы не знаю, — заметил он.

— Женщина, которая в России подобрала меня, обессилевшую, в свой дом привела, согрела, накормила, а проще говоря, спасла, потом в дорогу такой мази дала. В котомке эта мазь была, с едой. Начальник поезда, который вез меня, забрал котомку.

Текля подвинулась, давая ему место рядом с собой. Иосиф сел, она положила голову ему на плечо. Он обнял ее. Ладонь обдало теплом. Тем давним, ее, Теклюшкиным, полузабытым им, сладко-хмельным, — легко закружилась голова. Не сдержался, с благодарностью и нежностью дрожащими губами молча прильнул к ее щеке.

— Как хорошо мне с тобой, — тихо сказала она. — Вечно бы так…

Сказала и умолкла, закрыла глаза. Он чувствовал, как горит ее щека, как горят его огрубевшие губы, тоже молчал, ни о чем не хотелось думать, кроме одного: они вместе…

У него было ощущение такого нежного родства с Теклюшкой, что, казалось, от рождения они были одним целым. Казалось, что когда-то вот так вместе пришли в этот мир, вместе прожили жизнь, вот только промелькнула она так быстро, что и не заметили в ней своей невыносимо длинной разлуки, всего того горестного, что было у них вместе и порознь…

Язычок пламени свечи горел ярко и еле заметно колебался. Иосифу вспомнилось, как трещали свечи в его доме, когда в наводнение зажигал их одну за другой. Трещали, а он не знал, что делать, куда броситься в такую адскую ночь. Тогда ему казалось, что по дому слоняются тени Марии и Стаса, от людей слышал, свечи трещат, значит, рядом не все чисто...

Он захотел сказать об этом Теклюшке, но свеча не трещала. Сдержался: зачем, она же сочувствует Марии, у которой, как считает, также не сложилась жизнь с ним, Иосифом. Конечно, она права: Мария была не его женщиной, а он не ее мужчиной, не то что любви, уважения между ними не было. Жила с ним Мария и как будто мстила за то, что нелюбим, за того, которого любила. А он все тихо терпел. И как просто и понятно объяснила ему Теклюшка все то, что было между ним и Марией: чужие, он — не ее, она — не его… Вот только почему все между ними было через зло, не сказала.

Двери не закрывали. Вечер был теплый. В сени глядела луна. Уже не бледно-желтая, как еще недавно, а яркая, огромная. Она висела над лесом прямо напротив крыльца и лила вокруг желто-голубой свет. Он еле заметно покачивался на гриве леса, казалось, легкими волнами плыл по лужайке, трепетал на крыльце, серебристой тропинкой входил в сени, ковриком застывая возле лежака, на котором они сидели.

Вокруг было тихо и таинственно, все как будто вымерло. О чем бы они ни начинали говорить, все сводилась не к горестному, а к тому светлому, что окружало их в молодости...

Но тогда у них были совсем другие, чем сейчас, чувства. И состояние души было такое, что никакими словами не выскажешь, разве только так: нежность... Какая-то неземная, как этот лунный свет, падающий на них. Да, да, нежность, неуловимая, необъяснимая, и как сейчас вспоминалось Иосифу, с печалью...

А в общем, тогда, в молодости, состояние это и у нее, и у него было одинаково: везде — он, она, где есть наяву и где нет. Во всем видится он, она. На все смотришь его глазами, ее глазами. А иногда было невыносимо обидно, когда долго не видишь ее, его: где же ты, любимая... любимый...

Особенно обидно было, когда кто-то посторонний скажет о ней или о нем недоброе слово. И не хочется верить этому, а все равно жжет внутри, бередит душу — терпеть невозможно.

Тогда он, кажется, ни разу даже словом не обмолвился об этом, стеснялся своих чувств, будто они кем-то были строго-настрого запрещены.

И она не говорила ему, что любит. Одно твердила: «Как же я тебя жалею, Осипка». А он не понимал смысла этого девичьего признания, обижался, не хотел, чтобы она его жалела, это вроде как бы унижало.

Теперь же вдруг тихо сказал:

— Любил я тебя, Теклюшка, и теперь люблю. Ничего, поживем еще.

— Поживем, Осипка. Поживем и, даст Бог, еще наживемся.

Вспоминали родное, дом, свои деревни. Что касается Теклиного отчего дома, так он перестал быть для нее родным с первого дня, как только слухи о ее бесстыдстве с Авдеем в снопах пронеслись по деревне. Отец кричал: «Или в омут, или выходи за него, если еще возьмет!..» «Иди к нему, просись, девка! — толкала ее мать в плечи. — Возьмет, так и стыд смоет. А нам с отцом какой-никакой клочок земли перепадет. Беги, падай на колени!»

Что ни слово — кипяток в лицо. Стыд руками не прикроешь. И ей тогда действительно было хоть в омут, хоть в огонь. Выхода никакого. На улицу выбежала, как была, растрепанная, а старые женщины пальцами тыкали: «Бесстыдница, блудница!» Те, что моложе, и совсем молодые отворачивались, ехидно посмеиваясь. Еще бы: не было в деревне, чтобы девушка так, как она, при всех в снопах голая с парнем забавлялась. Было, таскал Авдей девок по углам, но таясь. Было, гуляли вдовы с мужиками, с женатыми и бобылями. Тоже скрытно. Было, даже детишек «находили», безотцовщину. Не любили

тех детей в деревнях, нагулянными называли. Но ведь никто вот так открыто блуду не предавался. А здесь — как вызов тем женщинам, которые жили с нелюбыми и украдкой гуляли с каким-нибудь мужиком, и тем, которые хотели гулять, да боялись: а я вот какая чистая!.. А ты...

Да никакая!.. Обманул ее Авдей! Подмял под себя, будто придорожный цветок, в грязь перед всем миром втоптал. А потом смотрел да потешался, как она в той грязи катается, плачет, стонет, пытается подняться и не может, да ждет, подаст ли ей руку Иосиф, эта голь, которую Текля вместо его, Авдея, выбрала. И дождался Авдей своего: не подошел к ней Иосиф, руки не подал, из грязи не поднял. Тогда Авдей, утолив самолюбие ее горем, поднял — спаситель. А как не поднять? Сам же втоптал, сам же первый ею натешился, давно к ней приглядываясь: и работница, и с лица ничего, и фигура точеная, с такою женщиной не грех и на люди показаться, многие мужчины на нее глядят так, что, кажется, съели бы...

Не прибежала к нему, пришла. По деревне брела сама не своя. Слезы глаза закрывали, земли под собой не видела. Взоры баб спину насквозь прожигали, слова вслед, словно камни, летели: «Идет к нему, блудница. Неужто возьмет Авдей ее? Да-а, везет некоторым...»

Пришла... У калитки стоял, бросил сквозь зубы: «Умойся! Да в дом!.. А на них плюнь! — махнул на баб, посматривавших из-за своих плетней: — Кыш!»

Может, любил ее Авдей? Как сказать... Хотя, какая любовь, если так? Сколько жили, столько и бил ее, Иосифом глаза колол. Так что же это за любовь такая?.. У Текли, да и у Иосифа, ответа на это не было. И у Авдея — тоже. Не раз спрашивала у него: «За что? Я девкой была». Отвечал: «Было бы за что — убил бы!» Наверное, порода их, Юхновцов, такая: с женщиной жить да над женщиной той издеваться. Настрадалась за Авдеем Теклюшка. Знала, ее свекор, старый Юхновец, жену свою всю жизнь как в узде держал. В синяках ходила, никто не видел ее обнаженных рук, ног до колен, одежда закрывала. А за что издевался, пожалуй, и сам не знал. Понимала, что и ей такого не избежать. Но все же лучше с ним, зверем, жить, чем в омут. С ним хоть надежда есть: когда-то откроется правда и ему, Иосифу, и родителям, и людям, смоется позор с души. С позором жить тяжело, ох как угнетает! Хотя, если кто-то не захочет поверить, так не заставишь. Да и зачем? Вот и получилось — сколько Теклюшка с Авдеем жила здесь, пока не раскулачили, и там, куда сослали, одна была. Разница только в том, что одной среди своих быть невыносимо, а среди чужих — так само собой понятно: кто она им, чужим людям?.. Это с родителями связь кровная, и когда рвется, кажется, не пережить такое... С соседями, односельчанами хотя связь жизненно будто необходимая, но без нее легче обойтись... И когда она рвется, боли особой нет, обида есть: как же так, столько лет жили рядом, и вдруг... А с чужими и не надо искать никакой связи: у них свое, у тебя — свое...

Время все ставит на свои места. Обида на родителей забывается, начинаешь жалеть их: горемычные, не могли понять, что тогда было у нее на душе... Сплетниц слушали. Простила их Теклюшка, давно простила, еще когда живы были, часто домой приходила... И баб-сплетниц простила, думая — не дай бог никому из вас моей судьбы, не вникая, какая судьба у каждой из них. Одно знала, что своя судьба у нее и у Иосифа...

И об этом говорили они в ту их первую ночь на хуторе в чужом доме. Говорили без обид, не упрекая друг друга в том, что с ними случилось. Пожалуй, и он, и она подсознательно одной фразой находили оправдание всему тому, что

у них сложилось не так, как надо: «Молодые были, в головах — ветер…» И этим якобы все было объяснено. Здесь твое будто и не твое: фраза-то вкоренилась в жизнь людей неизвестно с каких времен, бытует, надо — бери, ни у кого не спрашивая... А если твое, так это то, что с тобой было до того, как за эту спасительную фразу ухватишься... Только не очень-то она спасает. Ведь то, что когда-то очень больно прошлось по душе, будто выжгло все там, оставив на многие годы пустоту, со временем все равно напомнит о себе. И тогда вновь всколыхнется душа, пусть слабо, еле заметно или, точнее сказать, когда почувствуешь внутри себя боль, пусть не такую жгучую, как в молодые годы, тогда казалось, мир рушился, значит, жива она, душа твоя... Тогда и жалость появляется, к себе и другим...

— Как же я жалела и жалею тебя, Осипка, чтобы ты только знал, — который раз говорилаТеклюшка. — Упал ты, когда Авдей вез меня венчаться, под копыта лошадям, так я за тебя так испугалась, что думала, умру на месте. Хотела так закричать, чтобы мир содрогнулся, чтобы все перед тобой окаменело, а не могу и звука исторгнуть... А когда увидела, что лошади взвились над тобой и остановились, — очнулась: живой мой Осипка, живой... Хотя и до этого без тебя была если не мертва, то сама не своя. Как заговоренная, словно очумелая была. Когда родители от меня отвернулись, сама к нему пришла. Не помню, говорила ли что ему. Одно помню, усмехнулся он очень нехорошо, смял меня, на кровать бросил, кофту на грудях разорвал... Я слезами давилась, глаза лоскутьями кофты закрывала... А потом делала все, что он велел: куда идти, ехать, что говорить...

После поняла, что покорилась ему во всем, — одна я на всем белом свете — отвернулся ты от меня. А тогда, когда увидела, что ты живой, — все во мне вспыхнуло, оживило окаменевшую душу... Помнишь, как к тебе бросилась?

— А как же, помню.

— Бросилась я тогда к тебе — вот мое спасение!.. А ты из-подо лба глазами презрительно глянул, будто пламя меня обожгло, — никогда я тебя таким не видела, и отвернулся. Я прошу: только позови, с тобой останусь. А ты не позвал. Авдей все видел, злорадствовал: «Ты еще ноги мне целовать будешь, что подобрал. Зачем ты ему такая...» Угасла я вся, подумала: зачем же тогда прибежал, если так? Нехорошо подумала: чтобы напоследок поиздеваться.

— Нет. Хотел последний раз тебя увидеть. Хотя и вырвал Авдей тебя из моего сердца, но не с корнем. Долго рана там кровоточила, она и сейчас не затянулась как следует, жжет... Думал тогда, тебя увижу — легче будет. Выходит, не о тебе думал, о себе. А если так, то был зол на тебя, в который раз говорю, прости.

— Не надо, тоже какой раз говорю тебе. Я на тебя никогда зла не держала. А вот обижалась долго: почему не поговорил с мной, когда все случилось? Почему отвернулся? А когда ты отвернулся от меня, во мне уже и угасать было нечему: что будет, то пусть и будет. Думала, может быть, так лучше и тебе, и мне. Помнила, как женщины говорили, когда какая-нибудь девушка за нелюбимого шла: «Баба все стерпит, со всем сживется, а мужчина — нет. Мужчина от нелюбимой через любые сети пробьется, а к той, которая люба, придет».

— Получилось так, что я не пробился, — тяжело сказал он. — Думал, что тебе никто. Обида меня захлестнула.

— А я поняла твою обиду. Правда, как забеременела. Поняла, как тебе тяжело было представить рядом со мной Авдея. Ты же, как мы с тобой ходили,

только дотронешься до моей руки и едва не млеешь. А тут — он. Между вами никогда согласия не было, хотя вместе на вечерки ходили. Он богатый, а ты нет. А вообще-то, он на всех парней свысока смотрел. Он такой был, когда удумает у кого девку свести, сведет. Липли к нему девки, было. Но не все поддавались ему, я — тоже. Я тебе не говорила тогда, что он и ко мне подбирался, только я ему: «Пошел прочь!..» А это еще больше мужика бесит. Ну и опоил, память отшибло. А ты, когда все случилось, решил, что я сама к ему пришла.

— Да... Вот и ключ ко всему нашему...

— Все, что было с нами, Осипка, когда расстались, — миновало. А теперь настало наше с тобой время. Только надолго ли? — вдруг вздохнула она. — Когда-то кто-то один останется. Что тогда?.. Надо, чтобы я раньше...

— Не думай об этом, — глухо, будто издали, сказал он. — Нам еще жить да жить.

— Если бы так.

Текля на какое-то время умолкла. Молчал и Иосиф. Ее голова по-прежнему лежала на его плече. Он боялся пошевелиться, ощущая, как тихо и спокойно пульсирует жилка на ее виске.

Текля была внешне спокойна, но он чувствовал, что на душе у нее тревожно. Понимал, Теклюшка не может избавиться от мысли, что когда-то кто-то из них останется один, боится — вдруг она. Понимал, что сейчас не надо ее утешать, только разбередишь душу и ей, и себе. А так посидят молча — развеется та тревожная мысль, исчезнет. Вот только надолго ли?

— Месяц скатился, — неожиданно сказала она. — Угасает. Скоро начнет светать. Как же давно я не видела наших рассветов. Помню, такою порой они чистые, будто росой умытые. Свежо у нас. Легко... А там, где я была, рассветы тяжелые, сырые. Там — лес и лес. И небо низкое, к земле давит. И месяц не такой: у нас желтый, а там бледный, как выжат. Хотя, может, это только кажется — все там чужое.

— Скатился, — будто подтвердил он.

В открытую дверь по-прежнему лился лунный свет. Но был он уже слабый. И лился со стороны — луна склонилась к гряде леса, к реке. На небе таяли звезды, и было оно уже не темное, а синее. Поблекла лунная тропка на земле, отодвинулась вправо от крыльца к двум березам напротив него, застыла там…

Кроны берез заметно посветлели, хотя на фоне темно-синего леса все еще были невыразительными. На его гребне по-прежнему, как и ночью, еле заметно трепетала желтая лента, но уже потянутая легким красным цветом… Приближался тот момент в жизни природы, когда где-то далеко-далеко солнце еще скрыто, но уже чувствуется: вот-вот вспыхнет, зажжет верхушки деревьев. И вскоре зажгло: высветился первый луч, заиграл на них, словно сполох далекого огня...

Иосиф вздрогнул, будто пахнуло жаром.

— Что с тобой? — испуганно спросила Текля и подняла голову с его плеча.

— Вспомнилось, как уходил из деревни. Не по себе стало.

— Не вспоминай. Уже ничего не изменишь.

— А я и не хочу ничего менять. Зачем? (Текля вновь склонила голову ему на плечо, и он вновь ощутил, как пульсирует жилка на ее виске. Но уже не так спокойно, как раньше, а быстро, сильнее.) Только вспоминается. Знаешь, — продолжал он, — я тогда не от людей уходил, а от себя самого, от того, каким был в то время. Долго не понимал это. А когда здесь очутился, много о себе и о них думал. Времени хватало. Ночи в одиночестве длинные. Особенно зимой.

Думал и понял, что уходил я и от вины перед ними. Большая вина перед односельчанами на мне лежит. И не только за Стаса. Иной раз думаю, как только земля меня держит. Давно и не раз порывался к властям. Мол, такой-то и такой-то объявился. Может, ищете? А если и не ищете, все равно судите меня: отец преступника, да еще какого — с немцами людей жег... И еще: у нас дамба после войны взорвалась, заминирована была. Так я видел, как немцы, когда отступали, по ней ходили, что-то рыли там. Знать, минировали, а я никому не сказал. И разве оправдание мне, что не знал об этом? Позже, как взорвалась, догадался... Хотя, кажется, когда наши пришли, дамбу проверяли.

Потом думаю: а что власти? Перед ними вина одна: осудят и все на этом. Отбыл срок, вернулся домой, если там не сгинешь, — нет вины, искупил. А перед людьми вина вечная. Умрешь, а все равно не простят. Она как вопьется в людскую память, так ничем, никакой тюрьмой ее не вытравишь. Люди и должны меня судить своим судом. За то, что Стаса таким вырастил. Видел же, каким растет, но ничего не сделал, чтобы уберечь парня: дед, баба, Мария не давали. Им я подчинялся, мужчина, называется. За то, что...

— Не надо, Осип! — сказала Текля. — Как хорошо было, а ты опять — вина!

— Может, и не надо, но все же доскажу. Перед людьми виноват, они и осудили меня. Только как?.. Тем, что не приняли к себе? Больше они никак меня не наказали. Ну крикнул Михей Ефиму, чтобы тот закрыл передо мной двери в сарай, когда я к пригорку приплыл, где они спасались. Конечно, слышал Михей, как Ефим упрекал меня, дескать, приплыл, потому что страшно одному в наводнение. И больше ничего... И весь суд? А мне надобно знать, что я, если по совести, заслужил, какое мне должно быть наказание… А то присудили: прочь... Не наказание это…

— Пожалуй, и этого тебе хватило, — сказала Текля. — В ледяную воду тогда бросился, сгинуть мог...

— Но ведь не сгинул.

— Значит, вину свою преувеличиваешь. Если в чем и виноват, то есть же иной суд. Он один справедливый. От него не откупишься, его ничем не проведешь. Его никому не миновать. Ни богатым, ни бедным. Ни властелинам, ни нам с тобой. Есть же суд тот, Осипка?

— Чего не знаю, того не знаю. Может, и есть, — ответил он. — Но все-таки, может быть, тот, кто в том суде за мной наблюдает, нечто мое уж очень ужасное не увидел. А может, и пожалел меня, дал шанс подумать и самому себя осудить, поэтому и выплыл, остался жив.

— Слушаю я тебя и вижу, что ты сам себя и судишь, — сказала она. — Даже теперь. Мы только встретились, еще не наговорились, а ты уже... Не убивайся, Осипка. Зря все это. И себя не суди, и людей. А если, как ты говоришь, они тебя не судят, так не за что. И если бы даже и было за что, так прощали тебе. Значит, понимают все, что с тобой приключилось, люди просто так никому ничего не прощают… Страдалец ты. И они страдальцы. Страдали и страдаете, вроде вместе, а порознь. Вроде и сойтись хотите, а между вами какая-то пропасть: не сойтись, не докричаться…

Он будто понял, спросил:

— А ты?

— Была страдалицей, теперь нет. Я же с тобой. Нам теперь надо жить, а не страдать. И не надо ни на кого обижаться. И никакие суды тебе не нужны: ни от власти, ни от людей. Если бы ты кого уж очень интересовал, давно нашли бы: и власть, и люди. Не здесь, так в городе. Ты же раньше часто туда плавал.

А так живи, зачем, чтобы душа страдала? Она же не каменная, может и не вынести.

Иосиф слушал ее и не понимал, почему он вдруг начал такой разговор. Не ко времени. Но что-то качнулось в душе, вывернулось, и — прорвало, как ту дамбу… Вновь замолчал, теперь уже надолго. И Теклюшка молчала, пожалуй, что-то свое вспоминала, о чем-то своем думала. Затем, словно очнувшись, приподняла голову, пристально посмотрела на него и осторожно провела рукой по давно небритой щеке. Гладила молча, нежно. Рука ее дрожала, а он ощущал, как все тело наливается теплом, как никогда за многие годы, ему было хорошо и спокойно, глаза сами закрылись…

Она вздохнула, обняла его, прильнув щекой к его щеке, и тихо сказала:

— Выговориться тебе хотелось. Но не перед кем было. Взволновался.

— Откуда знаешь?

— Да по себе знаю. Поговорили, и будто гора с плеч. И у тебя, и у меня.

— Оно так, Теклюшка... Мы-то — с тобой. А как с ними?.. Говоришь, пропасть между нами… Одолеть бы… С тобой вместе. Так захотелось жить! А то ведь душа усыхала. Оживила ты меня. Теперь, Теклюшка, мы, как ты сказала, должны жить, а не страдать.

— Говоришь, оживила я тебя. А как ты меня оживил!.. — Она на мгновение задумалась, потом продолжала: — Видел, как в зной при дороге какой-нибудь цветок усыхает? Пылью его занесет, люди топчут-перетопчут, кажется, в нем уже нет ничего живого, но вдруг пройдет дождь и — ожил он, ожил… Так и я, как только тебя увидела, сразу и ожила: мой Осипка, мой! За мной пришел, мой спаситель!

— Удивительно, что узнала. Состарился. Лица нет, щетиной зарос. К земле гнусь.

— Как узнала… Появился — почувствовала: ты!.. А меня как ты узнал? Я уже так состарилась, что…

— Ты что?!. Какая была, такая и есть. Глаза твои. Тепло твое. Вся такая, как была. Тоже тебя почувствовал. Да я тебя с завязанными глазами узнал бы: моя Теклюшка.

Сказал и вновь подумал о том, что с ней будет, когда останется одна? Когда-то это случится. Он стар, слаб. А женщин страдания делают сильней, выносливей. Страдалицы дольше живут. Вон сколько таких примеров в Гуде, да и в Забродье. Только зачем через страдания?.. Женщины без них должны жить долго. И Теклюшка — тоже. Но не здесь, в одиночестве, а среди людей, с ними, хоть и он, и она их боятся. Особенно она: в ссылку могут вернуть…

Ему захотелось сказать Теклюшке, что если вдруг он умрет, ей непременно надо идти в Гуду и обязательно найти там Ефима. А если того уже нет (всякое может случиться, тоже в летах), — Николая или Михея, да сказать им: «Я жена Иосифа Кучинского. Он умер. Осталась одна. Помогите». Пусть расскажет им все о себе и о побеге из Сибири. Они поймут ее, не выдадут, не оставят в беде, если надо будет, спрячут. Как бы плохо ни относился Ефим к Иосифу, все равно невинную Теклюшку в обиду не даст, конечно, если живой.

Не сказал, будет еще время. И это ее, дескать, нам теперь надо жить, а не страдать, вдохнуло в него надежду на добро.

4

Вместе они были почти два года. И радостные, и тревожные для них. Непросто двум пожилым людям жить отдельно от всего мира. Непросто не только потому, что уже нет здоровья, что надо как-то добывать еду, а еще

потому, что каждый день боишься: вдруг сюда кто заявится… Нет, нет, не хозяин, с ним они сладят: тот сам ни за что пострадал. Лесники могут прийти, милиционер или еще кто из власти.

Казалось бы, власть — это также люди. Только почему-то, сколько Теклюшка ни сталкивалась с теми людьми, не видела в них ничего хорошего для себя. Раскулачили, со своей земли изгнали, когда не хотела идти, в спину толкали, матерились, оскорбляли, и сколько ни плакала — никакого сострадания.

Казалось, те люди не имели сердца. Казалось, их родили не матери, а звери. Казалось, они никогда не были детьми. И еще: они никогда никого не любили. Они ненавидели весь мир, в каждом человеке видели врага.

Она рассказывала Иосифу, как в районе на площади, перед каким-то строением, где и была власть, собралось немало таких раскулаченных, как они с Авдеем. Были семьи с детьми. Дети плакали, но и на них, как и на взрослых, стариков и старух, те, кто тогда был властью, смотрели как на своих заклятых врагов.

И поняла тогда Теклюшка, что ты в этом мире ничто перед такими людьми. И если бы тебя не было, то они были бы никем. Им надо, чтобы были бесправные и обездоленные.

Бесправной и обездоленной была она и в ссылке, куда их везли долго-долго. Везли, как животных, в каких-то зарешеченных вагонах, где ни сесть, ни прилечь — столько людей. И относились к ним, как к животным, — об этом тяжело было вспоминать, но она не могла забыть весь ужас пережитого. Видела и по дороге, и в ссылке много человеческого горя и страданий. И видела, как в этом горе люди помогали друг другу: делились последней краюхой хлеба, глотком воды. Также видела и тех, кто был готов отобрать у голодного последнее. И отбирали.

Такие без очереди, распихивая слабых, лезли с миской к котлу, когда на какой-нибудь остановке приносили похлебку. И ели такие не по-человечески, по-волчьи, глотая еду, а потом вылизывали миски. Они крутились возле сопровождающих, по-собачьи заглядывали им в глаза...

Их не любили, но и не трогали: себе хуже...

О владельце хутора Антоне, именем которого называл себя Иосиф, когда плавал в город к своему товарищу Архипу, она думала как о хорошем человеке. Хозяин. Смог же в глуши среди болот расчистить площадь, возвести дом, поставить кошару, сарай, другие строения.

Говорила об этом Иосифу, и он соглашался: «Известно, лентяй такое хозяйство не содержал бы. И Ефим сказывал, что Антон был хозяином настоящим и хорошим человеком. Ефим, когда был молодой и бродил по земле, на какое-то время к нему пристал, у него работал, а Боровец брехать не будет».

Если такой человек и вернется, разве не посочувствует им?..

Вера в доброту хозяина хутора обнадеживала: как-нибудь и при нем доживут они тут свою старость. Вот только бы умереть вместе, такое с мужем и женой случается. Но это от них не зависит…

Понимал Иосиф, что Теклюшка здесь одна без него не выживет. Понимал, что никуда она отсюда не пойдет, ни в город, где настрадалась, ни в свою деревню, где у нее уже давно никого нет. И в Гуду к чужим людям не пойдет.

— Как Бог даст, так и будет, — говорила она, когда рассуждали об этом. — Живем и живем. И нечего Бога гневить: мы вместе. Ты хоть теперь, но мой хозяин. Как же я этого хотела!

Со временем, постепенно привыкнув к хутору, к чужому дому, Текля стала чувствовать себя здесь хозяйкой. Не спеша, словно боясь нанести урон чужо-

му жилью, вымыла потемневший от времени, местами с остатками песка, пол. Ужасалась: откуда столько его? Иосиф пояснил, что это высохший болотный ил, принесенный когда-то ворвавшимися сюда людьми. Они-то и истоптали пол грязными сапогами, прежде чем изгнать отсюда Антона и его семью. А кто еще? Семья в лаптях ходила, вон они, до сих пор в кладовой — старые и новые, целая гора, большие и маленькие.

Затем Теклюшка вымыла окна, в углах, из-под печи вымела паутину, тщательно провела метлой по серому потолку, словом, привела дом в порядок. Иосиф помогал ей, носил из родничка воду, передвигал стол и лавки. Глядя, как она управляется, представлял, что они в своем доме. Представлял, прекрасно понимая, что в чужом они, что своего угла им уже никогда не иметь, и холодное щемящее чувство обиды охватывало его. Стараясь не показывать этого, молча улыбался: пусть она хоть на миг почувствует себя хозяюшкой.

А Текля если и чувствовала себя хозяйкой, то только тогда, когда руки были чем-то заняты да когда он был рядом. Убирая в доме, сетовала, что в нем нет иконы: в левом углу, на полке, где обычно их ставили в ее деревне, лежало смятое, потемневшее, почти истлевшее полотенце. Хозяин ли забрал иконы, или пришлые люди — как знать.

В доме убрала, но по-прежнему они жили в сенях — пусть дом ждет хозяина, семью. А вот печь Теклюшка протапливала, как и раньше протапливал Иосиф, — без теплой печи жилье умирает. И в печи варила еду. Было из чего, Иосиф по-прежнему время от времени выбирался в город, покупал только самое необходимое: крупу, соль, хлеб. А мясо и рыбу, как и прежде, добывал сам, устанавливал в лесу петли на зайцев, тетеревов, рябчиков. На реке в заводях ставил верши.

Когда приплывал в город, всегда челн привязывал к ольхе недалеко от Архиповой бани. Случалась, на берегу встречал кого из местных рыболовов, пожилых мужиков, но были и парни. Их лодки покачивались на воде недалеко от его челна. Здесь, как и при Архипе, мужчины, жившие у реки, держали свои суденышки. Иосифа они знали в лицо, не раз видели его вместе с Архипом.

Иосиф, здороваясь с ними, молча кивал головой. Затем не спеша подымал ореховые удочки, перекладывал (нарочно сделал их и брал в челн). Котомки с рыбой не доставал, ждал, пока останется один, чтобы взять их и двинуться к базару, где у него еще у ворот перекупщики за бесценок забирали, как говорили, «товарец». Заберут, дадут деньги, а он — назад, к реке, к магазинчику, стоящему почти напротив Архипового дома, где и покупал что было надо.

Случалась, мужики и парни подходили к нему, спрашивали, клюет ли рыба и где, если не секрет. Отвечал с готовностью, но неторопливо: «Поклевывает, и неплохо. Лучше всего на утренней зорьке, когда тихо, когда над рекой еще стоит туман. Хорошо берет в заводях, возле травы, у обреза. Попадаются линь и лещ. Есть крупная плотва, густера с ладонь. На дно надо опускать насадку. Если в полводы — мелочь не даст подойти крупной рыбе. Крупная берет только со дна. Клюет на червя, на пучок. Подсекать надо, когда поплавок (у него из пера аиста) ляжет. Но и здесь не надо спешить, пусть немного потянет, тогда — бери его! Лещ, даже крупный, идет легко. Но надо поднять его на поверхность, дать глотнуть воздуха, тогда он на некоторое время застынет, — и тяни его спокойно к лодке, бери за жабры, бросай на дно. А вот с линем тяжелей, хотя его также надо тянуть поверху, леску нельзя расслаблять. Там же, у травы, попадается и крупная плотва. Ну это уже на любителя.

Рыбаки любят, когда кто-то рассказывает, где, как и на что ловится. Таких уважают, угощают папиросой. Могут предложить и стаканчик. И угощали, и

предлагали. Благодарил. От стаканчика отказывался, как и от папиросы: не пью, лета уже не те, да и на воде опасно. И не курю, давно бросил.

Случалось, кто из парней просил продать рыбу: «Дома похвастаюсь, какой я рыбак! А вы говорите, мелюзгу приношу». Продавал. Когда спрашивали, сколько дать, отвечал: «А сколько дадите». Обычно расщедривались: а старик не скупой... Тогда и мы не пожадничаем: возьми! Много? Ничего, батя, когда и где ты еще заработаешь...

В такие дни, когда встречал неудачливых рыболовов и отдавал им свой улов, а они за это щедро расплачивались деньгами, в город заходил ненадолго. Причем только в тот же магазинчик напротив дома Архипа, чтобы купить самое необходимое, и сразу же — назад, к челну.

Посетителей там всегда было мало, в основном старики, жившие поблизости, женщины да детишки. Никто на него не обращал внимания.

Здесь он купил Теклюшке валенки, плюшевую жакетку, платье, легкий и теплый платки. Себе из одежды ничего не покупал — есть что носить.

Когда привозил Теклюшке обновки, укоряла: «Зачем так деньги транжирить?» Но по глазам видел, по улыбке, радуется покупкам. Особенно радовалась она цветастому легкому платку, который сразу же набросила на плечи и спросила шутя:

— Помолодела ли?

Улыбнулся, ответил:

— Ты у меня всегда молодая…

Улыбался, а на душе было тревожно: каждый поход в город — волнение, да еще какое! Плыл отсюда, волновался: а вдруг со мной что случится…

Возвращался из города — также тревожился: как там Текля...

Знал, боялась и она, провожая его к челну, успокаивала:

— Не волнуйся, Осипка, ничего со мной не случится. (Она всегда так его называла, когда-то придуманное Ефимом «Иосиф» ей никогда не нравилось — чужое.) Я вот здесь затаюсь (показывала рукой на густую заросль можжевельника недалеко от родничка на меже между хутором и болотом) и буду тебя ждать. Надо плыть, ничего не поделаешь. Продашь все, так сразу назад, не задерживайся. Город есть город, чужой он нам с тобой, и люди там разные.

Соглашался, говорил:

— Я мигом. Ты уж себя смотри, Теклюшка, а за меня не бойся. Я осторожно, ни один бес за мной не уследит. А пока в доме побудь, ночь еще не сошла, холодно. А когда тепло станет, можешь и по меже походить.

— Перекрестись, — говорила она и, собрав три пальца вместе, творила над ним крест: — Боже, сохрани и помилуй раба твоего Осипа.

И он спешил и туда, и обратно. Как только начинал брезжить рассвет, выходил из дома, направляясь к болоту, к кладкам. В такое время если бы кто и хотел проследить за ним, когда шел по трясине по кладкам, не проследил бы: в двух шагах ничего не видно. А ему что, он и с закрытыми глазами пройдет здесь: это его болото, и кладки его.

Плыть в город по течению, конечно, легко. Назад хуже. Каждый раз, плывя против течения, чувствовал, как убывают его силы. Боялся, что вскоре вообще не сможет грести против течения, не сможет отталкиваться шестом от дна. Боялся, но Теклюшке не говорил об этом, не хотел ее тревожить.

Возвращался из города всегда еще засветло. Прятал челн в тростнике в заводи, набрасывал на плечи мешок с покупками и как только мог спешил к ней. По плахам на болоте, кажется, шел тихо, сапогами не шлепал, а она еще издали слышала: он, ее Осип. Шаг у него осторожный, размеренный: туп, туп, туп... Кажется, и дыхание его слышала: тяжеловатое, сдержанное.

Когда Иосиф поднимался к родничку, выходила навстречу, спрашивала:

— Небось устал, Осипка?

— Да нет, — говорил он, снимая с плеч мешок и останавливаясь возле нее. И чуть отдышавшись: — Дай я тебя обниму, соскучился.

Она стыдливо щурилась — не молода, чтобы обниматься, но лицо подставляла. Он обнимал ее, прижимал к груди, огрубевшей рукой гладил по голове. Она молчала, не шевелилась, будто боялась вспугнуть ту кроткую нежность, которая наполняла его.

Ему казалось, что эта нежность исходит откуда-то издалека, наверное, из того времени, когда они были молодыми, когда еще ничто не предвещало той беды, которая их так надолго разлучила…

— Как же мне хорошо, — говорила она. — Век бы так с тобой стояла.

Это была поздняя нежность. Неутихающее эхо их далекой любви, вспыхнувшей много лет назад на сенокосе в Демковских болотах, когда вдруг встретились их глаза — все вокруг озарилось ярким дивным светом… Встревожило, взбудоражило души, и неизвестная им до той поры щемящая сладость чувств опьянила и его, и ее…

А было так: шел он солнечным утром, чтобы скосить лужок между зарослями лозняка, а навстречу ему она с кувшином в руках...

…У обоих вскружилась голова... И он, и она почувствовали одно: как же жили на свете, не зная этого чувства, которое когда-то люди назвали любовью...

Ни время, ни холода и метели, ни расстояние между ними в тысячи километров, ни долгая жизнь порознь, когда у каждого были свои горечи и беды, ни обиды не смогли погасить в их сердцах это пламя...

...И вот, когда он приплывал из города, она, услышав его шаги, выходила из можжевельника навстречу. Иосиф обнимал Теклюшку, и они долго стояли обнявшись, будто прислушиваясь — она к тому, что сейчас делается у него на душе, а он — к ней. Случалось, она могла пошатнуться, тогда он, поддерживая ее, говорил:

— Пойдем. Ноги твои…

— Что ноги?.. Мне так хорошо, просто голова кружится. А ноги уже зажили, отдохнули — здесь им негде было находиться — не болят.

Язвы на ее ногах действительно зажили. Она долго прикладывала к ним подорожник, затем, когда язвы зарубцевались, парила отваром из березовых почек. По усадьбе ходила в мягких лаптях. Осматривала усадьбу и все качала головой, дескать, сколько же лет пустует такая хорошая земля.

А земля действительно пустовала. Она густо заросла травой, и теперь, чтобы засеять ее, нужны были лошадь и плуг.

Иосиф видел, как Теклюшка скучает по крестьянской работе. Скучал и он. И не только теперь, а все эти годы живя здесь. Конечно, он давно мог бы обрабатывать какой-нибудь кусочек земли. Мог бы косить — косы в сарае были, между прочим, как плуг и борона, лопаты и грабли. (Наверное, когда отсюда уводили семью, новым «хозяевам жизни» надобности в инструменте не было.) Не косил, боялся: вдруг пролетит самолет, заметит...

5

Случилось это через месяц после того, как Иосиф привез Теклю на хутор.

Однажды, когда он пошел к реке проверить вентери, она, ожидая его, ходила по усадьбе. Ей было интересно узнать, чем занимались хозяева хутора, осмотреть постройки: может быть, в какой-нибудь следовало навести поря-

док, ведь прошло много времени с тех пор, как семья ушла отсюда. В доме она уже давно все прибрала. Окна светятся, лежаки застланы тем, что Иосиф привез из города, возле печи — вилы и ухваты, на полке, приделанной к стене справа от двери из сеней, — глиняная посуда, в запечке — чугуны. Словом, заходи и живи...

И в сенях был порядок. Здесь Текля также все вымыла и даже разбрасывала по полу полынь, как обычно делали женщины в ее деревне, чтобы не было мух. А вот крыльцо сколько ни натирала, не посветлело, как было черным, таким и осталось, доски подгнили. (Иосиф собирался сделать новое.)

Текля осмотрела пустую покосившуюся кошару, из которой давно уже выветрился запах, разве что ощущалась горькая пыль — мертвое без животных строение. Потом подошла к сараю, стоящему чуть дальше. Покосившиеся ворота были прикрыты, ощущение такое, будто кто-то недавно побывал там, но вышел, чтобы вскоре возвратиться. Постояла перед ними в нерешительности, затем потянула засов, ворота пронзительно заскрипели, да так, что по телу пробежала дрожь. Отпрянула, хотела уйти, но любопытство остановило: внутрь влился солнечный свет, упал на доски, сложенные у противоположной стены, на длинный невысокий ящик, стоящий на двух кругляках. Возле ящика, словно желтая дорожка, — рассыпана свежая стружка.

Застыла, в глазах потемнело, в висках застучало, жаром пахнуло в лицо — гроб ладил Иосиф. И недавно, пожалуй, перед их встречей закончил, еще даже стружки не убрал. Для кого?.. Неужто для себя…

Тяжелый вздох вырвался из груди, поняла, кому предназначалась домовина, так в Демках гроб называют. Нескоро в себя пришла, подумала, что готовился Осип к уходу. Ну что ж, если отстраненно рассуждать, так здесь нет ничего удивительного, старый человек. Помнила еще с детства: случалось, в деревне старики мастерили себе гробы. При этом меж собой спокойно говорили, как о чем-то обычном, необходимом, дескать, сам сделал, так буду знать, во что положат…

Был гроб и у ее дедушки по отцу. В клети стоял несколько лет, прежде чем по назначению пригодился, он рожь в него насыпал. И ничего, привыкли. Так это же в деревне, там другое, там люди. А здесь Осип. Что думал, на что рассчитывал, когда делал?

Пошатываясь, словно на чужих ногах, вышла Текля из клети, направилась к меже, к родничку его встречать. Стояла там, ветер шумел, где-то рядом скрипело старое дерево, дятел стучал, никак не могла прийти в себя, понимая, каково было ему все эти годы. А через какое-то время из кустов неслышно показался Осип, неся весомую сумку рыбы. Глянул на Теклюшку, остановился, заметил, что она растерянная и какая-то встревоженная, испуганно спросил:

— Что случилось?

— Ничего, — вздохнула она, качая головой, — в клеть зашла...

— Вот оно что, — сказал он. — Было. Заскучал. Набрал в голову. Ну и сладил. Думал, пусть будет. Думал, почувствую, что время мое на исходе, затяну куда подальше, лягу и буду ждать... Изрублю!

— Зачем? Не руби. Пусть долго не надо будет. Забудь...

— Забуду. И ты забудь.

— Хорошо...

6

...Вспомнил сейчас все это Иосиф, лежа на земле, вновь попытался подняться. И вновь полоснула мысль: «Как быть дальше?..» Больно полоснула, сжался, помнил, какой ужас охватывал, когда, случалось, в голове навязчиво возникало: а кто же первый...

И хотя прочь гнал эту мысль, но не получалось избавиться от нее. Особенно угнетала она в тот день, когда Теклюшка увидела гроб. Укорял себя за то, что не разобрал его сразу же после того, как привез ее сюда. Хотя и помнил о нем, совсем неуместном сейчас, но как-то не находил время уничтожить.

Конечно, иногда забывал, особенно когда были вместе, когда сидели за столиком в сенях или на старом крыльце и говорили, когда им было хорошо…

Пришли они тогда к дому, Иосиф молча высыпал рыбу в корыто в сенях — четыре больших, словно боровы, линия, огромная щука, — и не знал, о чем говорить. Теклюшка тихо подошла к нему, понимая, что у него на душе, сказала:

— Да выбрось из головы, Осипка. Что Бог даст, то и будет.

— Выброшу...

Больше она в клеть не ходила. Не ходил и Иосиф, будто забыл. Хотя забудешь ли? Не для того делал, чтобы не помнить о нем. Делал поторапливаясь, рассудительно, будто что-то очень нужное, без чего ему вскоре нельзя будет обойтись. И никаких особенных чувств не было: сделаю такой, какой хочу, себе делаю. Казалось, руки давно отвыкли от столярного дела. Ведь сколько лет миновало, когда вместе с Ефимом ставил людям дома. Вот и размял руки. Ощутили, как поддается дерево. Не забыли, как держать инструмент. Не дрожат, когда ведет по доске рубанок, затем фуганок. Мастерил несколько дней. Кажется, даже позабыл, *что* делает, доски строгал с какой-то успокаивающей одержимостью, наслаждался запахом смолы, свежей стружки.

Хотя доски были старые, но не подгнившие, хорошо высохли, легкие, лежали в штабеле, по-хозяйски переложенные реечками, чтобы между ними ходил воздух. Все честь по чести, отвердели, смола застыла, разворошил ее рубанком — лесом пахнет... Снял первую стружку, вторую — желтая доска ровная — загляденье!

Должно быть, хозяин когда-то намеревался пустить эти доски на пол или на какую-нибудь пристройку к дому. Еще бы, толстые, пятерка (пять сантиметров). Пилили тут же, около сарая. Здесь до сей поры стоят высокие черные козлы. Наверное, пилил с кем-то из старших сыновей. Говорил же Ефим, что когда он юношей работал здесь, у Антона уже были детишки: двое мальчишек, одному лет семь, другой чуть постарше. Доскам же не более лет пятнадцати-двадцати. Иосиф видел это по тому, как они почернели — не очень глубоко. Сосна хорошая, зрелая, жучком не источена: конечно же, Антон знал в дереве толк, сразу видно.

Наверное, сам стоял наверху, а сын внизу. Вверх тянуть пилу легче, а вниз — силу приложить надо. Обычно молодого снизу ставят, пусть показывает, на что способен, пусть учится, пока отец в силе...

Лиц хозяина и его сына Иосиф не представлял. Представлял только, как они затаскивают на козлы хорошо просохший окоренный сосновый чурбак. Не длинный, двухметровый, с таким вдвоем не так уж и тяжело справиться. Сначала подают наверх комель, укладывают, чтобы не соскользнул, затем — второй конец. Конечно, перед этим подальше отогнав малых, которые крутятся рядом, — дети такое дело не пропустят. Кору собирают в корзинки, несут

матери. А она из той коры, подбросив щепы под таганком, разведет огонь, чтобы сварить в горшке картошку. Очень вкусная она будет, когда и малые заняты делом.

Таким временем весело около дома. А когда делали гроб, детишек — подальше из подворья!..

Вот как задумано природой: доски из одного дерева можно и на жилище пустить, и на гроб. И работа у человека — дом возводить и гроб делать — одними и теми же руками.

Иосиф вместе с Ефимом домов поставил немало. А вот гробы они не мастерили. Случалась, просили люди, отказывались они с Ефимом, дескать, иди, человек, к тому-то и тому-то, те умеют, они немало за свою жизнь их сколотили.

Это было привычным делом. Жизнь есть жизнь. И себе тоже заранее делали гробы. Но немного было таких мужчин на деревне, два-три. В Гуде, помнится, дед Федор и дед Кондратий. Погибли в войну, сгорели. Людям гробы ладили, а сами… Ветер их пепел развеял, как и всех остальных гуднянцев, кого фашисты согнали их в клуб, когда жгли деревню...

Ну что ж, думал Иосиф, если сделал, пусть будет. Но как-то нехорошо получилось. Да и чужие доски взял. Одно оправдание, что не у кого было спросить. А когда вернется хозяин, ему вряд ли объяснишь свою прихоть. Разве что попробует выкупить, деньги же есть. Если случится, что не дождется хозяина, деньги лежат в доме на полочке, с которой сняты иконы и над которой зияет потемневшее полотенце, — найдет. Место заметное.

Конечно же, Текля чувствовала, что он страдает из-за *этой* вещи, которую неожиданно увидела, и на следующий день сказала ему:

— Может, по дрова пойдем, Осипка? День-два, день-два, и не заметишь, как дожди пойдут, похолодает. А там и зима ляжет.

— Пойдем, пойдем, — обрадовался он, рассчитывая, что такое занятие развеет грустные мысли.

А дрова, пока еще тепло, действительно надо было заготавливать — собирались здесь зимовать. А где же еще...

Дрова заготавливали около болота, этого, большого, которое сегодня перешел Иосиф. Сушняка здесь было много. Хороший сушняк, сосенки, березняк. Пилили двуручной пилой вдвоем. Носил же он один под навес, Текле не позволял, не женское это дело.

Перезимовали, как она говорила, горя не зная. Крупа была, рыба была, зайчатина, сушеные и в кадушках грибы, ягоды. Хутор не оставляли. Правда, однажды натерпелись страху. Как-то открыл Иосиф дверь из сеней, а из-за реки катится эхо выстрелов: бух, бух... Глухое, далекое, еле слышно: но ведь стреляют.

Понял Иосиф, что там, за рекой, кто-то охотится. Не дай бог, сюда явится. Хотя понимал, вряд ли: болота вокруг хутора засыпаны снегом, но лед тонкий, умный человек не будет погибели искать. А все-таки...

— Что там? — испуганно спросила Текля из сеней. — Люди?

— Охотится кто-то. Не бойся, сюда не придет.

Вернулся в сени, захлопнул дверь, изнутри набросил защелку, долго сидели молча. А под вечер разыгралась метель, снег залепил окна. Радовался Иосиф, заметет их следы на усадьбе и человека сюда не пустит. Да тот и сам сюда не сунется, если есть голова на плечах, домой пойдет тем же путем, каким пришел...

После этого они с хутора далеко не уходили. Если и удалялись, так раза три, когда ставил петли на зайцев. Вдвоем ходили, не мог он оставить

Теклюшку одну. Он на лыжах, она на снегоступах. Лыжи у него были. Сделал их еще в первую зиму, как остановился здесь. Из березовых плашек — широкие, легкие. Острогал плашки, затем хорошо распарил в чугуне, чуть пригнул заостренные носы, приладил крепление из резины — нашлась и она в сарае.

Текле сделал из еловых лапок, как она говорила, снегоступы. Сама подсказала: видела, как делали люди там, где жила в высылке. Ходила в них в валенках, которые еще осенью Иосиф привез из города, выбравшись на базар в последний раз перед зимой.

Оставил он ее одну на усадьбе весной, в конце марта, когда надо было петли проверить. День солнечный был. (Тогда в последний раз видел ее живой…)

7

...В душе Иосифа не утихала буря. Сталкивались, смешивались, вихрились и грустные, и радостные воспоминания. Но горестное затмевало все то хорошее, что когда-то было в его жизни. Хотелось хоть немного света. Но если и был свет, так не здесь, не рядом с ним, а где-то далеко, неуловимый и чужой, в чужих жизнях. В тех, которые проходили мимо него в довоенной Гуде. Люди там жили. Они рожали детишек, те росли, женились, выходили замуж… Тоже рожали и воспитывали детей, доживали до старости, умирали… Вот такой извечный круг, вот так задумано тем, кто создал землю и все на ней, в том числе и человека...

Казалось, что в каждой семье, только не в его, все было в ладу. Казалось, там, в чужих семьях, муж и жена любят друг друга, дорожат он ею, а она им. Казалось, там дедушки и бабушки спокойно доживают свое, находя утешение во внуках.

Радость, неизвестную ему человеческую радость за детей и внуков, видел Иосиф у соседей и односельчан в довоенные времена. Видел и вчера в городе, когда неизвестная женщина, чем-то похожая на его мать-мачеху, говорила ему о своей дочке и внуках.

Несомненно, вчера радостными были и Катя с Надей, когда со своими детишками шли из города через мост к шоссе, чтобы остановить попутную машину и поехать домой в Гуду, где их ждут.

Радость наполняла Иосифа, когда увидел, что никто за ними не идет... И она вчера еще долго согревала Иосифа: живут односельчане, как и должны жить люди… Ведь смогли пережить страшный паводок после того, как взорвалась дамба, и наверное, не без его помощи: он же тогда им продукты и лодку оставил, а сам исчез…

И была это радость за них, дорогих ему односельчан… А вот своей радости у него нет: одиночество, леденящее душу, да угнетающая беспросветность: а дальше что…

«Боже, это за что же мне кара такая!..» — прохрипел он.

В ответ ни звука.

Да и не ждал он ответа! От кого? Один он здесь, среди непроходимых болот, среди густого леса. Хрипи не хрипи, никто тебя не услышит, и даже эхо не отзывается. Чтобы отозвалось, кричать надо, да так, чтобы не то что лес, весь мир вздрогнул. Но нет мочи…

…Иосиф по-прежнему лежал на земле. Над ним было еще высокое небо. Голубое, хрупкое, с редкими белыми перистыми облаками. Земля под ним, казалась уже теплой, своим телом нагрел, что ли… Значит, душа еще теплит-

ся. Хотя, конечно же, душа здесь ни при чем. Конечно же, земля-матушка за день нагрелась еще не ослабевшим, хотя уже и почти осенним солнцем.

Лежал, а вокруг лес, с которым сжился за эти годы, за лесом болота справа и слева. И с ними сжился, да еще как…

С правой стороны, километрах в десяти отсюда — шоссе. Добираться через болото к шоссе, по которому два раза в неделю из области в район и назад ездит его знакомый шофер Сергей Говорков, Иосифу с каждым разом труднее. А сейчас, должно быть, он уже и не сможет, совсем обессилел, износился, как старая одежда.

Проезжает Говорков и около Гуды, правда, далековато от нее. Слева за болотом, намного меньшим, чем то, которое он сегодня преодолел, река Дубосна.

По реке против течения, если бы и хотел Иосиф, в Гуду ему не добраться, не хватит сил шестом править, чтобы завести челн к деревне, очень далеко она.

Конечно, можно сказать самому себе: «Иди берегом, Иосиф». Сказать можно, только придется идти неделю, если не больше. И идти надо, пока не начались осенние дожди и холода, не дойдешь.

И в город он не поплывет, никто Иосифа там не ждет, уже два года, как нет его товарища Архипа, человека, который поддерживал, помогал и которому Иосиф так и не открыл своего настоящего имени.

В западне Иосиф. Когда-то искал на хуторе избавления от людей, а вышло, сам себя загнал в ловушку: отсюда ему, если бы и хотел, вряд ли вырваться. Да и не будет он вырываться!

Сергей Говорков теперь единственный во всем свете сочувствующий Иосифу человек. Сергею можно было бы и горе свое открыть, но что-то сдерживало, наверное, стыд, не хотел Иосиф, чтобы тот жалел его. Много раз пытался Сергей разузнать, с кем и как живет после того, как умерла его «хозяйка», но Иосиф отвечал коротко: «Живу, пока живется». Боялся, что Говорков перед зимой насильно потащит в город, в свою семью, или в дом престарелых пристроит: говорил, что есть в области такой, где содержат одиноких пожилых людей.

Нет, не нужна Иосифу такая забота, не хочет он мешать чужой семье. И дом престарелых не для него.

Вчера, выбираясь в город, Иосиф Говоркова не ждал. Пришел к шоссе намного раньше, чем тот должен был проезжать здесь, направляясь в райцентр. Впервые не хотел встречаться с ним, не хотел, чтобы Сергей заметил, что Иосиф сам не свой. От Говоркова ничего не спрячешь, кажется, видит, что у тебя на душе. Начнет выспрашивать, что, почему да как. Но не признаешься, что за Теклюшку мстить едет. Мало того, что осадит, так, чего доброго, еще закроет в кабине, повезет в область и не спросит, хочешь ты того или нет. И будет Говорков прав: не на пирушку Иосиф в город выбрался, а на дело преступное.

Если бы вчера не встретил женщин с детьми, наделал бы глупостей. Должно быть, столкнулся бы с теми, что Теклюшку обижали. И что бы он им сделал? Соли на хвост насыпал? А вот они что хотели, то с ним и сделали бы.

Значит, какая-то неподвластная сила, какое-то предопределение не позволило ему взять грех на душу. Не зря Теклюшка просила, чтобы не мстил за нее, когда однажды проговорился, что не простит издевательств над ней. Просила не трогать не только ее обидчиков, но и вообще никогда ни на кого не обижаться. Повторяла:

— Люди говорят, тому, кто прольет чужие слезы, рано или поздно они отольются.

— Слышал, — отвечал он. — Когда-то тоже среди людей жил, но почему-то не видел этого.

— А если бы и видел, какая радость? — пытаясь урезонить его, продолжала она. — И мои слезы отольются всем, кто меня обижал. И твои тоже. Только утешаться чужими слезами не надо. Какое утешение, если кому-то плохо?.. И не вправе мы с тобой судить людей. А хорошие люди — по всей земле живут. Я же столько прошла по ней, прежде чем тебя встретила. Если бы не они — не быть бы нам вместе. Помнишь, говорила, что уже умирала, когда меня одна женщина подобрала. Я даже не знаю ее имени, и веры она не нашей была. И когда молюсь, за нее хочу помолиться, а за кого, не знаю. Молюсь за нее, лицо ее вижу и говорю: «За спасшую меня рабу Божью».

— Говорили когда-то старые люди (Иосиф приподнял голову, показал на небо), если он есть, — разберется, кто какой. За человека можно молиться, не называя его имени, представляй его, и этого достаточно. — Он на минуту умолк, посмотрел на Теклю, продолжал: — Помнишь, я тебе рассказывал, как зимой сорок четвертого года в городе на вокзале видел встречу двух братьев-воинов?

— Помню, — сказала она.

— Так вот, один из них был инвалид, ехал с фронта. А другой, здоровый — на фронт. Тогда я слышал такую молитву, в которой имена тех, за кого надо молится, не называются. «...За раба Божьего солдатика», — так молилась какая-то женщина. За того, который ехал на фронт, как понимаю, и за всех, кто воевал, молилась. Может, и за сына своего или за сыновей. Да, надо, чтобы вера у человека была.

— Не будет веры, Осипка, не будет и человека. Сам человек, конечно, будет, но полый. Без души. Нет души, кто ты, если такой, если — ни сочувствия к другим, ни боли у тебя, ни радости — ничего тебе не надо, только живот набить.

Если не веришь в Бога, то надо верить в людскую доброту. Это я также от женщины, спасшей меня, запомнила. Наверное, если бы не верила, когда меня, еле живую, те люди поставили на базар просить подаяние, не выжила бы, тебя не дождалась бы. Стояла, из-за слез света божьего не видела. Столько людей мимо меня ходили… Бросали медяки, и каждый как камень в душу. Насквозь ее пробивали. Но я верила: кто-то же найдется, спасет меня. А это — ты! Ты и должен был это сделать. Вот и не верь после этого.

— А я и верю, — говорил он. — Раньше не верил, а долго пожив в одиночестве да тебя встретив, стал верить. Иначе как истолковать все, что с нами произошло?

— И не надо истолковывать. Есть то, что есть: так свыше написано.

Понимал Иосиф, что мысли Теклюшки уходят куда-то глубоко, туда, куда его не доходят, и ее покорность судьбе — какая-то тайная, уж очень по-женски личная. Может быть, эта жизненная мудрость — быть покорной — и сберегла ее.

Если так, то эта мудрость проявлялась и в том, что Теклюшка просила его, когда ее не станет, в город не идти и не мстить за нее. Говорила одно: «В Гуду иди…» Значит, верила, что там его место, среди своих людей.

Вот как: он просил ее, если что с ним случится, идти туда, а она его. И к кому конкретно? К Ефиму прежде всего, на него надежды более, чем на кого.

Говорила она это часто. Особенно в последнее время. Пожалуй, что-то предчувствовала.

Он с ужасом представлял, что будет с Теклюшкой, когда не станет его. И вообразить не мог, что может случиться иное — он похоронит ее...

8

...Пока с лодки была видна Гуда, Ефим и Валик молчали. Валик вывел лодку на стрежень, поставил ее носом по течению, и сейчас деревня была перед Ефимом как на ладони. Отстроенная, не такая, как до войны, не в одну улицу — от реки, от того ее изгиба, где пригорок, и до дамбы, а в три. Одна длинная, довоенная улица и две новые, пусть и не такие большие.

Вдоль улиц дома стояли ровными рядами. Все как на подбор, глухой стены нет ни у одного строения, два-три окнами на улицу, четыре на подворье, два к соседу — на той стене, где печь и кухня.

Это были дома приезжих, рабочих лесоучастка. Дома же Кати, Игнатия и Нади Соперских, Ефима, Михея и Николая, поставленные раньше, в первые два года после войны, выделялись: поменьше, пять на семь метров, хотя также все без глухих стен.

Строили жилища Ефим, Михей и Николай, правда, им помогали несколько мужчин из Забродья. Срубы ставили сразу после того, как построили дом Наде. Дома ставили на своих усадьбах, но не на месте сгоревших, а чуть в стороне — Ефим говорил, что на сгоревшем строиться не надо, нехорошо это.

Но прежде чем строиться, разбирали обгоревшие печи, ровняли их с землей, закладывали дерном площадки, на которых когда-то стояло жилье.

С реки хорошо была видна и дамба. Длинная, подковой, высокая, серая — земляная насыпь, покрытая бетоном, — около нее покачивались на воде с десяток лодок.

Когда насыпали дамбу, там, где она заканчивалась, у пригорка на сгибе реки, мужчины сделали причал, где и держали лодки: длинный мостик из досок вдоль берега.

Солнце уже стояло высоко. Сиял луг, залитый светом, тянулся до самого Забродья. Оно так же как, и Гуда, отстроилось, разрослось, но там, как и до войны, остался колхоз.

От реки веяло холодком. Но Ефим, кажется, не ощущал этого. На его плечах была военная, без погон, ношеная шинель. Ее ему когда-то дал Савелий, увидев, что старик в холода носит немецкую. И вообще одет Ефим был вовсе с плеча Савелия: гимнастерка и галифе, на голове фуражка без кокарды, на ногах — сапоги.

В военном был и Валик. В отцовском. Парень ростом уже догнал его, взрослый, школу в Забродье оканчивал, отлично учился, педагоги радовались за такого ученика.

Ефим гордился тем, что Савелий дал ему свое обмундирование. Как и большинство деревенских стариков послевоенного времени, он носил то, что перепадало от бывших воинов. Купить штатское денег не было. А когда и появлялись, откладывал, собирал Кате и Петрику: вдова, и мальчик без отца растет.

Иногда Ефиму казалось, что эту одежду ему через Савелия каким-то образом передали сыновья: после победы они задержались где-то по воинским делам, наверное, в каком-то секрете, писем оттуда писать нельзя, а вот обмундирование для отца можно переслать.

В первый же день, одев нашу военную форму, Ефим положил немецкую шинель, в которой ходил все время, на колодку, изрубил, забросил в печь у сарая на пригорке. Сжег. Никто, кроме Валика, не видел — тот в свободную минуту всегда ходил с Ефимом. Старик многому учил парня: и как рыбу ловить руками и вентерями, и как править лодкой по течению и против тече-

ния, и как ее просмаливать, и как правильно держать топор… Да как ориентироваться в лесу, находить к дому дорогу, и как не замерзнуть, случись искупаться в ледяной воде…

Мальчишкой тогда был Валик, но все его интересовало, всю бесхитростную дедову науку усваивал быстро и удивлялся, если кто из сверстников из Забродья с нею был не знаком: как так, мы же на реке живем, да и в леса ходим, а река и лес суровые, человека не балуют, случись с ним что. И объяснял, что нужно делать, если невзначай попадешь в беду.

А тогда, глядя, как Ефим рубит немецкую шинель, затем бросает в печь, Валик ничего не спрашивал, молча взял палку и ворошил сукно, чтобы скорее горело. Понимал, как опостылело деду Ефиму вражеское, ворошил и морщился, отворачивал нос, а когда сгорело, как взрослый, вздохнул с облегчением. Было это в сорок пятом…

Плыли, деревня все отдалялась и отдалялась, пока не исчезла за поворотом, когда река вошла в лес. Тогда Ефим подумал, что зря не предупредил Савелия, отправляясь в такой непростой и далекий путь, в Кошару. Савелий, как только узнает об этом, набросится на мужчин: дескать, зачем пустили старика в такой путь, пусть и с Валиком. Мало что может случиться в лесу на безлюдной реке. И как любил говорить Савелий, когда ему надо кого-то убедить в своем: «И вообще...»

Это «и вообще...» означало многое. И такое: вдруг старику станет плохо… Знали, в последнее время Ефим нередко хватался за сердце, морщился от боли, садился где-нибудь, ждал, пока отпустит.

Когда ему говорили, чаще всего женщины, что надо ехать в Забродье к фельдшеру, отмахивался: «Ничего страшного, износился, случается».

Женщины чуть ли не ссорились с ним: «Дядя, что ты себе думаешь». Опять отмахивался.

Однажды Савелий привез фельдшера, пожилую женщину, чтобы послушала старика. Ефим заупрямился, но та прикрикнула: «Что за отношение к своему здоровью? Если бы на фронте — вредительство, и под трибунал! А ну в дом! Я вас немедленно обследую».

Ефим думал, шутит: под трибунал!.. Но посмотрел на нее — лицо не то что строгое, а не по-женски суровое. Растерялся, не была бы военврач, не подчинился бы. Что она бывший военврач, все знали, Федоровна, так ее называли, жена председателя тамошнего колхоза фронтовика Жолнеровича. Их прислали из города восстанавливать разрушенное хозяйство. Знали, что шутить с ней не надо, отбреет так, что потом хоть не попадайся ей на глаза. Федоровны и муж побаивался. Знали также, что в медицине она разбирается, послушает больного, посмотрит, поставит диагноз, и если надо, отправит в районную больницу, а там скажут: «Если Федоровна определила, так и есть...»

Федоровна, прослушав тогда Ефима, велела: «Не волноваться, ничего тяжелого не поднимать, покой, из дома никуда не отлучаться». Словом, если следовать ее указанию — ложись, старик, и умирай. Дала ему каких-то таблеток, сказала, как принимать, пообещала договориться в районной больнице с очередью, чтобы определить туда Ефима: «Надо пройти курс стационарного лечения».

Уехала, а Ефим сам не свой: только ее не хватало на его голову. А здесь еще Катя: «Дядя, таблетку возьми!..» И так три раза в день. И вот чудеса — помогло, не знает теперь Ефим, где у него сердце, а раньше тряслось, будто хвост у зайца. Болит-не болит сердце, а как думал Ефим, Савелий, узнав, что он поплыл, всыплет мужикам: «Как же вы могли отпустить старика в такую дорогу, зная, что нельзя ему отлучаться из дома?!»

Ну и пусть! Переживут. А Ефим, как только вернется, скажет ему: «Зря ты на них, Савельюшка, зря. И даже ты меня не остановил бы! И какая может быть вина, если все хорошо? Вот и Иосифа привез. А ты говоришь...»

В том, что назад приплывут с Иосифом, Ефим не сомневался. И Савелию будет облегчение: он давно говорил, что было возбуждено дело — исчез человек на его участке. Да не исчез, нашелся! А ведь сколько людей исчезло, не вернулось с войны домой, пропало без вести, как его сыновья, — не счесть. Что его Никодим и Ваня «пропали без вести», Ефим давно знает — бумажка такая есть. Савелий ее долго утаивал: боялся, что скажет ему Ефим, когда все откроется... И что скажут Николай и Михей, да и другие сельчане?

Ефим понимает, что Савелий не имел никакого права скрывать от отца воинов такой документ. Знал, если это откроется начальству, участкового накажут. Может быть, даже исключат из партии, снимут с должности.

Давно знал. Каждый раз, встречаясь с ним, Савелий виновато, словно мальчишка, отводил глаза. Но Ефим не показывал вида, что знает о бумажке. Понимал и оправдывал Савелия: оберегает меня, хочет, чтобы я верил, что парни живы, хочет, чтобы я ждал их.

Не догадывался участковый милиционер Савелий Косманович о том, что Ефим все знает. Ничего ужасного здесь не было бы, если бы Савелий не втянул в это дело почтальонку Галю из Забродья, она обслуживала и Гуду. У Гали трое ребятишек. Если бы Ефим поднял шум, и ей не поздоровилось бы. Но Ефим молчал, понимая, что и Савелий, и Галина горе от него отводили. Был уверен, что они тоже не верили казенной бумажке.

Но как-то почтальонка не выдержала, призналась Ефиму. Было это вскоре после того, как домой, перед этим даже не написав письма, вернулся ее Фока, мужчина старше Савелия лет на десять. Говорили, что после освобождения Галя на него получила такое же извещение: «Пропал без вести». Видел Ефим Фоку. Изуродованное лицо, без ноги. (По слухам, Фока, раненый, попал в плен. Галя бумажке не верила, ждала, и вот он, муж долгожданный, отец ее детишек…)

Перед тем как Галя призналась Ефиму, что у Савелия есть казенная бумага на его имя, он приплыл в Забродье проведать старого друга Леонтия Кечика. Тот уже был очень слаб, через Савелия передал: «Хочу повидаться с Ефимом Михайловичем. Кликни его, да не медли. Наказ у меня к нему есть, как к другу. Мы же с ним с молодых годов знаемся. А когда я партизанил, Ефим связным нашим был».

— Знаю, Леонтий Киреевич, все знаю, — сказал тогда Савелий. — Только не надо спешить. — Василия дождись.

— Передай!..

Передал Савелий Ефиму просьбу Леонтия. Ефим сразу — в лодку да к нему, к Кечику. Приплыл, лодку вытянул из воды, вышел к улице, а навстречу Галя с сумкой идет. Поздоровалась да прибавила шагу. И когда привозила почту в Гуду, Ефима избегала. Неспроста, думал Ефим, но прочь отгонял эту мысль: не так уж и близко знакомы, он старик, она молодая женщина, о чем говорить. Окликнул:

— Галь, что ты все избегаешь меня?

— Не избегаю, тороплюсь, дядя Ефим. Всю деревню оббежать надо, а у меня детишки, муж еще от ран не оклемался, хозяйство на мне.

— Ну, тогда поспешай!..

Нехорошо как-то стало внутри, кольнуло в сердце. Постоял с минуту, глядя, как удаляется Галя, да направился к Кечику: дом его рядом, у реки.

Тот встретил Ефима, лежа в постели, попытался улыбнуться, сказал, словно оправдываясь:

— Видишь, Ефим Михайлович, скрутило меня, извиняй, что лежа тебя приветствую.

— Ничего, Леонтий Киреевич, случается. Как скрутило, так и открутит.

Нагнулся к нему, обнялись. Не очень щедрые на слова, молча поняли друг друга: как там сыновья наши...

Долго говорили тогда Ефим и Леонтий. Дочка его, Верка, вместе с отцом была в партизанском отряде. После войны уехала учиться в Москву на поэта. Стихи сочиняла. До войны их даже в газете печатали. Говорил Леонтий Киреевич, Верка куда только можно писала, брата искала. Определенного ответа не получила. Но надежды не теряла, и отец не терял (жена его во время войны умерла).

— И мой живой, и твои живые, Ефим Михайлович. Умру, так ты и моего сына дождись, — говорил Леонтий. — Придет мой Василий, не застанет меня, поговори с ним. Скажи, что отец ждал. Расскажи ему, как у нас здесь в войну было. Пусть знает, что и мы не сидели сложа руки, как могли немца били. Да скажи, что ты помогал мне, что мы не взяли тебя к себе в лес потому, что нам свои люди в деревнях были нужны.

— Вместе дождемся и моих, и твоего, — отвечал Ефим.

Говорил и понимал, что прощается с ним старый друг. Неожиданно Леонтий спросил об Иосифе: когда-то не сторонились друг друга.

— О Кучинском слышно что или нет?

— Нет, как в воду канул.

— Явится — прочь не гони. Досталось ему. Мы следили за ним, по лесу ходил, как сын в гарнизон подался. Не иначе, как связи с нами Иосиф искал. Побоялись, мало ли что. А сейчас думаю — зря. Тяжело ему было одному. Человек он неплохой, ты не хуже меня это знаешь, дружили когда-то вы.

— Знать-то знаю, но каково...

Не ответил ему Леонтий Киреевич, наверное, подумал, что Ефим сам для себя должен решить, как с Иосифом быть, если тот вернется.

А уже после того, как Кечика похоронили, Ефим, направляясь к своей лодке, вновь встретил почтальонку. Только начал спускаться с улицы к реке по тропинке среди ивняка — Галя перед ним. И откуда только взялась? Не успел поздороваться, опешил: упала перед на колени, взметнула над головой руки, запричитала:

— А мой ты дяденька! Ародненький! Нет мне покоя. Грех ношу. Савелию бумагу на твоих сыновей отдала. Никому не говори, еще посадят меня. А у меня же дети, трое, и Фока инвалид. И Савелию попадет, да еще как, он же милиционер.

— Но-но, — спохватился Ефим и склонился над ней. — Встань, дочка. Успокойся. Не надо, чтобы кто чужой это видел и слышал. Поймет, в чем дело, еще донесет куда. И ты молчи. Я сыновей жду. А бумага — ошибка.

Говорил вроде спокойно, а в груди — огонь.

Поднялась женщина, схватила за руку Ефима, хотела поцеловать ее, выдернул, обнял Галину за плечи, прижал к груди, как родную.

— Галинка, дочка, ты же не со зла. Хотела, чтобы мне легче было. И мне было легче, и сейчас легко: я же их жду. А как же? Вон и Фока твой пришел. А бумага...

Махнул рукой, повел женщину к реке. У лодки остановились, подождал, пока она успокоится, пока высохнут ее слезы, опять попробовал успокоить:

— Говорю тебе, Галинка, не бойся. Даже если бы кто и раньше допрашивал меня, клещами слова не вытянул бы. А теперь иди к семье, небось, ребятишки мамку ждут, и муж в окошко глаза проглядел.

Пошла. Смотрел Ефим ей вслед и думал: как же она страдала, пока не призналась ему. Ужасно, когда кто-то хочет кому добра, а потом сам страдает…

А через несколько дней в Гуду приплыл Савелий. Пристал к пригорку. Ефим лодку Иосифа осматривал — вынесли ее из сарая мужчины. Поздоровался, топчется рядом, порывается что-то сказать, но не решается.

— Савелий, давно вижу, ты со мной словно сам не свой.

— Почему, Ефим Михайлович?

— Наверное, бумага на Ваню и Никодима тебе карман прожигает.

Смутился Савелий, заморгал, вздохнул.

— Брось, — продолжал Ефим, — знаю. И не виню тебя. Правильно ты сделал. Пусть она у тебя и будет, бумага эта. Придут парни, вдруг к тому времени умру, тогда им отдашь ее. Скажешь, отец ждал.

Отвернулся от старика бывший воин Савелий Космaнович, долго молчал. Молчал и Ефим. Наконец не выдержал Савелий, подошел к старику, обнял:

— Прости, отец. Хотелось как лучше... А что бумага?! Живые они.

Ефим осторожно высвободился из его объятий:

— Вот что скажу тебе, дорогой ты мой Савелий Аркадьевич. Очень дорога мне твоя вера. Без нее я, может быть, давно б уже крылья опустил. Иногда кажется, что падаю, нет больше мочи терпеть, а ты не даешь, верой своей подымаешь. И не только ты, мужчины верят, что вернутся мои сыновья. И Катя с Надей верят.

— Говорил же, след их есть!— воскликнул Савелий. — Почти уверен, что Ваня, Никодим и Василий, сын Леонтия Киреевича, однажды ночевали на Страже. Говорила мне хозяйка, что в начале войны трое солдатиков, выходя из окружения, у нее были. Старуха и сейчас там живет. Я заезжаю к ней, когда в район еду или из района, проведываю, одна живет она. Трое ее сыновей в городе, и две дочки там, не часто к матери приезжают. Работой заняты, но мать к себе зовут. Не хочет ехать, говорит, человек мой здесь похоронен, куда я.

Так вот, зайду к ней, посидим, поговорим. Сказывала, похоже, что те парни из наших мест были. Слышала, говорили, родители их где-то недалеко от Стражи живут. Переночевали, собрала она им то-се, и пошли они на фронт.

Как она их описывает, думаю, двое — это Иван и Никодим. Темноволосые, как ты. Говорила, эти двое признались, что братья. А третий их товарищ. Имен парней не помнит. Кажется, одного называли Василием. Хотя точно сказать не может, за войну у нее много людей перебывало, много имен слышала, память уже не та, путается. А Василия запомнила: нос, говорит, пипкой. Он это, дядя Ефим, он. Я же помню, у Василия был перебитый нос. Сестричка Верка перебила заслонкой от печи. Малые были, играли, она заслонкой той почему-то крутила над головой, а он и подлез.

— Да, точно, у Василия нос пипкой.

— Вот только не понимаю, почему парни не пришли домой, если так близко были.

— А я тебе скажу почему: не могли Иван и Никодим меня ослушаться, Савельюшка, — сказал тогда Ефим. — Я запретил, когда провожал их на фронт, говорил, что без победы дороги домой нет. А третий, если это Василий был, один не мог прийти: что отцу сказал бы? Говоришь, из окружения выходили. Могло быть. Хотя что-то не очень сходится, их же везли в поезде на какие-то то ли сборы, то ли на учебу. Не на фронт, от фронта, так?

— Могли и не довезти. Всякое на войне случалось. Так что будем и ждать, и искать.

— Будем. Только дай мне, Савелий, на день-два бумагу. Я в район съезжу, в военкомат схожу или еще куда надо. Скажу, чтобы не вздумали пенсию, если она мне положена, за сыновей насчитывать. Живые парни, живые.

Дал тогда ему Савка бумагу. Ефим даже не развернул ее, дрожащими руками положил в карман. В район он съездил. Оказалось, не один он такой: какая-то старуха отказалась от пенсии за погибшего сына, и даже не объяснила почему.

Не спрашивал военком у Ефима, почему и он так сделал. Сказал, если отец так решил, надо написать бумагу, что от пенсии отказывается. Признался Ефим, что букв не знает. За него написали. Расписаться попросили — признался, что не умеет. Раньше вместо росписи крестик ставил. Теперь так нельзя, как это — поставить крест на сыновей... Тогда какая-то девушка взяла ручку, обмакнула перо в чернильницу, затем, зажав тонкое древко в неуклюжей руке Ефима и положив на нее свою, вывела, вернее, вместе вывели несколько букв. Прочитала: «Боровец».

Седой подполковник молча взял Ефима под руку, провел к легковушке на дворе, приказал шоферу, молодому солдатику: «Доставить отца воинов к дому и доложить!» А на прощание пожал руку: «Крепись, отец, и жди».

Вспоминая это, Ефим еще не решил, будут ли останавливаться напротив Стражи. По его расчетам, завтра, может, немного раньше полудня, они с Валиком будут проплывать километрах в пяти от нее…

9

…Текля умерла неожиданно. На его глазах. На новом крыльце, которое он, разбросав сгнившее старое, сладил из Антоновых досок.

Не сразу сделал, после того как привез сюда Теклю, долго не брался за работу. Объяснял:

— Погоди, дай собраться, сделаю. Не крыльцо будет — картинка. Придет Антон — залюбуется. Скажу: вот крыльцо тебе, хозяин.

— Вряд ли придет, — сказала тогда Текля. — Такому старику, как теперь он, убежать тяжело. А если бы и убежал, где будут искать? Там, откуда забрали. Они это знают, слышала. Человека, как и птицу, где бы ни был, к своему гнезду тянет. Душа чувствует, где его корень.

Иосиф не отвечал, с этим не поспоришь, его тоже в Гуду тянет. Там пуповина его, и больше ничего. Дома нет. Может быть, и сирени нет: выкорчевали. И лодку его, может быть, давно сожгли, за это время она, конечно же, рассохлась.

Нет там ничего, что связывало бы Иосифа с деревней, а все равно хочется пройтись по некогда своей земле, в реке умыться, там она в лугах светлая, а здесь в лесу — темная. Особенно сейчас хочется пройтись по Гуде, когда Теклюшка с ним. Но путь им туда заказан…

Почему-то долго медлил с крыльцом, за инструмент взялся только в пору первого бабьего лета, в осеннюю теплынь...

Чудесная пора стояла над землей. Лес был охвачен колышущимся красно-желтым пламенем. На гряде у родника ярко полыхала листва осин и кленов. Тяжелыми красными гроздьями были усыпаны кусты калины там, где гряда спускалась к болоту. Таинственно светились желтые кроны двух берез, стоявших напротив крыльца недалеко от дома.

Чисто и светло было вокруг. А иногда, когда из-за гряды леса между хутором и болотом выбегал шаловливый ветерок, путаясь в высокой желтой траве, в воздухе плыла прозрачная паутина. Конечно же, Иосиф знал, что его бывшие односельчане давно уже сметали на сухом стога второго укоса в Демковских болотах, где обычно косили. И рожь давным-давно сжата, обмолочена, засыпана в закрома. И картошка выбрана, теперь можно и немного отдохнуть. А выпадет снег — направятся в лес по дрова…

Интересно, как сейчас они там, в Гуде? Отстроилась ли деревня? Возродилась ли? Кто вернулся, а кто — нет? Что с Надиным Игнатием, с сыновьями Ефима? А с Ефимом что, как он там? Держат ли еще руки топор, рубанок, фуганок? Наверное, держат, сила у Ефима еще должна быть. Отдыхать ему, пожалуй, некогда, люди повсюду строятся, и его уменье ставить дома в этом деле нелишнее.

А что на месте его дома?.. Сгорел же в ту ночь, когда он, Иосиф, оставил деревню… А когда из нее уходила вода, конечно же, унесла пепел, головешки, вот только от дома, наверное, остался фундамент, он из камня, да два-три венца, которые в воде были…

Иосиф в мыслях часто навещал Гуду. Но не мог вообразить, какая она сейчас. Прежде всего представлялась или довоенная, хоть и небольшая, но людная, одной улицей, наполненная детскими голосами, скрипом колодезных журавлей, мычанием коров, ржанием лошадей, криком петухов, стуком топоров...

Вспоминал и ту, которую увидел после того, как ее сожгли немцы… Тогда ужас охватывал его: закрывал лицо руками — еле сдерживался, чтобы не закричать в бессилии что-нибудь исправить…

Как было в войну в Гуде и в окрестных деревнях, подробно рассказывать Теклюшке не хотел. Она такого ужаса не видела. Зачем ей знать об этом? Потом, потом, будет еще время. Только и сказал: «Не дай бог слышать и видеть».

Знал, что она по-своему представляла войну, так как не видела ее: рассказы людей — это одно, а свои глаза — совсем другое. Думал, что высылка высылкой, но от ада, который пережили их земляки, а может быть, и от гибели, она и спасла Теклюшку. Говоря о войне, в подробности не вдавался, дескать, всем было нелегко.

Уже потом, когда начал ладить крыльцо, а Текля принялась помогать ему, говорил:

— И моя Гуда, и твоя деревня, пожалуй, уже давно отстроились. И мы с тобой могли бы там что-нибудь делать в своем доме. Да и людям помогали бы, пойди наша жизнь как надо. А так…

Текля не отвечала, понимала, что он очень скучает по деревне, по земле, да и по своей плотницкой работе, переживает, что не с людьми. Но что поделаешь, если у них сейчас нет иного выхода, как жить здесь…

И она грустила по деревне, по крестьянской работе. Женщине-крестьянке без нее тяжело, а такой осенней порой — особенно: год, должно быть, урожайный, ведь весна и лето были теплые, с хорошими, в меру, дождями.

— Смотри, как светятся березы, — говорила она ему, пытаясь хоть как-то развеять его мысли о деревне, о своем доме, которого у них нет.

Иосиф опускал топор, смотрел вокруг на всю эту осеннюю красоту, останавливая взор на двух березках, которые были недалеко от крыльца, и думал о том, что природа, если хорошо к ней присмотреться, всегда подает человеку какие-то свои знаки, только надо уметь их разгадать. Как эти две стоящие

рядом высокие, обсыпанные осенним золотом березы. Они, словно люди, встретившиеся однажды и не расстававшиеся, несмотря ни на какие дожди, снега, морозы, бури и суховеи. Их можно разлучить только уничтожив одну или сразу две, а так будут стоять столько, сколько отпущено им природой.

Может быть, и у деревьев, как и у людей, есть он и она. Кто знает… Откуда они здесь? Самосейки? Хотя, может быть, и нет: когда-то эти березы мог посадить Антон, как знак того, что они здесь вдвоем с женой.

А могло быть и так: придя сюда вместе с любимой, раскорчевывая место под усадьбу, среди бурелома заметил Антон два слабеньких побега. Озарила его душу их красота, восхитило желание жить, и он осторожно огрубевшими от работы руками погладил их, окликнул жену, показал ей: «Смотри…» А потом она сказала, а может, и вместе: «Растите…»

Кто знает, как было, но выросли две березки. Наверное, они и Иосифу с Теклюшкой какой-то знак подают.

Много было знаков в его жизни. Перед тем как ему встретиться с Теклей, был сон-знак — видел Иосиф Архипа на большой воде, вода его и забрала. Не умея плавать, бросился он в реку спасать девчат, лодку с которыми перевернули парни-шутники, и… В том же сне птицу видел, над водой летела. Вместо крыльев у птицы были руки — прилетела к нему Теклюшка... И два креста на двух окнах чужого дома — знак… Кресты над их судьбами, которые наяву сорвал Иосиф?.. Вот только странно, кресты эти не иначе как хозяин хутора приколачивал, а он никакого отношения к Иосифу и Теклюшке не имел. Хотя как посмотреть. Можно и так: и у Антона с женой кресты судьбы тяжкие, и у него с Теклей. И эти две березы не иначе как какие-то знаки…

Крыльцо Текле нравилось. Впрочем, как и все на хуторе и вокруг него. Небольшое, в три ступеньки, но широкое и длинное — большая семья разместится, чтобы посидеть на нем после дневных забот. Сидели теплыми вечерами на нем и Иосиф с Теклюшкой. Чаще всего придя из леса с ягодами или грибами. Садились на крыльцо, поставив возле себя корзинки, перебирали чернику или голубику, бруснику, грибы.

— Как дома, — говорила она. — Когда еще девчонкой была, приду из леса, принесу что, на крыльце и перебираю.

— Вот как, — улыбался он. — И я тоже на крыльце перебирал.

— А сейчас мы вместе перебираем, — улыбалась она.

Печь обычно протапливали ночью, чтобы из реки не было видно дыма, если вдруг кто будет плыть по ней. Ночью варили грибы, затем складывали в кадушку: Иосиф давно их сделал да корзинки сплел.

С крыльца всегда была видна одна и та же картина: гряда смешанного, векового, нетронутого человеком леса и две березы напротив дома. Лес менялся только цветом в зависимости от поры года. Зеленый, желто-зеленый, красно-желтый, белый, но всегда светлый ясным днем. А когда пасмурно, дождливо — серый, пожухлый…

Текля постепенно сживалась с хутором. Иосиф понимал, что ей, как женщине, как хозяйке, без своего дома никак нельзя. Понимал, как ей хочется иметь свое жилье. Иногда, когда сидели вдвоем на крыльце, говорила:

— Вот, Осипка, считай, жизнь прожила, а все без своего угла. И дом большой был у Авдея, а мне — не свой. И в Сибири дом был, через год он его поставил, а тоже постылый мне. А вот здесь, в чужой хате, с первых дней ощущаю себя как в своей, потому что сейчас я с тобой. И как же мне хорошо, когда вдруг обнимешь: кажется, большего счастья и не надо. Тогда я ничего и никого не боюсь, все мои страхи исчезают.

Иосиф говорил, что бояться нечего, сюда никому постороннему не добраться. Никто, кроме него, Ефима, и конечно, хозяина хутора Антона, пути сюда не знает. Когда-то знали те, кто выселял Антона и его семью. Наверное, прежде чем добраться сюда, проследили, как он ходит через болото, только кто знает, где сейчас те люди. Ко всему, Иосиф Антоновы плахи перебросил в топи на новое место, припрятал так, что смогут догадаться только Антон и Ефим. Они сообразительные, жизнь их многому научила, как ни маскируй, а подойдя к болоту, присмотревшись, определят, что здесь кто-то ходит, поймут, где начинаются плахи. А для посторонних места эти гиблые.

Текля, слушая его, успокаивалась, а может быть, и не подавала виду, не хотела, чтобы он волновался. Иосиф сам иногда не был уверен: как ни укрывайся — всякое может случиться. Поэтому, когда ходил проверять в заводи верши, долго не задерживался. И ступал он по земле осторожно, внимательно прислушиваясь, не слышно ли постороннего звука, да присматриваясь, нет ли где человеческого следа. А ягоды, грибы, орехи они всегда собирали вместе.

Как-то Текля спросила, приходит ли к усадьбе зверь: глухомань, пожалуй, и волки здесь есть. Ответил, что в лесу зверь есть: кабаны, волки, косули, но сюда им хода нет, потому что время от времени он вокруг хутора сыплет порох, зверь слышит запах и уходит. Откуда порох? Этого добра возле шоссе хватает. Там когда-то шли тяжелые бои, еще можно наковырять патронов. А вообще-то, порохом он давно запасся, как говорят, пусть не пригодится.

А вот оружия у него нет. Оружие там также можно найти, только зачем оно ему? Человек с оружием уже другой человек.

Случалась, иногда в стороне от хутора, над рекой пролетал самолет. Из-за гряды леса его не было видно, но слышался шум мотора. Тогда они прятались в дом, в кошару, в кусты или под деревья — смотря где в это время были.

Иосиф понимал, рано или поздно власти станет известно, что на хуторе кто-то живет: лесники доберутся сюда или еще кто. И тогда им с Теклюшкой придется худо.

За себя он не боялся: что они ему сделают? Будут пытать, допрашивать: «Кто такой?» Пусть. Он любые пытки выдержит. Только бы ее не трогали. Понимал, что тогда Теклю ему не защитить: арестуют, поведут. Да она и сама сопротивляться не будет, смиренно пойдет, и винтовку наставлять на нее не надо.

Иосиф часто думал о том, что надо было бы поискать еще более недоступное, чем Кошара, место. Но сейчас вряд ли такое найдешь: люди строятся, леса надо много и городу, и деревне, вот и углубляются лесорубы все дальше и дальше в чащи. Так что вскоре могут добраться и сюда.

Чем дольше жили здесь, тем чаще задумывался над тем, что будет с Теклей, когда его не станет. Умрет он тут — еще ничего. Погорюет она, поплачет, может быть, сможет кое-как похоронить. Хорошо бы под березами… А если и у крыльца (она его к ним вряд ли сможет затянуть), тоже неплохо. Главное, земле придать, а то раньше он думал, мол, почувствую, что уходить время, в домовину лягу и… А потом, похоронив, она непременно должна пойти в Гуду, ей одной здесь не выжить. Берегом пойдет, река в деревню приведет, не заплутает.

А если он упадет где-нибудь в лесу или на реке?..

Тогда Теклюшка, не дождавшись его, станет искать. Начнет звать, выдаст себя рыбакам или кому другому, кто будет проплывать по реке. Конечно, люди бросятся к ней: «Что случилось?» А потом, когда узнают, сообщат в милицию: пропал человек. А милиция к ней: «Кто?.. »

Иногда, будто между прочим, Иосиф говорил ей, что было бы неплохо иметь собаку. Втайне он рассчитывал, что Текле, когда его не станет, будет смелей идти с собакой в Гуду: здесь ей оставаться ни в коем случае нельзя!

— Нет, нет, нет, — испуганно говорила она. — Зачем? Ты без собаки столько лет жил, и ничего. Зачем брать грех на душу? Собака быстро привыкает к хозяину, и если, не дай бог, человек пропадет, так пес ждет его, пока не околеет. Как же он тоскует. Нет, нет, нет...

Конечно, собаку он мог бы взять давно. Даже подумывал об этом, плавая в город к Архипу. Тот нашел бы ему щенка. С собакой было бы смелее. Только и другое могло быть: лай на заброшенном хуторе подсказал бы людям, время от времени плавающим по реке, что за болотом кто-то живет, значит, не такое оно и гиблое. А во-вторых, и такая мысль появлялась у него: «Если что, так как он без меня?..»

Теперь, когда остался один на земле, когда односельчане, наверное, даже имя его давно забыли, Иосиф подумал: пусть бы была у него собака, пусть бы лаяла. Одному без Теклии невозможно жить. Тяжело возвращаться на хутор, зная, что там никто тебя не ждет.

Сегодня он еле добрался сюда от шоссе. Изнемог. Вот лежит на земле, исстрадавшись и душой, и телом, и как ни пытается подняться — не может. Будто прикованный... Хотя нет, не прикованный, а словно придавленный тяжестью всех тех тропинок и дорог, которые прошел за свою долгую и такую горестную жизнь... И как же гнетет эта тяжесть, если вся сразу на душу и тело... И — люди на тех тропинках и дорогах, знакомые и незнакомые, свои и чужие, перед которыми в чем-то виноват и перед которыми нет его вины.

Казалось бы, с такой тяжестью и с такой болью в душе вообще невозможно жить, а он все же как-то жил и живет. И даже свыкся со всем свалившимся на него с того самого раннего детства, когда осознал себя. С того времени невзгоды и беды окружают его. Правда, случались и светлые времена, хотя и короткие…

Сначала — раннее сиротство. Тяжелое время, когда осознаешь, что у всех детишек есть мама, а у тебя — нет. Как так? Почему? И хуже нет ничего на свете. Осознание этого и сейчас бередит душу: был не такой, как все мальчишки и девчонки. Видел, как хорошо тем, у кого есть мама. Она приголубит, утешит, если кто-то обидит на улице, — так всегда было с соседским Сашкой, таким же маленьким, как и Осипка, — и сразу же высохнут слезы, забудутся обиды — опять побежит по улице веселый и радостный.

Он много раз видел, как мама утешала Сашку, завидовал ему, представлял себя на его месте. Представлял, как тепло и хорошо, когда мама обнимает и целует. И понимал — как ни представляй, а не быть тебе на месте Сашки, и забившись куда подальше от людских глаз, плакал в одиночестве, никак не понимая, почему у него нет мамки, — у всех есть, а у него нет...

Однажды папа привез откуда-то на телеге (Иосиф и сейчас, вспоминая это, слышит сухой грохот колес по подмерзшей улице) чужую тетю с тремя детьми, еще меньшими, чем он, — двумя мальчиками и девочкой. Осипка тогда, стоя на крыльце их старенькой покосившейся хатки, сжался от ужаса и, еще не видя вблизи черт лица той женщины и ее детей, будто окаменел. Ему хотелось броситься прочь, убежать подальше отсюда, а потом провалиться сквозь землю, исчезнуть, чтобы никто никогда и нигде не нашел его, и в одиночестве тихо плакать: всегда, когда выплачешься, легче.

Но не побежал, что-то сдержало его. А потом Осипке захотелось узнать, что будет дальше, ведь папка еще раньше говорил, что поедет за мамкой. Говорил это и вчера утром, запрягая лошадь.

Так Осипке сказала и соседка бабка Авгинка, к ней его отвел папа, велев слушаться во всем. А еще отец сказал, что у него, Осипки, будут братики и сестричка.

Осипка похолодел, услышав это, внутри у него все сжалось от ужаса, он знал, что папа привезет не свою, а чужую мамку. И братики, и сестричка тоже будут чужие: его мамка лежит на кладбище за деревней, там, где бор, — папка показал ему серый бугорок, на котором был небольшой почерневший крест с белым полотенцем на нем.

Весной, на Радуницу папка водил его туда — там было много бугорков с крестами и много людей…

Правду говорят, что в старости люди хорошо помнят то, что было с ними в детстве, при этом не всегда помня, что было совсем недавно. Так и Иосиф детство свое не то что помнил, а не забывал: сначала горькое-горькое, потом, когда у него появилась мама-мачеха, совсем иное…

Тогда на кладбище отец дал ему полотенце, поднял и сказал, чтобы повесил его мамке на крест.

Тогда Осипка не плакал, но никак не мог понять, почему его мамка здесь. И совсем не понимал, почему она одновременно и под бугорком, и на небе. Думал, что под бугорком ей тяжело и она не видит его, а вот с неба смотрит на своего сыночка, хочет уберечь от обид, но не может: очень далеко он...

Матери своей Осипка не помнил, она умерла, когда он был совсем маленьким, но она всегда была нужна ему. И вот мама, не своя, чужая, слезает с телеги и идет к нему. Тем временем отец поочередно снимает с телеги каких-то мальчиков и девочку, осторожно ставит их на землю, затем направляется к крыльцу, возле которого стоит испуганный Осипка, не зная, что ему делать…

Сейчас Иосифу казалось, что он помнит все это как ничто другое из пережитого за всю жизнь. Помнит низкое, с тяжелыми серыми тучами, небо... Помнит щербатый частокол двора, крышу над крыльцом, соседские хатки… Ему казалось, что небо все ниже и ниже опускается на землю, чтобы накрыть его, такого маленького и беззащитного. И ему уже никуда не убежать... Но где же его мама? Она — на небе. Она должна спасти его!.. Ему хотелось кричать, бежать куда глаза глядят, чтобы выскользнуть из-под этого тяжелого полога, но через мгновение между ним и небом стала эта женщина. Постояла, улыбнулась. Светло-светло... Темный полог затрепетал, отодвинулся от земли, взлетел ввысь, растаял, а женщина опустилась на колени, обняла Осипку, сжавшегося в комочек, осторожно прижала к себе, стала целовать в щечки, в головку, в худенькую шейку, в зажмуренные глазки и прошептала: «А мой ты сыночек… А мой ты Осипка. Не бойся, я мамка твоя. Я никогда-никогда тебя не обижу и никому не позволю тебя обижать». Затем, уже крепче прижав к груди, поднялась с колен, держа его на руках.

В то же мгновение тяжелое темное небо поднялось, отодвинулось за частокол, за соседские хаты, взлетело высоко-высоко, и он ощутил, что уже ничто не угрожает ему. В груди сразу же стало тепло, и он беззвучно заплакал от этого неизвестного ему доселе тепла, которого ждал столько, сколько себя помнил, прошептал: «Мама».

Отец, наблюдая за ними, подошел, остановился рядом, и как сейчас помнится, облегченно вздохнул.

Лицо мамы-мачехи Осипка рассмотрел потом, когда к ним подбежали совсем маленькие два мальчика и девчонка и, дергая ее за полы юбки, стали звать: «Мама... мама!»

Он вновь испугался, вновь сжался, ему показалось, что они отбирают у него маму, со страхом глянул ей в лицо, увидел добрые глаза, и ему опять стало хорошо. А мама, держа его на руках, снова опустилась на колени и, не отпуская от себя, обняла всех четырех — словно соединяла в одно целое.

— Ну вот и ладно, — сказал тогда отец.

И в то же мгновение Осипка почувствовал — мальчики и девчонка не чужие ему, и все то болезненное и обидное, что всегда шло рядом с ним, западая в чувствительную детскую душу, мгновенно исчезло, словно его и не было. Осипка поверил, что это его мама. Он даже не подумал о том, как она могла подняться из-под тяжелого серого бугорка на кладбище или спуститься с неба, откуда наблюдала за ним, стараясь, как говорил папка, отводить от него все беды.

И эта мама-мачеха отводила от него беды и горести, пока не умерла, оставив сиротами и своих детей, и Осипку. (Потом родственники мамы-мачехи забрали к себе, увезли куда-то его сводных братьев и сестру, и связь с ними утратилась.) Отводила, как могла бы отвести родная: когда вырос, понял, что мачеха для него действительно была мамой… (А кто еще, если не мама, способен голыми руками схватить змею, поднимающуюся из-под ножки ребенка, не думая о том, что яд, предназначенный ему, достанется ей?.. Случилось такое на сенокосе, где маленький Осип был вместе с папой и мачехой-мамой, которая и спасла его от гибели.)

Вспомнил все это обессилевший Иосиф, лежа возле крыльца чужого дома, который на долгие годы одиночества стал ему пристанищем, а потом и Теклюшке, — и вдруг ощутил какой-то внутренний толчок, ощутил, как тело постепенно наполняется силой. А через мгновение почувствовал, что из души уходит тот неземной, леденящий холод, который, пока Иосиф лежал на земле, сковывал ее. Медленно, но уходит, а вместо него в душу вливается полузабытое человеческое тепло, такое нужное и такое недоступное ему после того, как не стало Теклюшки, самого родного и близкого человека на земле.

Все это пробуждало уверенность в том, что его жизнь по каким-то высшим неподвластным ему законам не может вот так просто закончиться: лег и умер. Она не может закончиться, не коснувшись жизней некогда близких ему людей. Он должен открыть им свою боль. Он должен поведать о страданиях, пережитых им после того, как ушел от них, о тех кратковременных радостях, которыми одарила его Теклюшка, а также сказать им, что нет у него на односельчан зла, да и никогда не было. А если что и было, так только обида, а зло и обида — понятия разные.

Он должен все это сказать не для того, чтобы односельчане пожалели его, а чтобы никто из них не считал себя виноватым в том, что произошло между ними. Он чувствовал, что Ефим считает себя виноватым в его исчезновении, что женщины переживают из-за него, Иосифа (Катя признала, увидев на базаре, знают, что жив), да и дети, повзрослев, его не забыли…

Тепло человеческой доброты наполняло его душу — такое необходимое ему и полузабытое, и казалось бы, утраченное навсегда. Но случилось так, что позавчера в городе оно неожиданно вспыхнуло, когда встретил женщину, хозяйку дома, возле которого сел отдохнуть на лавочку: эта женщина чем-то напомнила ему его мачеху-мать.

Оказывается, это тепло не стирается ни временем, ни невзгодами. Его ничем не погасить, оно есть, где-то живет, и если тебе хочется, чтобы возвратилось, однажды обязательно возвратится...

Позавчера, проследив за Катей с сыночком и за Надей с дочерью (они спокойно покинули город, затем миновали мост, а значит, к вечеру добрались

домой), убедившись, что им ничто не угрожает, Иосиф присел на лавочку у последнего дома на окраине райцентра, чтобы отдохнуть. Там к нему и вышла хозяйка дома, наверное, приняв его за бродягу, пригласила поужинать и переночевать.

Мачеха-мать и эта женщина были чем-то похожи. Хотя мало ли на свете женщин, в сердцах которых, несмотря ни на какие невзгоды, сохраняются теплые отношения к людям. Женщин, излучающих тепло и доброту.

Вот и Катя такая же, со своей внутренней добротой, с каким-то своим светом.

Иосиф помнит, никогда не забудет, как зимой в первый послевоенный год Валик, сынишка Нади и Игнатия Соперских, бросал в него лед с таким выражением на лице, словно расстреливал заклятого врага. Тогда Иосифу не за себя было страшно, а за мальчика: если так, то каким он человеком вырастет...

Помнит, как Катя, увидев Валика, готовящегося ко второму броску в Иосифа, перехватила детскую ручонку, а потом что-то долго говорила несмышленышу, защищая Иосифа.

Какая-то особенная просветленность тронула тогда его, старого, одинокого человека, от которого отвернулись люди. Помнит Катину доброту, помнит.

А какое тепло коснулось его тогда на базаре, когда стоял с протянутой рукой на том месте, где Теклюшка просила подаяние, когда Катя узнала его и закричала: «Дядя Иосиф! Это ты, ты!..»

Кажется, тогда он мог бы захлебнуться от радости: узнала, называет, как близкого ей человека, которого помнит спустя столько лет. Значит, думала о нем: «Где же он, живой ли...» И, наверное, жалела его: окликнула, не боясь обознаться, с уверенностью: «Ты, ты!..»

Как сейчас дорого ему это ее душевное тепло! Помнит Катя его, помнит... Может быть, и сынишке скажет: «Это дедушка Иосиф, наш дедушка, из нашей деревни».

Иосиф, приняв сердцем ее тепло, наполнившее его душу, не мог признаться: «Я, Катя, я». Боялся за нее и ее сыночка. И эта боязнь словно вдохнула в него жизнь. Он почувствовал себя человеком, на которого ложится ответственность за нее и мальчика, понял, что может и должен их защитить, если им будет угрожать хоть какая опасность. А это чувство, что и ты человек, возвышает, очищает от той жизненной грязи, в которой оказался волей судьбы. А коли так, значит, не очерствел, не озверел, отвергнутый людьми и долго живя в одиночестве. И тогда обида на односельчан, конечно же, на мужчин (Катя, Надя и дети ни при чем), за то, что не нашлось ему места среди них ни во время войны, ни после, когда взорвалась дамба, обида, так долго выжигавшая его душу, постепенно начала утихать: а почему же ты не стремился их понять?.. Тебе горе, а им, может, горе вдвойне...

Прозвучало это сейчас спокойным Теклюшкиным голосом, и он стал его внутренним голосом. Ее мысли стали его мыслями. Понимал, что сам без нее до такого осмысления не дошел бы. Не дошел, если бы не увидел Катю и Надю и ту женщину, которая вчера напомнила ему его мачеху-мать.

Текля, Теклюшка... Страдалица из страдалиц. Сколько и как только ее не обижали люди!.. Но ведь ни на кого не озлобилась. Она всем прощала. И прощала ему, Иосифу, из-за которого и разрушилась ее и его жизнь...

Он опять попытался встать. Резко оттолкнуться от земли. В ладони впились камешки, Иосиф вдруг почувствовал такую силу, какой не помнил в себе с юности, стал на ноги и, пошатываясь, не спеша, будто привыкая ходить, направился к крыльцу. И чем ближе оно было, тем уверенней становился его

шаг. Подойдя к крыльцу, опустился на него и долго смотрел на лес, окружающий хутор.

Весной, когда сойдет снег, когда все вокруг зазеленеет, прогреется под ярким солнцем, летом и осенью, пока не пойдут дожди, любили они с Теклей посидеть на новом крыльце. Наблюдали за окрестностью, слушали, как под легким ветром задумчиво шумят деревья, как вокруг беззаботно поют птицы. Вспоминали молодые годы, когда к ним пришло огромное чувство любви. Говорили о том, как могла сложиться их совместная жизнь, если бы по судьбам не прошлось все то ужасное, что разлучило на долгие годы…

А было бы у них все как у людей. Были бы дети, внуки, и может быть, даже правнуки... Тогда и умирать можно было бы спокойно.

И когда говорили об этом, представляли, как могло быть, словно проживали несбывшуюся свою совместную жизнь, в которой любовь друг к другу открылась бы сполна, в которой если бы и была горечь, то обыкновенная, как во всех семьях, где царят любовь и уважение. Но проживали ее мгновенно, не успев насладиться жизнью. А так...

— Не печалься, Осипка, — тихо произнесла она. — Зря говорят, что в одну реку нельзя войти дважды. А мы вошли, пусть через много лет, но вошли. Любила я тебя и сейчас люблю. И хватит мне дней, прожитых рядом с тобой, чтобы сказать себе: и я знаю, что такое счастье. Как ни скупа была и твоя, и моя судьба, а напоследок расщедрилась.

— Оно, может, и так, Теклюшка, — возражал он. — Но знать бы, что там (показывал рукой в небо) мы будем вместе, а больше ничего и не надо. Говоришь, знаешь, что такое счастье. И я знаю, ты мне его подарила. Вот только все равно мало нам того, что было с нами здесь, и горько, и больно, что утраченного не вернуть. А иной жизни у нас с тобой уже не будет. И есть ли жизнь там — неизвестно, ведь оттуда еще никто не возвратился...

— Осипка, а ты благодари судьбу за то, что здесь между нами было. Ведь могло и не быть, могло случиться так, что разминулись бы наши пути. Вот что было бы страшно...

— Да... — соглашался он с ней.

Иосиф сидел на крыльце. Словно через туман смотрел окрест. Справа и слева видел желтовато-серую, неровную сверху, широкую полоску — осенний лес, опоясывающий хутор, а впереди, прямо перед ним, — две желтые березы и желтый бугорок, еще не затянутый травой.

Как-то в первый год, когда пришел сюда, немного освоившись, выйдя из сеней такою же порой, Иосиф увидел лес желто-зеленый, а на его фоне две чуть наклоненные желтые-желтые березы, а под ними — пожухлая, высокая, в пояс трава. Какая печальная картина...

От этой печали природы защемило сердце: она увядает, потом обновляется. Человеку такое не дано.

Тогда вспомнилось, как неоднажды, когда еще жил в Гуде в своем доме, выходя на крыльцо, наталкиваясь взором на землянки односельчан, которые считали его заклятым врагом, думал: «Может быть, сойти куда подальше, забраться в какую-нибудь глухомань, сделать там землянку и жить сколько отпущено, никому не досаждая. А когда почувствую, что приближается мой последний час на земле, лягу под деревьями лицом к небу и буду ждать...»

И эти березы показались ему теми деревьями, под которыми он и умрет, когда придет срок.

Теперь почему-то подумалось, что мог бы и он в молодые годы, когда встретил Теклюшку, посадить вместе с ней на своей земле две березки. Да и

без нее мог бы посадить. Не важно где, в поле, в огороде, возле леса — сейчас шумели бы две березы. Пусть бы хоть такая память о них была. А он посадил сирень. Посадил тогда, когда стал жить с Марией. Посадил два маленьких ростка сирени на своей усадьбе — вопреки ей и ее родителям. О Теклюшке он тогда думал.

Ростки сирени прижились. Через годы они превратились в два больших ствола, давших множество побегов. Каждую весну много лет подряд цвел огромный куст, благоухал. И так было, пока в войну не случилось самое страшное и непоправимое с его односельчанами, с ним самим... Тогда и куст засох.

А березы живут. Не его березы…

«Не печалься, Иосиф, и ни на кого не обижайся. Ни на себя, ни на Ефима, ни на Николая с Михеем… И на Марию — тоже. Ни на кого. Слышишь?»

Текля села рядом с ним на крыльцо. Но не прильнула к плечу, как раньше, когда садилась рядом, а села поодаль. Голова ее была непокрытая. Волосы — как в молодости — длинные, русые, легко трепал ветерок.

Он сидел и не поворачивался к ней. Так чувствовал ее, свою Теклюшку. Видел ее светлое молодое лицо не глазами, а каким-то иным зрением — душой, что ли… И нежность к ней, такой любимой и родной, кажется, даже неизвестная ему и в молодые годы, наполнила все его существо.

Иосиф боялся пошевелиться. Ему казалось, тогда из души исчезнет это ощущение, исчезнет тот волшебный свет, в котором вырисовывалось Теклюшкино лицо, а за ним — лица Кати, ее сыночка Петьки, Нади и Светки, Валика, Ефима, Михея, Николая, Архипа...

«Ну что же ты, Осипка? Не бойся, — вдруг сказала Текля. — Иди, иди к ним. Не обижайся на людей. Им, как и тебе, тяжело. Им, как и тебе, больно. Слышишь меня? Иди».

Он повернулся, хотел ближе подсесть к ней, спросить, как же она здесь будет одна, если он уйдет? Но не успел. Текля легко поднялась, отошла от него. Иосиф хотел взять ее за руку, но ее уже не было...

Он еще не успел осознать, была ли она здесь наяву, или ему показалось, как вновь услышал, уже откуда-то издалека: «Иди, не обижайся на них. И не бойся. А я уж как-нибудь здесь буду».

Свет в его душе мгновенно померк, сердце пронзила острая щемящая боль...

10

...А тем временем все дальше и дальше от Гуды отплывала лодка с Валиком и Ефимом. Им еще долго надо было плыть по реке, чтобы причалить к ее левому берегу, на котором находился хутор Кошара.Точнее, находился он далековато от реки — за болотом, которое считалось непроходимым, за грядой леса, отделяющего топь от усадьбы, опустевшей много лет тому и заросшей травой и бурьяном…

Окончание следует.

Перевод с белорусского Ольги НИКОЛЬСКОЙ.





Микола МАЛЯВКА

Нам защищать самим живое слово

* * *

Залетный мотылек впорхнул и сел.
А я смотрел и думал: «Боже правый!»
И вспомнилось, как серебрятся травы,
Как утро золотится на косе.
Как вдалеке стоят, во всей красе,
Над Неманом столетние дубравы, —
Душа зовет из городской отравы
Туда, где дали в солнце и росе.

Нет, не исчезли в буднях, днях избитых,
Ни голоса людей, давно забытых,
Ни мотылька ажурное крыло,
Такого же, из мест далеких, милых, —
И память вновь куда-то увлекло,
И сердце вновь забилось с новой силой.

* * *

Я в Пристаньце, на берегу крутом,
Вновь отхожу, заботами измученный,
От жизни городской, поспешной, скученной.
Дымит костер в сиянии златом,
И мысли вьются с голубым дымком.
А Неман тихо дышит по-над кручею,
Покоем лечит, силою могучею, —
Ведь мы друзья, нам хорошо вдвоем.

Мы часто вдалеке бываем, Неман,
А ты течешь и — остаешься дома,
А ты всегда, и летом, и зимой,
Соединяешь нас с родимым краем, —
К тебе мы приезжаем, как домой,
Тебе стихи и песни посвящаем.

* * *

Люблю землицу, но не так люблю,
Как мама раньше… Вот она любила:
Меж пальцев комья твердые крошила,
Просила: «Принеси воды — полью».
Колхозную землицу и свою
Не отличала, все едино было.
Как за ребенком, за землей ходила
И не давала прорастать былью.

А что теперь? И что нас ожидает?
То выгорает все, то вымокает,
Картошку губит колорадский жук.
Мы для земли, она для нас — чужая!
Земля тоскует без хозяйских рук —
И как тут быть высоким урожаям.

* * *

Мы думали: извечна связь времен
И вечно жить родителям на свете,
И мы их позже ласкою приветим.
А век земной, такой короткий он.
Жизнь стариков — тягучая, как сон,
Мы редко там гостили, прямо скажем.
И боль, и горечь, и вина со стажем —
Все навалилось после похорон.

Смеется солнце в небе, дождь иль заметь,
А мы тревожим покаяньем память:
Родителей, что навсегда ушли,
Не воротить ни лаской, ни словами, —
О, если б вы услышать там смогли
О том, как виноваты мы пред вами!

* * *

В пристройку, через приоткрытый лаз,
Ко мне спокойно ласточка влетела,
Как будто тут прижиться захотела.
Сегодня редкость ласточки у нас.
Что занесло ее в столь ранний час?
«Вить-вить? Вить-вить?» — щебечет мне несмело.
Я улыбнулся гостье черно-белой:
«Конечно, вить! Тут будет в самый раз!»

Душа, я слышал, может превратиться
В зверька любого и в любую птицу,

Смотря как жил — греша иль не греша.
И сразу так легко на сердце стало:
А правда, может, мамина душа
Ко мне той ласточкою прилетала.

* * *

Не притомила дел, забот гора.
Работать я старался без огрехов,
Всем помогал, с лесным встречался эхом.
Куда еще, желая мне добра,
Ведешь меня, тропинка, со двора?
Погода подгоняет, дождь со снегом,
Торопит, надо в теплый город ехать, —
Не хочется… Но все ж пора, пора.

Собрав все вещи, выйдя, на прощанье
Хотел сказать сначала: «До свиданья!»
Но что-то промелькнуло в сердце: «Стой!» —
И на ходу, чтоб сердце успокоить,
Избе закрытой с маминой душой
Я только молча помахал рукою.

* * *

На песню струн летела и пчела.
В руках у Комаровского Адама
Восторженно, возвышенно, упрямо
Смеялась скрипка, плакала, звала,
И все куда-то за собой вела,
Звучала, как орган в старинном храме,
Будила о далеких предках память, —
Хозяина, увы, пережила.

Сыны — не музыканты. И она
В футляре темном мается одна,
Не понимая: как случилось так,
И где хозяин с доброю улыбкой?
И только струны вздрагивают в такт,
Когда по радио услышит скрипку.

* * *

Дочь вдруг спросила: «Кто меня принес?»
Я ей ответил на шутливой ноте:
«Красивый аист! Он же всех приносит». —
«То летом, папка. А когда мороз?»
Попался я, растерянный всерьез:

И правда, аисты зимой в отлете.
Дочурка подсказала: «Может, котик?» —
Сама себе ответив на вопрос.

Детей издревле аисты носили.
Еще детей в капусте находили.
Желаю дочке жизни лет до ста.
И аистов не обижать стараюсь, —
А повстречаю где-нибудь кота —
Подсказку вспомню ту и улыбаюсь.

* * *

Я записал на пленку голос твой.
И он звучит на жизни скучном фоне,
Меня уносит в молодость сегодня,
Соединяя ниточкой живой
С весенним небом, с летней муравой —
С тем, что с годами не горит, не тонет,
Записанное на магнитофоне, —
Со мной ты на дорожке звуковой.

«Ты для меня лишь другом остаешься…»
И не понять: жалеешь иль смеешься?
Без трещинок и шума — чистый звук,
Хоть уж полвека длится то свиданье:
Сквозь голос ощущаю нежность рук,
А на щеке своей — твое дыханье.

* * *

Все ближе к избам — заячьи следы.
Лесные гости не упустят случая:
Тут сладкая кора, а голод — мучает.
Дрожат от страха яблонек ряды.
И каждый ствол, чтоб не стряслось беды,
Я лапками еловыми обкручиваю,
Их зайцы опасаются — колючие…
Спасаю сад. Окупятся труды.

Суровый час, подумалось в работе,
Живое слово наше не в почете.
Грызут его который год подряд, —
Нам защищать самим живое слово,
Чтоб белорусский заповедный сад
Не высох, выжил, возродился снова.

Перевод с белорусского Геннадия АВЛАСЕНКО.



Иван КАРЕНДА

Ой, Нёман!

Мысли-догадки

Есть такое выражение: энергия воспоминаний.

Чувствуешь это не сразу, а со временем, на определенном отрезке жизненного пути. Воспоминания ходят за нами неотступно, до последнего дня. Их энергия в самом деле могучая — она воплощается в наши слова и поступки, питает наши мечты и мысли.

Жаль, что только изредка решался кое-что положить на бумагу.

Родина — не только дом, где ты родился и вырос, но и время, связывающее тебя с родным гнездом. Это понимаешь не сразу, потому что родительский дом остается, в него можно вернуться, а время не стоит на месте и обратной дороги не знает. Наш путь — между родиной и временем. Они вечные, а человек — временный. Парадокс: живое умирает, а не живому обещана вечность. О какой справедливости мы говорим?

* * *

Николай Чернышевский писал: «Прошлое обязывает». Невозможно не согласиться. Но вряд ли эта обязанность более существенна, нежели та, что у нас впереди. Ответственность за будущее, на мой взгляд, важнее.

* * *

Что было главным в моей жизни? Может быть, поиск смысла своего земного существования и поиск слова…

* * *

Перед смертью все равны. А перед жизнью? Наверно, нет. Потому что умирают все, а достойно живут единицы.

* * *

После войны моя бабушка Клавдия Филипповна никогда не пела: горе ее было неизмеримо и неизлечимо. Мой дед Иван Николаевич погиб под Кенигсбергом 9 апреля 1945 года, за месяц до Победы, оставив на ее руках пятерых малых деток. Она одна их подняла, вырастила. Да еще и пережила два пожара. Конечно, бабуля ходила на деревенские вечерки. Но я хорошо помню, обычно держалась в стороне, тихо и незаметно. Не пела! Хотя дома, в семье, могла и пошутить.

Как-то солнечным летним днем, когда собралась деревенская родня, я предложил сфотографироваться. Снимков получилось много, и на каждом — красавица-бабушка в светлой косынке, с приятной молодой улыбкой. А шел ей тогда уже девятый десяток.

С этой доброй улыбкой смотрит она на нас, в наши сердца, и с надмогильного памятника.

* * *

Мы любим говорить о белорусском гостеприимстве… Не ждать же, когда об этом скажут гости! Но порой бывает совсем не смешно…

…Осенью 2002 года в Минске показывал свои творческие достижения японский академический театр «NBA compani». Выступления артистов происходили на сцене нашего Театра оперы и балета. Наверно, немногие зрители знали хотя бы что-нибудь о японском балете. Поэтому интерес к балетному искусству далекой страны был большой. И мастера японской хореографии не разочаровали: выступали они вдохновенно, блестяще. Представление получилось ярким, запоминающимся. Благодарные зрители вознаградили артистов искренними, горячими аплодисментами.

Но от этой встречи с балетом Японии осталось и неприятное воспоминание о нашем «гостеприимстве». Откровенно говоря — о чувстве вины перед гостями. Те, кто пригласили их на гастроли, гостеприимства не проявили. Даже элементарного уважения. Перед спектаклем никто не вышел на сцену, не поприветствовал артистов, не рассказал о труппе и ее репертуаре, о постановке, которую японские артисты привезли на минские подмостки…

* * *

Обидно за поэтов-песенников — как классиков, так и современных. На эстрадных концертах их имена, их авторство вспоминаются редко. «Властвуют» на сценах исполнители и композиторы. Справедливо ли это? Мягко говоря, нет. Основа песни все-таки слова, текст. Мелодия песни определяется прежде всего мелодикой стиха, его лиризмом.

Проблема та же — отсутствие сценической культуры.

* * *

Выставка российского художника Валентина Сидорова в Национальном художественном музее Беларуси. «На теплой земле» — так назвал ее автор. И на самом деле, от полотен идет необычное тепло. Даже тогда, когда моросит дождик. Наверно, потому, что произведения рождены не только могучим талантом, но и согреты горячим, добрым сердцем художника.

А еще подумалось: судьба делит людей на городских и сельчан. И это — на всю жизнь. Валентин Сидоров — из сельчан, хотя теперь живет в Москве. Деревенские люди чувствуют тепло земли с детства до последних дней — когда бегали босиком по первым проталинам или по колкой стерне, когда сажали картошку в теплые борозды.

Бросается в глаза один момент, характерный для зрения художника: на картинах В. Сидорова — дороги и дорожки, тропинки и стежечки…

По этим дорогам-тропинкам и катится вечное колесо человеческой жизни.

* * *

Не перестает удивлять своим азартом в служении национальному музыкальному искусству маэстро Михаил Финберг. Государственный оркестр симфонической и эстрадной песни Республики Беларусь, который он возглавляет, готовит программу за программой, объехал с концертами десятки больших и малых городов нашей страны, постоянно участвует в «Славянском базаре в Витебске», часто выступает в Москве, плодотворно работает с творческой молодежью.

Может быть, для оркестра созданы какие-то особенные условия? Конечно нет. А случается, и наоборот.

Так, в частности, было с программой «Песней мой дух молодеет», посвященной 120-летию с дня рождения народных поэтов Янки Купалы и Якуба Коласа. В концерте прозвучали чудесные песни на слова классиков белорусской поэзии, написанные композиторами Игорем Лученком, Эдуардом Зарицким, Владимиром Мулявиным, Владимиром Будником и другими. Большинство — впервые. Порадовали мастерством и музыканты, и певцы.

Однако помню, что приятное впечатление от этой программы испортила «мелочь»: концерт состоялся в зале кинотеатра «Москва». Но эстрадный концерт и кино — разные вещи. Каждому свое место, своя сцена…

Этот эпизод всплыл в моей памяти после спектакля московского театра «Сатирикон», в течение которого не оставляло ощущение, что находишься именно в кинозале.

* * *

Ужасающая цифра-факт в газете: ежегодно на планете заканчивают жизнь самоубийством миллион людей. Это больше, чем от войн, несчастных случаев и преступлений вместе взятых. Эксперты называют причины: перенаселенность Земли, тяжелые условия существования, безработица, предательство любимого человека…

Судя по приведенной информации, довольно распространен суицид и в Беларуси, особенно среди мужчин.

Как помочь таким людям, своевременно заметить тяжкое состояние их души? И не является ли самоубийство максимальной мерой чувства собственной вины, в результате чего рождается духовная агрессия — агрессия против самого себя?

Наверно, человек, который добровольно покидает жизнь, хочет что-то доказать своим близким и всему миру. А близкие и весь мир не слушают его, не слышат. Они равнодушны к его судьбе. И человек, не имея возможности повлиять на обстоятельства, использует единственный доступный ему инструмент — собственную смерть. Мы не можем считать его шантажистом — он в самом деле готов на самый последний страшный шаг.

«Крыша поехала», — срывается из наших уст никчемная, оскорбительная фраза, когда происходит трагедия или что-то в поведении человека нам кажется странным или вовсе неприемлемым.

Может, нам в самом деле надо чаще поглядывать на эту «крышу», пока она не «поехала»?

* * *

Звезда российской эстрады Кристина Орбакайте, отвечая на вопрос о своих настольных книгах, называет детективы Агаты Кристи. И объясняет

свой выбор так: «Это литература для ума, она никоим образом не затрагивает душу, и это то, что мне нужно».

Бедное Слово!

* * *

Закон джунглей — это когда каждый сам за себя. Выживает сильнейший. Этот закон никак не подходит для цивилизованного общества, потому что основой такого общества должен быть гуманизм. А гуманизм — это доброта, сердечность, сочувствие другому человеку, прежде всего — слабому.

* * *

Почти все мы чувствуем: жизнь на Земле в опасности.

Федор Достоевский считал, что мир спасет красота, а наш современник, российский актер Александр Ширвиндт — что чувство юмора.

Кто как может — помогите, спасите!..

* * *

В мои школьные годы был такой предмет — астрономия. И мы любили его, звездными вечерами подолгу вглядывались в таинственное мироздание, искали Большую и Малую Медведицы, Млечный Путь… Теперь астрономии в учебной программе нет. Почему?

Человек на протяжении жизни успевает узнать и постичь много. Но земной путь в сравнении с вечностью короток. Наверно, надо чаще вглядываться в небеса: духовное, вечное приходит к нам оттуда.

* * *

Любовь — тоже собственность, только особенная, духовная. И безусловно, наибольшая, наиценнейшая. Капитал сердца не передается по наследству — каждый должен заработать его сам. Надо заслужить, получить тот святой дар от самого Бога.

* * *

Ходил по грибы и вспомнил исторический факт — о том, как в 1922 году на двух пароходах вывезли из России в Европу писателей и ученых, чьи таланты и ум новой власти были не нужны. Разве может разумный человек выбросить из корзины или сбивать ногами в лесу красавцы-грибы — боровики, подосиновики, подберезовики, рыжики?

* * *

Земная жизнь — печальна по своей сути. К сожалению, она идет в обратном направлении: день прожил — ее стало меньше…

* * *

Не хватает времени — чаще всего таким образом оправдываем свою лень. От такого триумфа она еще больше расцветает, становится непреодолимой.

* * *

Ожидание праздника… Что это? Состояние души? Помню, как ждали мы в детстве Новый год, Первомай, Пасху. Как радовались этим праздникам. Как праздновали! Праздники собирали нас вместе, выносили, будто на руках, из хат на улицу. Каждый хотел чем-то выделиться, привлечь к себе внимание новой выдумкой. Не было конца шуткам и розыгрышам.

В четвертом классе в начале весны я сломал ногу. Приближалась Пасха, и мое горе казалось мне бескрайним. Как я мог пропустить праздник «биток» — крепости яиц?! Набив полные карманы крашеными в луковом настое пасхальными яйцами, в гипсе, на одной ноге я допрыгал до калитки, взобрался на забор и с нетерпением ждал, когда кто-нибудь из друзей подойдет ко мне «побиться»….

Куда исчезло ощущение праздника? Объяснить это только возрастом, наступлением зрелости — было бы слишком просто. Наверно, время изменило нашу жизнь, и мы потеряли что-то большее, нежели детскую непосредственность.

А может, чувство радости покинуло только меня одного?

* * *

Роли мужа и жены в семье, домашние обязанности между ними люди распределили давно и точно: женщина архитектор и дизайнер, мужчина — строитель. Дом — это всегда авторская работа женщины, чем бы она ни занималась. Мужчина на такую роль претендовать не может: не способен.

* * *

Литератор — тоже лесник. Перед ним тоже стоит задача посадить «лес» и ухаживать за ним, чтобы прижился и вырос. Чтобы в этом лесу люди могли найти каждый свое: кто грибы, кто ягоды, кто орехи. Или просто укрыться от непогоды, или спрятаться от солнца в теньке. Однако надо своевременно пропалывать, просветлять литературную делянку, чтобы человек не плутал в ней и, не дай бог, не подкараулил его хищный зверь.

* * *

Что там, за чертой жизни? Вопрос, на который никто не знает ответа. И никогда знать не будет. И не надо.

* * *

Храм есть в каждом из нас, и надо беречь его чистоту. Не только молитвами, но и ежедневными добрыми делами, благородными поступками.

* * *

Тот, кто мечтает попасть в рай, должен знать: рай — тоталитарная система, хотя и со знаком «плюс». Система единомышленников иной не бывает.

* * *

Самое лучшее в человеке — то, чем он может гордиться. Это — вершина, на которую ему удалось подняться. Вершина человеческого достоинства.

* * *

Самый долгий путь человека — к молитве. А самый короткий — от молитвы к Богу.

* * *

Вокруг кого объединяется народ? Если верить политикам — вокруг них. Военные утверждают, что объединить народ, особенно в дни катастроф, могут только они. На самом деле людей объединяют деятели культуры. Чудесная дирижерская палочка объединения находится в их руках.

* * *

Читая мемуары политика, бывшего коллеги, подумал: никто так ловко не может раздеть себя, как ты сам. Особенно перед собственным «зеркалом», когда берешься за написание книги воспоминаний о самом себе.

И почему людям так хочется раздеться без надобности?

* * *

Юбилеи создают предки, а празднуют потомки. Наше быстротекущее время и здесь внесло свои коррективы: потомки бросились праздновать и 10-летие, и 5-летие, и даже годовщину своих организаций и разные события как юбилеи. Можем так забанкетиться-заюбилеиться, что и о работе забудем.

* * *

Среди качеств, которые должны быть свойственны политику, Владимир Даль в свое время назвал умение «кстати молвить и вовремя смолчать». Тех, кто умеет вести себя таким образом, сегодня немного. Именно поэтому на политический Олимп поднимаются единицы. Но не только политикам нужны такие качества — каждому из нас не повредили бы они.

* * *

Мой дядя Миша, Михаил Иванович, которого я очень любил за доброту и ловкие руки к любой работе, имел всего лишь четыре класса школьного образования. Его отец не вернулся с войны, оставив пятерых ребят. Поэтому было не до учебы — с малых лет парень должен был самостоятельно зарабатывать кусок хлеба. Отслужив в армии и женившись (пошел в примаки в одну из деревень соседнего района), он неожиданно для самого себя стал ветеринарным фельдшером-самоучкой. При этом таким еще Айболитом, что слава о его ветеринарных способностях пошла далеко. Он в одиночку справлялся с колхозным стадом (обслуживал несколько ферм) и еще почти каждый день успевал оказать «скорую помощь» захворавшей живности в личных хозяйствах окрестных деревень.

Однажды, когда он был расцвете сил, мы встретились в родной деревне, куда я приехал на летний отдых.

— Где работаешь? — спросил Михаил Иванович.

— В Минске.

— Минск большой…

— В Министерстве финансов и печати.

— Ого! Хорошую ты нашел работу!

— Почему ты так думаешь, дядька Миша?

— А я вижу, как наши девчата-культработники живут. До обеда спят, а потом идут в клуб, накрасят губы и ждут кавалеров.

Тогда я, помню, рассмеялся. И только позже, когда дядьки Миши не стало, до меня дошло его мнение о деятелях культуры.

В родных Кривичах издавна не были в почете веселые дела. «З музыкі хлеб невялікі, а з гулякі — зусім ніякі», — говорили мои односельчане. Ценилось больше всего то, что добывалось черным мозолем, прежде всего работой в поле.

Не так ли и в государстве? Сперва экономика, производство, оборона… Потом уж культура-хуторянка..

Вот такое у нас «кривое зеркало».

* * *

Когда в Москве создавалась газета «Белорусы России», готовился к выходу ее первый номер, главный редактор издания Анатолий Дожин предложил мне подумать, каким образом может быть представлена нашим соотечественникам, живущим в России, белорусская поэзия. Идея пришла сразу: завести рубрику «На лирическом берегу Родины», публиковать стихи на родном языке, без перевода. Так и сделали, надеясь, что поэтическая рубрика будет в газете постоянной. Оставалось подобрать для первого номера стихи.

Как раз в это время газета «Звязда» опубликовала цикл стихов Алеся Письменкова, который и бросился мне в глаза. Для литературной страницы нового издания я выбрал два стихотворения, которые особенно понравились мне.

Позвонил Алесю из Москвы, попросил разрешения на публикацию. Он обрадовался, несколько минут вспоминал о своих многочисленных встречах с русскими поэтами, прежде всего с Николаем Старшиновым. Затем с горечью выдохнул в телефонную трубку:

— Теперь белорусскую поэзию в России почти не знают. Редко кто переводит наших современных поэтов на русский язык. Так пусть хотя бы к нашим соплеменникам доходит слово на родном языке.

Один из тех стихов и сегодня не выходит из моей головы:

Адзімую —
Адсумую,
Размінуся з бедамі,
І калі перазімую,
Бог дасць, пералетую.
Ды чамусьці верыцца,
Што яшчэ наперадзе
Баравік у верасе,
Вогнішча на беразе,
Песня лебядзіная
Пра цябе,
Адзіная.

Первый номер газеты «Белорусы России» увидел свет в начале апреля 2004 года, а один из ее первых авторов — поэт Алесь Письменков оставил этот мир в конце апреля.

Он перезимовал, «адсумаваў», но, к большому сожалению, не «пералетаваў».

Ему еще надо было бы «летаваць ды летаваць», потому что полдень человеческого века наступил бы только через три года.

Талантливый поэт оставил нам свою молодую мечту и про «баравіка ў верасе», и про «вогнішча на беразе». И мы осенней порой, с пахучим боровиком в руках будем вспоминать Алеся с его пронзительной мечтой и верой. А у костра на берегу нашей быстротекущей жизни будем долго греться от его незабываемой, неповторимой поэзии, его чистой, светлой души.

Он навсегда остался на лирическом, поэтическом берегу нашей Отчизны.

* * *

В вечную дискуссию на тему: «Что главное в любви?» — хочется подбросить и свои «пять копеек». Главное в любви — воодушевлять друг друга. Однако это от влюбленных не зависит.

После рождения в семье ребенка родителям становится легче жить: с этого времни ты точно знаешь, что главное в жизни.

* * *

Настоящей радостью жизни нас одаривает только любовь. Она владеет могучей созидающей силой. Она выше всех самых высоких идеалов, потому что реально возвышает человека, делает его более совершенным. Она ценнее любого богатства, потому что с момента ее возникновения в душе человек и с пустыми карманами чувствует себя счастливым.

Любовь, пожалуй, единственное спасение для человечества, поскольку для нее не существует ни религиозных, ни расовых, ни национальных, ни государственных границ.

Засеем планету любовью — получим хороший урожай согласия и взаимопонимания, цивилизованных отношений между народами.

* * *

В московском метро во время движения эскалатора нередко можно услышать поэтические строки. Среди многочисленных рекламных объявлений звучат слова классиков русской поэзии Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Евгения Евтушенко и многих иных. Я обратил внимание на то, что порой это совпадает с днем рождения поэта, но чаще — просто стихи о Москве, о соответствующей поре года, о любви.

Может, и нам, белорусам, стоит перенять опыт соседей и наполнить эфир Минского метрополитена лучшими произведениями белорусских мастеров поэтического слова?

* * *

И далекие, и близкие к нам эпохи наполнены ненавистью и жестокостью в отношении к человеку и даже к целым народам. Ватикан был вынужден признать свой инквизиторский грех за смерть Джордано Бруно. А диктаторы за преследование, геноцид, уничтожение народов не просят прощения никогда.

Уроки истории не для них.

* * *

Весной на родину, «у родны кут», меня тянет сильнее, чем в любую другую пору года. Пробуждение природы наполняет душу такой печалью — хоть криком кричи. Воспоминания о родной принеманской деревне долго не дают уснуть.

А тут еще и мама подлила масла в огонь. Звоню ей, расспрашиваю о здоровье, а она с радостью сообщает:

— Ваня, наш Бусел уже прилетел. Первым в деревне. Как и в прошлом году.

В родных моих Кривичах шесть «буслянок», в том числе и на нашем тополе. На том, который я посадил еще в десятом классе. И слово «наш» звучит для меня, как и для матери, как что-то чрезвычайно родное, неотъемлемое.

Минувшим летом клекотом аиста заслушивалась моя внучка. С неповторимой детской нежностью подолгу следила, как кружили над тополем и над нашей хатой три молодых аиста.

«Наш бусел!» — вот такая приватизация по-сельски.

* * *

Еще одно воспоминание о «наших буслах».

Мы с мамой с тревогой ждали начала весны 2009 года: предыдущая была несчастливой для них. Они прилетели тогда первыми из всей стаи, облюбовавшей Кривицкие просторы, — недели на две. Их звонкий клекот на тополе свидетельствовал о смене времени года.

Однако то ли весна оказалась несмелой, медлительной, то ли зима с норовом злой свекрухи, не торопилась идти на примирение с природой — неожиданно вернулась зимняя стужа. Гнездо засыпало снегом, и бедным птицам, наверно, пришлось трудно. Они, возможно, замерзли так, что по этой причине деток тем летом не имели.

Печальным было прощание с ними перед осенним отлетом.

Нас беспокоил вопрос: прилетят ли снова?

Прилетели!

А когда мы увидели, что из гнезда подымают головки-клювики двое беспокойных птенцов, радость наша была бескрайней…

* * *

Самый оптимистический прогноз, который мне довелось услышать за свою жизнь от пророков: «Коммунизм — светлое будущее всего человечества». А самый точный — от моих односельчан: «Нешта будзе».

* * *

Водитель, москвич-тамбовец, рассказывает:

— Двадцать лет минуло, как я уехал из деревни. Я уехал из нее, а она из меня — нет. Вот здесь сидит, — бьет кулаком себя в грудь и, тяжко вздохнув, продолжает: — А возвращаться уже некуда: деревню мою разрушили, уничтожили. Тридцать хат закопали в землю. А какие были яблоки! И сегодня помню, как пахнет настоящий апорт…

— Чернобыльским цезием была засыпана? — спрашиваю, вспоминая горькую долю многих белорусских деревень.

— Нет! Какой цезий! Слава Богу, эта черная беда к моим родным местам не добралась. Деревня погибла, когда мы оставили ее. А пустые хаты разломали бульдозером. Теперь там поле. Будто земли у нас под пахоту не хватает. На моей Тамбовщине тысячи гектаров полей заросли кустарником, хотя чернозем там — толщиной в метр, не меньше… Нет, городским я не стал… И доживать свой век поеду в какую-нибудь деревню. Тянет туда как магнитом. Запах свежескошенной травы в московском парке за версту нос щекочет…

Вот и мне — щекочет…

* * *

— Когда я была маленькая, думала, что куклы — живые, только засушенные, — делится воспоминаниями моя восьмилетняя внучка.

— А что думаешь о них теперь? — интересуюсь с надеждой на эволюцию детского восприятия.

— Теперь я знаю, что они пластмассовые.

— Но и пластмассовые разговаривают, смеются, плачут, — пытаюсь возражать малышке.

— Они же на батарейках, дедушка! — подытоживает наш разговор Алиса.

…Высказывание внучки о «засушенных» куклах почему-то долго не уходит из моей головы. Позже до меня дошел его философский смысл: жизнь, в конце концов, засушивает и нас, живых людей.

* * *

Подготавливая к печати свой первый поэтический сборник, я долго не мог выбрать название. Было в голове много вариантов с претензией на оригинальность, и я сомневался, не зная, какому отдать предпочтение.

Решил посоветоваться с кем-нибудь из писателей. Чаще всего мне встречался Янка Брыль, который жил неподалеку в нашем микрорайоне. Ему и доверил свои мысли.

— Первый сборник — как сладкий, незабываемый вкус первых летних яблок, — сказал Иван Антонович, полистав рукопись. Хорошо назвал ты поэму — «Белый налив». Лучшее название для книжечки и не придумаешь.

Так и созрел мой «Белый налив».

* * *

Обычное мнение: живем плохо. Но редко задумываемся: а почему мы живем плохо? Не потому ли, что так проще?

Жизнь складывается из наших желаний и наших действий. Желаний всегда много, а вот с их реализацией мы не торопимся, ожидаем манны небесной.

За каждый день, за каждое мгновение счастья надо бороться. Работая до седьмого пота, каждый день преодолевая неблагоприятные обстоятельства и собственную лень.

* * *

Вспомнилась поговорка «Госць у хату — Бог у хату», которую я не раз слышал от бабушки моей Клавдии.

И вот почему: многие из дорогих мне гостей, самые близкие друзья уже ушли из этого мира и никогда не переступят порог моей квартиры. А как хорошо было с ними, как светилась от радости душа, сколько тепла оставалось в квартире и сердце после их «гостевания»!..

* * *

В Беларусь приехал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его первый пасторский визит широко освещается в прессе. И неудивительно — событие в самом деле историческое.

А мне вспоминается увиденное летом 2009 года в одной из принеманских деревень на моей Гродненщине. Красивая церковь в деревне Римки Щучинского района, построенная еще в XIX веке. А напротив, через улицу — свиноферма со всеми ее особенностями…

Неужели не хватило земли, чтобы избежать такого нелепого соседства?

Или чего-то другого не хватает, о чем каждый день молится Патриарх?

* * *

Перечитал «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына.

Подтолкнула к этому новость: в России решили включить в школьную программу изучение еще одного произведения писателя — «Архипелаг ГУЛАГ». Думаю, ни учителям, ни школьникам такое решение радости не принесет: многотомное издание, книга-исследование политической истории тоталитарной системы, даже с художественной окраской, — не для уроков литературы.

А вот повесть про один день лагерной жизни Ивана Шухова в школьной программе я оставил бы: повесть предоставляет неисчерпаемый материал для осмысления всей жестокости большевистской диктатуры, и главное, — очень полезное пособие для выживания человека в невыносимых условиях, для воспитания достойной личности, для закалки моральных качеств.

* * *

Чудаков среди нас, кажется, становится все больше. Московский скульптор Г. Потоцкий создал Международную академию доброты. А символом доброты он считает одуванчик. Его памятники одуванчику уже установлены во многих странах.

Но мне-то думается, что Международная академия доброты создана Богом…

А в Беларуси, если выбирать символ доброты среди цветов, то, наверно, это был бы василек. Васильки у нас — на какое поле ни пойди…

* * *

Сколько человеку нужно денег? Бессмысленный, на первый взгляд, вопрос. Ответ на него кажется простым: как можно больше. Но человек богатый и человек счастливый — понятия эти совпадают редко. Деньги, как однажды верно заметил Валентин Распутин, должны делать добрые дела, «работать» так, чтобы от них была польза людям. А если они просто выбрасываются ради того, чтобы кто-то почувствовал себя богачом, подчеркивал свое преимущество перед другими людьми, то какой от этого толк?

Не было и не будет принципа, сколько человеку иметь денег. Отсюда — извечный конфликт между материальным и духовным, который часто ведет к разладу в душе. Ничто так не выводит из равновесия, как денежная проблема, — и нехватка денег, и золотые горы богатства.

Всевозможные финансовые дефолты и социально-экономические кризисы происходят тогда, когда финансовое равновесие в обществе нарушается, когда одни не знают, куда девать свое богатство, а другие — как свести концы с концами, как выжить в безденежье.

* * *

СМИ сообщили о смерти на 94-м году жизни российского физика, лауреата Нобелевской премии, одного из разработчиков ядерного оружия В. Л. Гинзбурга.

Лично мне ученый с мировой славой запомнился как талантливый публицист и блестящий полемист, часто выступавший в прессе с интересными, острыми статьями по злободневным проблемам развития общества. Занимая твердую материалистическую позицию, он активно боролся с невежеством, фальсификацией результатов научных исследований, с модным теперь увлечением гороскопами и другими позорными явлениями, принижающими роль науки.

Не глядя на массовый переход в 1990-е годы от безбожия к вере, уважая чувства верующих, В. Л. Гинзбург остался убежденным атеистом, решительно отстаивал права человека на духовное развитие на основе научного мировоззрения.

Низко склоняю голову перед его светлой памятью.

* * *

В Москве, на юбилейном концерте «Сяброў» слушаю в исполнении Иосифа Кобзона «Песню про Нёман». Плывет над залом величественная, светлая мелодия — бессмертный гимн реке, на берегу которой я родился и вырос:

Рака наша слаўная Нёман,
Чысцейшая чэрвеньскіх рос…

Прежде всего вспоминаю ее талантливых авторов — поэта Анатолия Астрейку и композитора Нестора Соколовского: их имена со сцены не назвали.

Очень приятно, что песня звучит по-белорусски, к тому же безукоризненно чисто: мэтр российской эстрады доносит до слушателей каждое слово так, будто белорусский язык — его родной.

И щемит мое сердце, не могу сдержать слез...

Песня возвращает меня в родную сторонку, где мне было суждено впервые увидеть белый свет, — к родным Кривичам, что на левом берегу Немана. В памяти всплывают счастливые дни детства, когда по росистой луговой тропинке наперегонки с ветром мчался босиком к реке.

Кажется, песенная мелодия бежит в моей крови, наполняет все мое существо, щедро согревая, радуя душу:

Хто мар не ўплятаў у твой гоман,
Табе хто пашаны не нёс?

О, как хорошо мечталось на берегу Немана! Не просто мечталось, а верилось, что мечты осуществятся, что так и будет, обязательно будет!

Ой, Нёман, ой, бацька наш родны,
Як сонца, як дзень, дарагі…

Неман и в самом деле, без преувеличения, был для нас, деревенских детей и подростков, родным батькой. С ним, около него, мы беззаботно проводили время с весны до зимы. Он учил нас товариществу, мужеству, ловкости, осторожности. Здесь мы удили рыбу, купались, загорали, встречали и провожади в далекий путь караваны плотов, слушали песни плотогонов и, оголодавшие за день, просили у них хлеба: «Плытнічок, браточак, дай хлеба кусочак!..» Хорошо помню, что среди плотогонов жадных людей не было: бросали нам, детям, на травянистый берег по целой буханке…

Правда, были у нашей реки и конкуренты — озера и пруды, что находились ближе к деревне, где мы еще дошколятами ловили рыбу корзинками, а когда немного подросли — самодельными сетками-топтухами, зимой гоняли по льду шайбу — консервную банку. Но к Неману нас тянуло сильнее, сравниться с ним никакое озеро не могло.

И конечно, вспомнился паром — между нашим, левым кривичским берегом, и берегом правым, вдоль которого на несколько километров раскинулась деревня Морино, бывший центр колхоза со средней школой, куда мы ходили в старших классах. Сколько с ним было связано событий, происшествий, надежд! Особенно в пору первых влюбленностей, когда думалось, что огонек счастья горит только на том, правом берегу. И символом этого счастья был паром. Вместе с его постоянными паромщиками — дядькой Николаем и дядькой Сергеем. Они не раз выручали нас, влюбленных, приходя на помощь в любое время суток, в любую непогоду. Кстати, порой нам не хватало терпения, и тогда мы решали жизненно важный в тот вечер вопрос очень просто: бросали пальцы, и «счастливчик», на котором подсчет суммарного числа заканчивался, был вынужден голым, как мать родила, не выказывая страха и дрожи, лезть в холодную, порой ледяную воду, чтобы притащить паром на радость всей компании. Однако сообразительные были: на тот случай имелась самогонка, чтобы согреть посиневшего от холода спасителя…

Перед глазами всплывает еще одна картина — на пароме переправлялась и моя свадебная дружина, когда я вез в Кривичи свою молодую женушку…

Парома уже давно нет: неподалеку от деревни построили мост. Удобно, что и говорить. Но вместе с паромом исчезло и ощущение чрезвычайной важности реки, зависимости жизни людей от ее жизни.

Но и сегодня, с высоты шести десятков прожитых лет, статус батьки я отдаю ему, Неману, без всяких сомнений…

Заключительные аккорды милой моему сердцу песни я не заметил, потому что — с искренней благодарностью певцу и аплодисментами за замечательное исполнение — немного опоздал.

* * *

У воспоминаний есть бесспорный плюс: они омолаживают нас, потому что время, оставшееся позади, все моложе сравнительно с днем сегодняшним.

Перевод с белорусского Олега ПУШКИНА.



Анатолий АВРУТИН

Прощание с августом

* * *

Первое августа. Завтра Илья.
Серым дождям ни конца, ни начала.
Сохнет-не высохнет стопка белья,
Что накануне жена настирала.

Лето на позднем своем рубеже,
Сколько Илью ни зовите Илюшей…
И поселяется осень уже
Первого августа в стылую душу.

Значит, мне старые книги листать,
В небе выискивать светлые пятна.
Значит, мне с птицами вдаль улетать,
Точно не зная — вернусь ли обратно?..

* * *

Время метаний… Основа основ.
Пусто и голо.
Вроде Микола стоит Лупсяков…
Як ты, Мікола?

Переступлю через снежный сумёт,
Прошлое — рядом.
Толя Гречаников руку пожмет:
«Што з перакладам?..»

От недовольных супружниц тайком,
Ближе к вечерне,
С Мишей Стрельцовым пойдем с коньяком
К Хведару Черне.

Гришка Евсеев, Володя Марук:
«Выпʼем і годзе…»

По корректуре размашисто: «*Ў друк!*» —
Павлов Володя.

Небо нахмурилось, тени струя.
Стежечка в жите.
Где вы?.. В какие уплыли края?
Хлопцы, гукніце!..

А с поднебесья: «Ушедших — не тронь!..» —
Грозно и строго.
Толькі валошка казыча далонь…
Цёмна… Нікога…

* * *

«…Но жизненные органы задеты…
Да и раненья слишком глубоки…»
Своею кровью русские поэты
Оправдывали праведность строки.

А как еще?.. Шептались бы: «Повеса,
Строчил стишки… Не майтесь ерундой…» —
Когда бы Пушкин застрелил Дантеса
У Черной речки, в полдень роковой.

И правда, как?.. Все было бы иначе…
Попробуйте представить «на чуть-чуть»,
Что Лермонтов всадил свинец горячий
В мартыновскую подленькую грудь.

И дамы восклицали бы: «О Боже…
Да он — убийца… Слава-то не та…»
Но ведь поэт убийцей быть не может,
Как не бывает грязью чистота.

Любима жизнь… И женщина любима…
В строке спасенья ищет человек…
И Лермонтов опять стреляет мимо…
И снова Пушкин падает на снег…

* * *

Когда отзовется холодным и сумрачным вечером
Всё то, что осталось
на донышке стылой души,
Вдруг вспомнишь внезапно,
что в общем-то вспомнить и нечего —
Исписаны перья да сломаны карандаши.

И сколько сквозь полночь
в кромешную даль ни поглядывай,
И сколько на полке средь старых блокнотов ни шарь,
Припомнится только
оконце под пленочкой матовой
Да радужный полдень, где с неба течет киноварь…

А так — ничего…
Хорошо хоть, что узкая стежечка
Могла, но не стала
коварной дорожкой кривой…
И юная мама всё кормит сыночка из ложечки,
А папа смеется, чтоб кануть в дали заревой…

Что было, то сплыло…
Все дали слезой затуманены.
Скатилась слезинка… Размыла на справке печать…
Остались строка…
Переулочек…
Драники мамины…
Ладони любимой… И что-то, о чем не сказать…

* * *

В струенье жизни быстротечном
Слышнее грома — только тишь.
Вовек не станет слово вечным,
Когда о вечном говоришь.
Но если, предваряя звуки,
Вдруг захлебнешься тишиной,
Немым предвестником разлуки
Простор увидится сквозной.
И так — от выдоха до вдоха,
От первых дней до серых плит…
И кем ты стал — решит эпоха,
А вечность — кем не стал, решит…

* * *

Черта… Забвения печать
В просторе пегом…
Исчезнуть?.. Или снегом стать?..
Я стану снегом!

Чтоб вьюга закружила всласть
Под ветер грубый.
Хочу снежинкою упасть
Тебе на губы.

Чтобы, хмелея без вина,
Не сняв косынку,
Ты удивилась — солона
Одна снежинка…

То просто вымолив себе
Твою простуду,
Я буду таять на губе,
Я таять буду…

* * *

Она всего лишь руку убрала,
Когда он невзначай ее коснулся.
Он пересел за краешек стола…
Налил фужер… Печально улыбнулся.

Она в ответ не выдала ничуть,
Что прикасанье обожгло ей кожу.
Сказала тихо: «Поздно… Как-нибудь
Увидимся… Я вас не потревожу…»

И поднялась… Напрасных мыслей рой
Пульсировал артериею сонной.
Ушел он… С обожженною душой…
Ушла она… С рукою обожженной…

* * *

Три клена — три калеки,
Копёнок череда.
Сюда, как в прошлом веке,
Не ходят поезда.

А что возить? Дорога
Одна на сорок верст.
Путь к фельдшеру… И к Богу —
Из хаты на погост.

Старик, бутыль припрятав,
На лавочке притих.
И нету адресатов
У писем заказных.

Все было… Все не ново
Для этих скудных мест:
Худой пастух, корова,
Понурый лес окрест.

И кто тебе ответит
Сквозь морось и сквозняк —
Чем кончится столетье,
Начавшееся так?..

Прощание с августом

Позднее светает… Уносят тепло
Смущенные аисты.
Пока что не осень, но время пришло
Прощания с августом.

Молоденькой прелью пропахший овраг
Грустит в одиночестве.
Приходит к нему только Ванька-дурак…
Растрепа… Без отчества…

Чадит костерок.
— Подходи, посидим —
Вот здесь, под березою…
Но Ванька питается духом грибным
И дымкою розовой.

— Эй, Ванька, чего это в душах свербит,
Вот елки зеленые!
Он лишь отмахнется и что-то бубнит
Свое, забубённое.

О чем ни спроси, Ванька врать не мастак:
«Не знаю… Не ведаю…»
Прощается с августом Ванька-дурак,
А мы тут с беседою.

Тридцатое августа… Голос далек.
Редеет дубравушка.
А истину знают лишь Ванькин киек
Да вдовый журавушка.





Юлиана ПЕТРЕНКО

Табор уходит в небо

Рассказ

Говорят, в цыганском таборе есть традиция: девушка, проснувшаяся раньше всех, забирает себе самые лучшие юбки.

Именно поэтому я с самого детства мечтала, чтобы меня увели в табор: просыпалась я рано, а яркие цветастые юбки в сочетании с гремящими браслетами, серьгами и монистами очень уж привлекали внимание деревенской девчушки.

Мечты, как известно, сбываются. Спустя энное количество лет с шумным, пестрым и разномастным табором пришлось познакомиться лично. И отнюдь не с их киноэкранными воплощениями, которые в начищенных до блеска сапогах лихо разъезжают верхом с гитарами, кинжалами и шампанским, а затем, блистая золотыми зубами, падают на колени перед смуглыми пышноволосыми бестиями и разрывают на себе алые рубахи вместе с сердцами.

В небольшом пыльном городке все гораздо прозаичнее.

Говорят, среди цыган — непонятных существ с другой планеты, затерявшихся в нашей реальности, — жить совершенно невозможно.

Бессовестно врут.

Несколько лет тому назад мы обменяли современную квартиру в центре города на бревенчатый с белыми ставенками домик в самом «литературном», но цыганском районе Гомеля. Раскаленные трассы и тесные улицы, шумные торговые центры и кинотеатры, а также заводы-газеты-пароходы остались далеко позади — примерно в трехстах полетах стрелы. Ну, или пока восемь трубок подряд не выкурятся. Ну, или полдня пути вороного Арзамаса, ежели полевой рысью и с остановками. И теперь вместо монументальной архитектуры Советских, Пролетарских, Первомайских и Артиллерийских улиц мы наблюдаем, как спеют желуди на Ивана Шамякина, на Некрасова пасутся гуси, а на Островского — кони.

Говорят, что в случае Апокалипсиса цыгане будут заниматься своим привычным делом — воровать коней у четырех всадников.

Это вряд ли.

Скорее, они будут собирать лом, ковыряться в стареньких «Жигулях», слушать на телефоне давно устаревшие «Черные глаза» и привычно клеить на ногти стразы (да-да, соседская пятнадцатилетняя Лолита даже оторвала их от своего свадебного платья, дабы поразить невиданным маникюром всех родственников жениха, представ пред ними во всем блеске и великолепии).

Говорят, что молодых *ромалэ* сватают еще в детстве?

Случается.

Дружащие меж собой семьи, схожие по взглядам и материальному положению и желающие породниться, могут познакомить своих детей как за девять

с половиной лет, так и за девять с половиной недель до предстоящей свадьбы. Знакомят и ждут. Если понравились друг другу — свадьбе быть. Почему в пятнадцать? А чего тянуть? Уж два года как зрелая — лифчик носит, пельмени лепить умеет. А то так и помрет старой девой — век цыганской молодости, увы, недолог. А вот брак — это навсегда. Каждая *романо* с детства лелеет, взращивает в сердце мечту о красивой любви и лихом цыгане, который, спрыгнув с *кало грай (вороного коня)*, упадет на колено и скажет: «Я — твоя судьба!» И «судьба» ни в коем случае не скажет банальное «*мэ тут камам*» *(я тебя люблю). Камам* можно свой дом, сестер, братьев и мохнатого пса. Единственный и долгожданный может сказать лишь *«Пхарував пала туте» (ты разрываешь мне сердце*). Смуглые девчонки настолько любят свою любовь, что подобрать к ней молодого *чавалэ (парня)* особого труда не составляет.

Клятва Лолиты:

Ненаглядная радость моя, лачинько, я ждала тебя одного, подари мне свою любовь! Буду верной тебе всегда и всюду! Рожу много детей и воспитаю их в любви и уважении к старшим! Ждать тебя буду отовсюду, ни о чем не попрошу! Только люби!

Просить ни о чем и не надо. Долг каждого *рома (мужа)* — чтобы его *румны (жена)* была счастлива.

Свадьбу отмечали пышно, гуляли всем «литературным», порвали три баяна. Из сундуков извлекались самые яркие юбки и цветастые платки, велись долгие споры, чье золото лучше и кони резвее.

Говорят, что *ромалэ* отличаются полной безвкусицей?

Вздор.

Если уж массивные серьги — то обязательно под цвет глаз, ремень в унисон с колготами, маникюр под стать заколке, резиновые сланцы — непременно в тон шейному платочку, а вот носки…. Неважно, какие носки, главное — они радуют глаз и поднимают настроение. Раскраска же мужского пола гораздо богаче и может варьироваться в зависимости от мест обитания, рода занятий и наличия денег у отца. Кожаные и меховые куртки особенно выгодно смотрятся с узкими джинсами или спортивными штанами с лампасами, ансамбль дополняют узконосые, усыпанные каменьями туфли с кисточками из замши или крокодиловой кожи. При этом *ромалэ* не пропустят ни одного зеркала, витрины или окошка, чтобы не расправить плечи, пригладить волосы, смахнуть с наряда несуществующие волоски и окинуть себя оценивающим и удовлетворенным взглядом.

Где?! Скажите мне, на каких рынках, в каких магазинах и торговых центрах можно приобрести все это великолепие? Эту тайну *ромалэ* уносят с собой в могилу.

Неужто своим женам они не позволяют носить иных уборов?

Поговаривают, что тут царит патриархат?

Упаси боже!

Все самое светлое, теплое и вкусное *ромалэ* тащит в дом для своей *дае (матери),* целует ей руки и колени. Любой смугляк от души, для души и с душой расскажет вам легенду о том, как прекрасная девушка велела доказать своему возлюбленному его преданность и преподнести самый ценный подарок — сердце его матери. И как влюбленный *ромалэ* вошел в дом к своей матери и вынул сердце из ее груди, и побежал к своей любимой и единственной *чаялэ (девушке).* Но споткнулся. Упал. И уронил материнское сердце… Поднялся, поднял и сердце. А сердце у него и спрашивает: «Ты не ушибся, сынок?»

Расскажет и прослезится. Даже, может быть, попросит денег на операцию бедной матери, но не факт.

Легко можно увидеть, как *ромалэ* делятся своими *ловэ (деньгами)*, выворачивают карманы и щедро сыплют монеты заблудившимся в «литературном» райончике бабулькам и их внукам с улиц Советских, Первомайских, Пролетарских и Артиллерийских, чтоб те поскорее покупали свое мороженое и очередь не задерживали. Ждать недосуг — за окном резвые кони храпят, копытом землю роют… Это если седовласый златозубый дяденька в широкополой шляпе. А если кудрявый мальчонка — то непременно тонированная пятерка. И уж никак не «бумер».

— *Бахталэс! (Привет!)* — кричит он друзьям, выходя из единственного на всю округу магазинчика.

— *Дэвэс лачо! (День добрый!)* — поднимаются в ответ руки. — *Сыр тэрэ дела?*

— *Со? Дела? Ничи. Маленько. Машина нэво, поеду к чаялэ Снежана.*

— *Оу-оу, гожая (красивая)…*

— *Снежана?*

— *Машина…*

Машины, зубы и шляпы — это прекрасно, это верх состояния и благополучия.

Говорят, работать *ромалэ* не хотят, а деньги любят?

Почему нет?

Покажите мне хоть одного человека на нашей улочке, в нашем пыльном городке, на просторах нашей синеокой, кто не любит деньги и испытывает непреодолимую страсть к работе?

Каждый крутится как может и получает, соответственно, по заслугам.

— *Эй, цыганка! Нас с братом вчера менты заметили! Что нас ждет?*

— *Я погоду предсказываю.*

— *Зачем нам твоя погода? Ты скажи, что нам светит?*

— *Вы не поняли, хорошие. Я вам каждому по году предсказываю…*

Говорят, если на заборе цыганского дома в любую погоду висит коврик, можно смело стучать в покосившуюся калитку с вопросом: «Есть че? А почем?»

Кто говорит? Тс-с-с…. сами товарищи милиционеры…

А потом разводят руками: «Всех, мол, не переловишь, не пересажаешь…»

Коврик видела, ради научного эксперимента стучала, спрашивала. Ничего не предложили. Кроме ответного вопроса: «Сдаешь что?»

— Сдаю, — говорю, — макулатуру в школу. И так каждую четверть.

— Все будет хорошо.

— *Наис (спасибо).*

— *Явэн састэ (будь здорова).*

Говорят, ромалэ беспринципно, как губка, впитывают обычаи и религию той страны, в которой проживают. Говорят, *ромалэ* носят золотые кресты, но не верят ни в Бога, ни в черта.

Преувеличивают.

Основа их жизни и религии — отнюдь не деньги, а семья и родовой строй. Все остальное — взятые на время культурные особенности.

Народ с широкой душой из нашего «литературного» района можно встретить и в протестантской церкви, и в православном храме, и в костеле — всюду, где звучат музыка и живые песни, а Бог выступает за брата.

Любой *ром* или *румни* поведает вам, что добрый Бог — *Дэвэл*, во всем покровительствует *ромалэ*, а злой рогатый *Бэнг* вечно путает карты, дороги и планы; расскажет о загробной жизни и предках, у которых просят помощи, о животворном Солнце и защитнице всех женщин — Луне, а также о царе танцев Шиве.

При всем при этом в любом цыганском доме, бедном или богатом, вы найдете множество старинных и дорогих икон. Ведь Бог особенно любит *романо* за то, что цыган-кузнец, которому велено было выковать для казни Христа гвозди, проглотил самый большой, что предназначался для сердца…

— О чем можно говорить с цыганкой двадцать минут? — встречает меня на пороге дома голодный муж и завистливо посматривает на торчащую из пакета несвижскую колбасу.

— Не с цыганкой, а с Наиной — двадцатилетней опытной мамой двоих детей, — я одну за одной извлекаю из пакета булочки. — Представляешь, у них дама червей — это не блондинка, а темноволосая женщина среднего возраста и средней комплекции, а если выпадает с шестеркой — то слезы и неприятности.

— Угу, — муж складывает трехэтажный бутерброд и тянется за майонезом.

— А семерка крестовая — вовсе не прибыль, как у нас, а исключительно возвращение долга.

— Черт знает, что такое, — не то соглашается, не то возмущается муж и скрывается в глубине комнаты по направлению к компьютеру, с бутербродом и большой чашкой чаю.

С *ромалэ* ему разговаривать не о чем: в машинах он разбирается куда лучше, а технические характеристики лошадей и вовсе не трогают его загрубевшую урбанистическую душу.

К своим каурым, вороным и игреневым кормильцам *ромалэ* относятся ревностно: чужим людям, особенно *гаджо (не цыгане)* трогать животных не дозволяется, а то сглазят еще, чего доброго… Для меня, выросшей в деревне вместе с гнедой Жозефиной (дедуля мой был тот еще фантазер и романтик), делается исключение. И лишь после сдачи устного экзамена по темам «узда, хомут, подпруги, шлеи и постромки» разрешается прикоснуться к святая святых — погладить рыжую с белой отметиной мордашку.

Лошадь — вещь в хозяйстве незаменимая. Но мы как-то обходимся без нее, по старинке используя общественный транспорт. При всем уважении к цыганской культуре и обычаям, дочь ездит в далекую-дальнюю школу, где с широкой улыбкой нас встречают педагоги высшей категории в накрахмаленных белоснежных блузах, препровождая на факультативы по живописи и английскому в «просторный актовый зал на двести мест, обновленный за счет средств спонсоров и городского бюджета». Ведь дочь мне нужно готовить не к замужеству, когда достаточно посещать уроки по домоводству и математике (ведь деньги сами себя не посчитают), а к «большой самостоятельной жизни» и «светлому будущему».

А будущее, как известно, можно предсказать.

Говорят, *ромалэ* только этим и занимаются.

Отчасти.

Метод весьма прост, и им может овладеть каждый.

Гуляю с собакой в сквере. Сыро, скучно и холодно. Хрипло кричат скандалистки-вороны. Березы сыплют на дорожки золотом, а за шиворот — холодными каплями.

Кружу по дорожкам не я одна: стайка освобожденных от детей, внуков и быта цыганок выходит на работу в поисках легкой наживы.

— Зойка! — кричит седовласая дама с клетчатым баулом, нагоняя молодую *чаялэ* и отдавая ей последние распоряжения.

Та, которую назвали Зойкой, молодая женщина в остроносых лаковых сапожках, согласно кивает головой: Да, *ловэ* нужны, как же без них…

Вот она гибкой пантерой крадется вслед за блондинкой в красном пальтишке. Неприятная блондинка морщит нос, жестикулирует, громко выясняет по телефону отношения, доказывая мужчине, что тот не прав. Как только Красное Пальтишко складывает телефон в сумочку, Зойка начинает свою игру:

— Ай, хорошая, давай погадаю тебе. Денег не возьму. Такая красавица, сердце золотое, да разбитое…

Красное Пальтишко заинтригованно оборачивается и замедляет ход.

— Вижу, есть у тебя король бубновый, только не достоин он тебя, красавица… Деньги ждут тебя большие да работа хорошая, новая.

— А король? Король-то что? — Красное Пальтишко уже на крючке.

— Не твой это король, уйдет с дороги. Новый будет, хороший, богатый, с машиной, с квартирой — жди.

Красное Пальтишко обрадованно лезет в карман, чтоб хоть как-то отблагодарить бескорыстную ворожею.

Следом идет гуляющая с рюкзаком и сигаретой студентка. Тут уж и прислушиваться не надо — можно смело предсказывать завистливую подругу, вредного препода, дальнюю дорогу и новое знакомство. Не зазорно и денег за прогноз попросить.

— Ай, красавица, дай погадаю, всю правду скажу, — нагоняет меня Зойка.

— А давай я тебе погадаю, — оборачиваюсь я. — Зовут тебя Зоя, живешь здесь неподалеку, жизнь у тебя трудная, детей много, кормить надо, муж далеко, на заработках…

— *Шувани! (ведьма)* — хватается Зойка за оберег на шее, а затем щурит черные, спелыми вишнями, глаза, всматриваясь в мое лицо: — Опасная ты женщина… Давай вместе работать!

Я смеюсь. Такая работа не по мне. Однако следующим вечером пью в гостях у новой подруги Зойки смородиновый чай. Чисто, уютно, во дворе хрипло лает *алабай*. Варенье вкусное, пельмени домашние. Целый дом икон и народу — своих и чужих; кстати сказать, любые чужие для них тоже свои. Избалованные дети кричат, сморщенные крючконосые *мами (бабульки)* поют. Чего-то мне не хватает. Наверное, медведей, гитар и шампанского.

Говорят, наш «литературный» райончик — это город в городе, со своими законами, порядками и обычаями. Говорят, земля здесь дорогая — как раз впору для новых торговых площадей, ресторанов и спортивных комплексов. Говорят, цыганам тут не место. Именно поэтому наши бревенчатые с белыми ставенками домишки начинают сносить, потихоньку расселяя *ромалэ* в высотки и небоскребы спальных районов.

Не знаю, за что такая немилость…

Знаю одно: когда мой табор уйдет в небо, я надену длинную цветастую юбку и последую за ним…

P. S. Те авел бахтало кон кадо динела, мэ лачо.
Санакуно вастэ!
Счастья тому, кто прочтет это, хорошие мои.
Позолотите ручку!

И новый день наполнится теплом



Алесь ДУБРОВСКИЙ-
СОРОЧЕНКОВ

* * *

Как вечности нотой становится слово —
еще никто не постиг.
Поэт на Земле — не единственный голос,
ведь все Мироздание — стих.

Стучит метроном векового простора,
твердит стихотворный размер.
А я только слушатель вечного хора
небесных таинственных сфер.

* * *

Уходит из-под ног весь свет,
галактиками распадается,
китайской грамотой планет,
и звезд, и радостей, и бед,
а где найти того китайца,
кто бы открыл его секрет?

Ведь смысл уходит из-под ног,
и бездной кажется дорога...
Из-за того, что бросил Бог
под ноги эти очень много!

Перевод с белорусского Глеба ПУДОВА.

Левиафан

День состоит из 12 часов.
В последние три часа Бог играет с Левиафаном.

Талмуд

Наш мир от юности прекрасной
Играет в форму, цвет и звук
И красоты святое счастье
Не выпускает он из рук.

Пусть любопытствуют профаны
О назначении игры —
Играет Бог с Левиафаном.
Играет Он... На мир взгляни —

Законы в нем царят такие:
Млад или стар, мал иль велик,
Художник красоту творит
Меж играми и литургией.

Перевод с белорусского Александра РЫЖОВА.



Змитер АРТЮХ

* * *

Не лягу спать — душа вновь почернела,
Стихами надо обелить ее.
Возьму перо, бумагу я несмело
И напишу про детство я свое:
Про чистый мир, что мне ночами снится,
И про кресты, что берегут родных,
Про журавля и быструю синицу,
Нам не поймать их никогда двоих;
Туман над речкой, солнышком нагретой;
Коровы с пастбища далекого бредут;
И маттиолы запах до рассвета,
И комары... Вновь комариный гуд.
Не лягу спать...

* * *

Весна, конечно, скоро уж настанет,
И новый день наполнится теплом.
Все на места свои любовь расставит,
От темного очистится наш дом.

И чистою планета в Божьи руки
Вернется. Выстрел не вскипит над головой,
И зла не будет, и душевной муки.
В храм сердца постучи и дверь открой

Для светлых сил, весеннего настроя,
Для детской радости, что Бог нам дал.
И будь уверен: новое ты строишь.
Прекрасный миг для творчества настал!

Бусел

О, бусел, из дальней моей Беларуси
Ко мне поскорей прилети!
И ветер весенний моей Беларуси
На крыльях своих принеси!

Скажи ты мне, бусел, где серые гуси?
В каких зимовали краях?
Поведай мне, бусел моей Беларуси,
Как жито поет на полях.

О, бусел ты мой, белокрылый мой бусел,
Над морем чужим покружи
И путь покажи до моей Беларуси,
До Родины путь покажи.

* * *

Ах, этот запах на моей подушке
В том доме, где играет саксофон!..
Мне не уснуть. О солнечных веснушках
Напомнит этой музыкою он.

И вновь писать я буду, одинокий,
А сердце будет петь или… грустить.
Как тяжко жить, не слыша эти ноты,
Что счастьем светлым могут одарить!

Перевод с белорусского Глеба ПУДОВА.

«Я учился, влюблялся, дружил...»

Работая над составлением первой академической «Антологии современной русскоязычной поэзии Беларуси», собирая и систематизируя богатый материал, довелось познакомиться (очно или заочно) с множеством разных и интересных поэтических личностей. Разных и интересных своеобразием человеческих судеб, родом профессиональной деятельности, отношением к жизни и человеку, философией мышления, наконец, характером и методикой работы с художественным словом. Андрей Бокза, Ольга Норина и Любовь Битно, например, живут и работают в Минске, Елена Крикливец, Олег Сешко и Николай Наместников — в Витебске, Дмитрий Радиончик, Виктор Кудлачев и Мария Титарчук — в Гродно. Владислав Артемов, Иван Бурсов и Мария Малиновская выбрали своим постоянным местом жительства и работы Москву, Радислав Лапушин, Наталья Татур и Александр Габриэль перебрались в США, Феликс Чечик, Григорий Трестман и Юлия Драбкина — в Израиль.

Современная русскоязычная поэзия Беларуси — уникальное явление на литературной карте Европы. Продуцируя на почве белорусских и русских духовно-социальных и идейно-художественных традиций и ценностей, она является неотъемлемой частью одновременно белорусской и русской общественно-культурной среды. Это творчество русских по своему воспитанию, менталитету, национальному генетическому коду, характеру мироощущения и образного мышления, а также русскоязычных белорусских авторов. Развиваясь на острие интенсивного белорусско-русского общественно-политического и социокультурного диалога и взаимодействия, оно воплотило в себе эволюцию и формирование разных, иногда даже противоположных, а то и взаимоисключающих идейно-мировоззренческих и художественно-изобразительных констант и линий. Отражая особенности белорусской социально-исторической действительности, выявляя черты внутреннего мира современника, гражданина Беларуси, современная русскоязычная поэзия Беларуси представляет собой сложный механизм сочетания и взаимодействия богатства и многообразия русских и белорусских национально-культурных парадигм, архетипов народного образного мышления и моделей новой литературной ситуации, особенностей постмодернистского сознания, разных творческих индивидуальностей, стилевых течений, жанрово-структурных форм и др.

Среди десятков, несомненно, ярких и оригинальных художественных талантов обращает на себя внимание богатая жизненная и творческая судьба Феликса Чечика.

Феликс Михайлович Чечик родился 20 ноября 1961 года в г. Пинске. После окончания средней школы № 12 работал на Пинском судостроительно-судоремонтном заводе слесарем, машинистом башенного крана, рулевым-мотористом на буксире.



Был членом литературного объединения «Орбита» при городской газете «Полесская правда».

В 1982—1984 гг. служил в рядах Советской Армии (учебная часть в г. Минске и танковый полк в Забайкальском военном округе). После окончания армейской службы вернулся на родной завод.

Публиковался в газетах «Во славу Родины», «Заря», «Чырвоная змена», в журнале «Рабочая смена».

В 1988—1993 гг. Ф. Чечик учился в Литературном институте им. А. М. Горького (рекомендация Сергея Граховского, отделение художественного перевода с белорусского языка).

Стажировался в Институте славистики Кельнского университета (Германия).

В 1998 году репатриировался в Израиль.

Феликс Чечик — автор поэтических книг «Мерцающий звук» (М.: Рудомино, 1996), «Прозаизмы» (Иерусалим: Скопус, 2001), «Муравейник» (М.: Водолей, 2008), «Алтын» (М.: Русский Гулливер, 2009), «Ночное зрение» (Екатеринбург: Евдокия, 2011), «Покуда Том и Гек» (М.: Воймега, 2013), «Стихи для галочки» (М.: Русский Гулливер, 2014), «Неформат» (М.: Ридеро, 2015), «ПМЖ» (М.: Ридеро, 2016).

Публиковался в авторитетных журналах «Арион», «Знамя», «Новая юность», «Волга», «Интерпоэзия», «Урал» и др.

Лауреат «Русской премии» (2011) и «Международной Волошинской премии» (2013). Дипломант поэтической премии «Московский счет» (2008).

Член Союза писателей Израиля.

Живет в г. Нетанья в Израиле.

Творческая индивидуальность Феликса Чечика развивалась в русле ведущего в белорусской поэзии лирико-повествовательного художественно-стилевого течения. Его поэзии свойственно органическое сочетание элементов объективно-повествовательного, социально заангажированного и субъективно-лирического, духовно-чувственного начал, внимание к аспектам предметного наполнения человеческой жизни и внутреннего мира личности. Стихи поэта воплощают переплетение, с одной стороны, событийной информационности и сюжетной новеллистичности, а с другой — реальной лирической эмоции, искреннего глубокого чувства. Они продуцируют одновременно как отражение, переживание и обращение.

Предлагаю читателям журнала «Нёман» подборку новых стихов Феликса Чечика.

Микола МИКУЛИЧ

Феликс ЧЕЧИК

Возвратиться — никогда не поздно

* * *

Я выйду из леса. Я стану как вы,
Точнее, прикинусь таким,
лишь на ночь снимая парик с головы,
с лица опротивевший грим.

На двух, чтобы не отличаться от вас,
я буду ходить, семеня,
и только огонь непогашенных глаз
нет-нет да и выдаст меня.

Заплачет ребенок в ночной тишине,
и мать не поймет отчего,
бедняжка, она обратится ко мне,
чтоб я успокоил его.

И я колыбельную песню спою,
и он как убитый уснет,
обняв по-звериному морду мою
и в теплый уткнувшись живот.

* * *

Лежать, по сторонам глазея,
в коляске светло-голубой,
затылком чувствуя, что фея
простерла крылья над тобой.

И делать ручкою прохожим,
и улыбаться им в ответ.
И днем весенним, днем погожим
нелишним будет этот свет.

А то, что набежали тучи
и дождь заморосил опять,
так это даже лучше — лучше
под шум дождя младенцу спать.

Чуть набок съехала панама.
И слышится сквозь сон и гам,
как выговаривает мама
не в меру шумным воробьям.

* * *

Состарюсь на твоих глазах;
и отразится в них:

не вечный жид, а вечный страх —
моей любви двойник.
В них отразится ужас мой,
как в зеркале солдат,
с войны вернувшийся домой
в послевоенный ад.

* * *

Все путем, и сомнения нет —
диалектика, брат.
Ты когда-то смотрел на рассвет,
а теперь — на закат.

Ты смотрел на рассвет не дыша
и боялся спугнуть,
и росла у ребенка душа,
как в термометре ртуть.

Но важней и дороже смотреть
на закат старику —
и в закате увидеть не смерть,
и не тлен и труху,

а возможность, уйдя далеко,
разминуться с концом
и рассветное пить молоко
желторотым юнцом.

* * *

И небо высохло, и вычерпали Пину
навечно, — ну и пусть,
что список кораблей сгорел, но половину
я помню наизусть.

Мне хватит за глаза и половины списка,
я четверть века с ним
стою, как идиот, на набережной Пинска,
глотая горький дым.

Он в сердце у меня, как если бы скрижали,
зарубки, узелки…
Горели корабли, и ротозеи ржали
на берегу реки.

* * *

И. Евсе

Мороз за тридцать, школа на замке,
белым-бело, и лед на речке звонок,
и руки моей бабушки в муке,
и сдобных булок запахи спросонок.

Спи — не хочу, но манит запах сдоб
с изюмом, и особенно с корицей,
и соблазняет за окном сугроб
возможностью по шею провалиться.

Умыться кое-как и, на ходу
дожевывая, обжигаясь, булку,
со сборной Тупика летать по льду
и проиграть с позором Переулку.

Домой вернуться засветло, пока
январский ветер не пригонит стужу.
На батарее форма Третьяка
оттаивает, образуя лужу.

А сам Третьяк уснул без задних ног,
и Третьяку всю ночь кошмары снятся:
доска, Ньютон, спасительный звонок
и физик, так похожий на канадца.

* * *

воробьи и трясогузки
пели песни не по-русски
у могилы на виду
в мандариновом саду
у покойницы старухи
на груди лежали руки
выражение лица
в песню вслушивается

Родители

1

это присказка это не сказка
сказка будет потом а теперь
надо мною взлетает указка
и за мной закрывается дверь
и вдогонку учителя голос
без родителей не приходи
не приду никогда раскололось
сердце надвое пусто в груди

2

Господи, освободи из клетки
и убереги от чепухи,
дай мне постоять на табуретке,
с выражением прочесть стихи.

Я не буду кукситься и дуться.
Я хочу, обиды не тая,

только посмотреть, как пьет из блюдца
чай вприкуску бабушка моя.

Снова папа молодой и мама
молодая жизни посреди.
Детства унизительная драма
и восторг сегодняшний в груди.

Времени остатки и объедки…
Что там за окном? Ноябрь-май!
Господи, освободи из клетки,
постоять на табуретке дай.

Я стою, и нет меня счастливей.
Я стою и не скрываю слез.
У меня на сердце майский ливень
и ноябрьский на душе мороз.

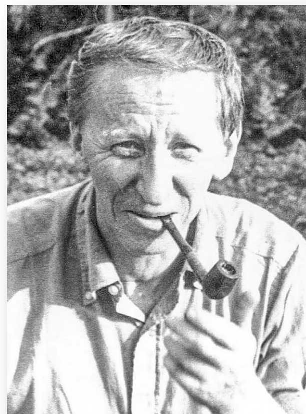
Я стою, и надо мною звездно.
Я стою, и подо мной вода.
Возвратиться — никогда не поздно.
Поздно. Не вернутся никогда.

3

«журавли» не гамзатова
в переводе н. гребнева
из того невозвратного
незабытого времени
в исполнении пьяного
папы тридцатилетнего
сплю и слушаю заново
забывая что нет его

* * *

Я учился, влюблялся, дружил,
я был счастлив, как не был ни разу:
посреди разоренных могил,
но невидимых сердцу и глазу.
Что ты скажешь теперь, балабол?
Теплотрасса нуждалась в ремонте!
С пацанами играли в футбол
черепами Рахели и Моти.
И пока не ударил мороз
мы играли на улице нашей:
черепами Исаков и Роз,
черепами Дебор и Менашей.
Я стоял на воротах. Я был
вратарем, подающим надежды.
Я учился, влюблялся, дружил.
Я был счастлив. Закройте мне вежды.



Джо АЛЕКС

В бесшумном полете гналась я за ним[*]

Повесть

Глава седьмая

...прежде чем мы поговорим с этой семейкой...

— Вот именно, — согласился Джо. — Я думаю, что мы вообще собрали уже очень много информации и следует ее как-то рассортировать, прежде чем мы поговорим с этой семейкой.

Паркер вынул блокнот и карандаш.

— Запишем, — сказал он. — Я люблю, когда все на бумаге.

— Отлично. Итак, на месте преступления или, если угодно, несчастного случая, хотя я лично предпочитаю слово «преступление», мы обнаружили следующие факты, важные для расследования:

1. Два «прощальных» письма якобы самоубийцы —

а) письмо «а» лежало на столе перед покойным и содержало нечто вроде исповеди. В нем сэр Гордон утверждал, что погибает от собственной руки, поскольку в качестве финансового эксперта пренебрег своими обязанностями ради некой материальной выгоды... На этом письме имеются отпечатки пальцев сэра Гордона, но эксперт по дактилоскопии обращает внимание, что они выглядят неестественно. Кроме того, мы выяснили, что это письмо должно было быть написано прежде, чем в пишущую машинку, стоящую в кабинете, вложили свежую ленту, которая там сейчас находится;

б) письмо «б» также лежало на столе, но было прикрыто переплетенной рукописью, в которую сэр Гордон как раз вносил поправки. На нем нет никаких отпечатков пальцев, а эксперт утверждает, что они были стерты. Это письмо, как мы выяснили, было единственным документом, напечатанным на стоящей в кабинете пишущей машинке, после того как в нее была вложена свежая лента. Горничная Агнес Уайт слышала, когда сэр Гордон вернулся из сада, а потом слышала, как он печатал... Таким образом, можно предположить, что это он написал письмо «б»...

— Подожди... — Паркер покачал головой. — Если сэр Гордон написал письмо «б», в котором он прощается с жизнью из-за того, что его жена любит другого, а он не хочет калечить ее жизнь, то, в таком случае, вполне вероятно, что он все же совершил самоубийство, и тогда я не понимаю, зачем мы должны...

— О, нет... — Джо встал и подошел к другу. — Я сказал «можно предположить»... Но ведь мы не знаем, почему именно на этом письме нет отпечатков пальцев сэра Гордона, в то время как на другом, написанном гораздо раньше и с

---

[*] Окончание. Начало в № 5 за 2018 г.

применением другой, старой ленты, — они есть. Кроме того, мы не знаем, зачем кто-то стер его отпечатки пальцев с кофеварки, из которой он налил себе и выпил этот злосчастный кофе, а также с рукоятки двери, через которую он вошел из холла в кабинет. Ладно, Бен, — это может подождать. Но хуже того: почти все указывает на то, что сэр Гордон вовсе не собирался в эту минуту совершать самоубийство. Но идем дальше. Кроме этих двух писем мы обнаружили в кабинете:

2. цианистый калий в капсуле, помещенной в маленькую коробочку, которая находилась в боковом кармане брюк сэра Гордона;

3. бабочку в корзине для мусора, а на ее месте в застекленном ящике голову, вырезанную из фотографии на столе. Кроме того, недостает ножниц, которыми была проделана эта операция. Отпечатков пальцев на ней мы пока не знаем, но скоро узнаем, когда придет ответ вашего эксперта. Только вот…

— Только что? — Паркер поднял голову, склоненную над блокнотом. Его рука с карандашом застыла неподвижно.

— Я думаю о том, что здесь стерто слишком много отпечатков пальцев, чтобы они могли иметь большое значение… — пробормотал Джо. — Кажется мне, что это ложный путь…

— Но во всяком случае, я хотел бы знать, кому они принадлежат, — сказал Паркер. — Человек, который оставляет отпечатки своих пальцев, должен нам объяснить, откуда они там взялись. Помнится, ты сам говорил, что на этот раз для тебя очень важны дактилоскопические экспертизы…

— Да, — подтвердил Алекс. — Очень. Но несколько иначе. Сейчас меня больше всего интересуют те отпечатки, которые были стерты.

— Ладно. Идем дальше, — Паркер снова приготовился записывать.

— На чем мы остановились? Ага, на бабочке и фотографии. Дальше следует:

4. Чашка, содержащая цианистый калий, из которой сэр Гордон выпил кофе. На ней имеются отпечатки пальцев, принадлежащие только ему самому и горничной, а это указывает на то, что либо его отравила горничная, либо отравился он сам, либо…

— Либо?

— О, нет-нет, ничего. Поехали дальше:

5. На столе лежат переплетенная машинописная рукопись со свежими поправками, авторучка, которой неизвестно почему он не подписался ни под одним из «прощальных» писем, и блокнот с тиснением IN MEMORIAM, в котором покойный сделал несколько любопытных записей:

19. IV (то есть позавчера). «Проверить заказ авиабилетов» (вероятно, в Америку)… «Р. Пусть звонит С., что мы приезжаем на уикенд». (Это тоже нетрудно: личного секретаря зовут Роберт Рютт, и таким образом, обе буквы «Р» подходят, а брата зовут Сирил, и он живет здесь.

20. IV (то есть сегодня). «Сжечь и помнить о разложенной работе… Велеть ему написать несколько слов. Сжечь!!!» (Это уже интереснее. Может относиться к какой-то работе, о которой, впрочем, и идет речь.)

— Сегодняшняя дата? — Паркер покачал головой. — Это означает, что он сделал эту запись, вернувшись с охоты на бабочек…

— Не обязательно. Это могут быть просто дела, намеченные на сегодняшний день, но записанные ранее. Однако идем дальше:

6. Существует целый ряд предметов, на которых нет никаких отпечатков пальцев, хотя они там должны быть:

а) оконная ручка, хотя Агнес утверждает, что была здесь около полуночи, когда все уже разошлись, открывала окно и, конечно, оставила свои отпечатки пальцев;

б) кофеварка, на которой, по вполне понятным причинам, отпечатки должны быть, потому что ночью ею пользовался сэр Гордон, приготовив себе чашку кофе и выпив ее вместе с цианистым калием;

в) банка с цианистым калием в шкафчике;

г) ручка двери, ведущей в холл, на которой нет отпечатков пальцев сэра Гордона, но зато есть отпечатки пальцев двух других людей. Но, быть может, сэр Гордон возвращался с охоты на бабочек в резиновых перчатках и потом положил их в ящик стола? Это объясняло бы вопрос с ручкой. Миссис Джудит Бедфорд могла, например, войти через эту дверь после ужина, а мистер Роберт еще утром, идя в кабинет. А сэр Гордон не оставил следов, потому что был в резиновых перчатках…

— А Агнес Уайт? — спокойно спросил Паркер. — Ведь она была здесь перед совершением преступления?

— А и в самом деле… — Джо потер лоб. — Агнес Уайт, которая была здесь и не оставила никаких отпечатков ни на ручке двери, ни на ручке окна… Совсем как призрак, не правда ли?

— Может, мисс Агнес Уайт здесь вовсе не было? — Паркер вздохнул и покачал головой. — А может, как раз этот знаменитый «великий финансовый деятель», идеальный супруг и гроза бабочек, и был виновником ее опасений и визита к врачу. Возможно, она его и убила? Могла же она приготовить ему кофе и подать в той чашке, на которой как раз и есть его отпечатки?

— Ба! — Джо развел руками. — Все возможно! Даже то, что вовсе не сэр Гордон написал это письмо, хотя Агнес слышала его печатающим, а отпечатки его пальцев есть на клавишах. Кто-то мог отравить его, например, сразу после прихода, в два часа, а потом принести в кабинет машинку и пальцами покойного отстучать этот недлинный текст… Однако, вернемся к окну. Если Агнес оставила на нем отпечатки, а теперь их там нет, это означает лишь одно: кто-то открывал окно, а затем стер следы. Но если это сделал Гордон-самоубийца, то какова была причина этого? Может, он что-нибудь выбросил в окно? Может, ему через окно что-то подали? В конце концов, это как-то можно будет установить… — Джо подошел к окну и открыл его. Перед ним, за узорчатой линией решетки виднелась большая клумба, а дальше шпалеры живой изгороди. Ближе, прямо под домом, тянулась мягкая клумба шириной в несколько шагов, на которой росли прекрасные пурпурные георгины.

— Далеко отсюда не удалось бы ничего выбросить, — сказал Паркер, — решетка мешает.

— Да, — Джо выглянул в окно. — Давай выйдем и посмотрим, что видно на клумбе.

Они вышли из кабинета и, минуя сержанта Джонса, который сидел на ступеньках лестницы и сразу вскочил при их появлении, направились в сад.

Но даже ребенок обнаружил бы, что под окном сэра Гордона Бедфорда давно никто не ходил. На вскопанной мягкой земле не было никаких следов. Поручив двум дежурившим во дворе детективам в штатском тщательно осмотреть все пространство в радиусе броска из окна, Паркер направился обратно к дому. Они снова оказались в холле. Джо взглянул на небольшой свернутый экран и складной столик у стены. Он потрогал эти предметы и вслед за Паркером вошел в кабинет. Не успел он закрыть дверь, как в нее постучали.

— Ну, что там? — спросил Паркер.

— Звонок из центра, шеф… — Джонс быстро шмыгнул с прохода, когда Паркер выходил.

Джо стоял посреди комнаты со сморщенным лбом, тупо уставившись на ковер.

— Эти письма… — пробормотал он. — Эти проклятые письма…

— Есть медицинское заключение, — сказал Паркер, появляясь на пороге. — Доктор Беркли ручается, что сэр Гордон умер между 3.30 и 4.30 утра. Причина — цианистый калий. Смерть наступила мгновенно…

— О Господи… — вздохнул Джо. — В таком случае, это он написал письмо, в котором утверждает, что покидает эту земную юдоль, чтобы не мешать своей благородной супруге… И Агнес Уайт, вероятно, действительно слышала его печатающим на машинке, прежде чем уснула. В таком случае, одна из моих трех концепций перечеркнута, и остаются только две.

— Каких еще три концепции?

— По поводу писем:

1. сэр Гордон хотел покончить жизнь самоубийством и написал одно из писем, но кто-то его убил, прежде чем он успел убить себя сам, и подбросил ему второе письмо, не зная о первом;

2. сэр Гордон совершил самоубийство, а кто-то, увидев его мертвым и не видя письма, которое было спрятано, подбросил ему второе;

3. сэр Гордон не писал ни одного из этих писем и был убит, а оба письма были подброшены нам с пока неизвестной целью.

Это единственные три возможности, которые по логике вещей могут иметь место: либо он написал одно письмо, либо написал оба, либо не писал ни одного. Теперь эта третья возможность отпала, и остались лишь две первые.

Утверждая это, Джо Алекс не знал, что вопреки всем правилам простейшей логики могла существовать еще одна возможность.

Но в эту минуту он о ней еще не думал.

Глава восьмая

Испуганный молодой человек

Роберт Рютт вошел в столовую, остановился в дверях и слегка поклонился обоим мужчинам, сидящим за столом. Джо поднялся со стула и указал ему место напротив. Этот молодой человек был явно перепуган: подходя, он споткнулся и чуть не упал. Тихо пробормотав «Извините!», сел и, опустив глаза, молча ждал.

— Мистер Роберт Рютт, не так ли? — спросил Джо.

— Да, сэр.

— Вы были личным секретарем покойного сэра Гордона Бедфорда?

— Да, сэр.

— С какого времени?

— Когда я закончил учебу в институте, профессор нанял меня как личного секретаря. А поскольку я с отличием окончил курс специализации по энтомологии, я также являюсь его ассистентом… то есть, являлся. О Господи… — он умолк и опустил глаза. Его худые нервные пальцы сплетались и расплетались на поверхности стола, очевидно, неосознанно для него самого.

— Я понимаю, что для вас это должно было быть большим потрясением, — Джо понимающе покивал головой, — но то, что должно случиться, случилось, и теперь надо собраться с силами. Не стоит так нервничать. — Джо вынул пачку своих любимых сигарет. — Хотите закурить?

— Нет, нет, спасибо. Я вообще не курю, — Рютт тряхнул головой. — Это ужасная история, сэр… Для меня это такая неожиданность, джентльмены…

— Значит, ничего не указывало на то, что сэр Гордон может посягнуть на свою жизнь? Вы ведь должны были хорошо знать профессора, будучи его ассистентом и личным секретарем, не так ли?

— Да, конечно!.. То есть, я действительно хорошо знал сэра Гордона, но ничего не указывало на это… Абсолютно ничего! Ведь даже в два часа ночи, когда мы расставались, он еще разговаривал с мистером Сирилом и со мной о книге и о лекциях, которые собирался прочесть в Соединенных Штатах. Сегодня он должен был лететь в Нью-Йорк вместе с женой… Мы подготовили все для него, трудясь день и ночь. Сэр Гордон был человеком неисчерпаемой энергии… И он был полон жизни... Даже сегодня, как я уже говорил… он условился встретиться с нами в семь утра, но потом, в два часа ночи, когда мы расставались, поменял время встречи на шесть. Видимо, он хотел еще раз внимательно просмотреть вместе со мной рукопись книги, которую я сегодня должен был доставить в издательство согласно его обещанию. А мистер Сирил должен был обеспечить фотографические материалы. Мы должны были окончательно установить места, где именно в тексте будут размещены снимки. Кроме того, сэр Гордон заканчивал работу над своей лекцией. Он должен был прочесть в Соединенных Штатах лекцию о перелетах ночной бабочки Atropos, то есть бабочки «Мертвая голова». Он провел в последние годы на эту тему блестящие исследования… Не знаю, известно ли вам, что «Мертвая голова» живет, вообще-то, в Северной Африке и на европейских побережьях Средиземного моря. А к нам и в Скандинавию прилетает лишь в конце мая и в начале июня…

Он умолк, увидев слегка нетерпеливый жест Паркера, но Джо быстро сказал:

— Нет-нет, пожалуйста! Расскажите нам. Мы хотим сориентироваться в последних трудах сэра Гордона, и хотя мало знаем о бабочках, но постараемся кое-что понять…

— Ну так вот, джентльмены, именно сэр Гордон, благодаря его тщательным и точным исследованиям, к которым привлек также ученых с континента, установил точные трассы перелетов бабочек «Мертвая голова», а также их образ жизни и повадки в пути и потом на месте, после прибытия. Но самое главное — он выдвинул очень интересную, и если можно так сказать, очень «современную» теорию по поводу некоего феномена, присущего этому виду бабочек. Дело в том, что бабочка «Мертвая голова», прилетев сюда, на север, откладывает яйца и воспроизводит здесь целое поколение потомства, которое, однако, совершенно не способно к дальнейшему размножению и определенным образом непродуктивно для биологического вида, являясь как бы побочным тупиком развития; поколение это вырастает, увядает и умирает, не имея способности к продолжению рода. Сэр Гордон опытным путем рассчитал и показал, какие именно бабочки из этого вида прилетают на север, почему они это делают, и самое главное — чему следует приписать этот удивительный для природы феномен неустанного производства потомства, обреченного на бесплодную гибель. Выводы из его работы, хотя и сенсационные для специалистов, требуют, тем не менее, тщательного изучения. Здесь следует учитывать и генетику, и климат, и всю историю планеты за последние десятки тысяч лет. Выводы из работы сэра Гордона были еще очень важны не только поэтому — они явились весомым вкладом в анализ развития видов не только насекомых, но и в изучение проблем развития общественной животной жизни и вторичных генетических признаков… Сэр Гордон выявил, между прочим, определенные и

очень высокие коллективные способности Atropos во время перелетов и доказал, что между отдельными особями в пути существует определенная система общения, позволяющая им не только отыскивать нужное направление (потому что эта способность есть у всех живых существ, осуществляющих сезонные миграции), но и места, где они могут найти питание… Как известно, Atropos питаются картофелем и поэтому… — он умолк, а потом тихо добавил: — Простите, я, кажется, слишком тут разговорился…

— Ну вот, теперь мы более-менее понимаем, над чем трудился профессор… — улыбнулся Джо. — А я опасаюсь, что без базовой подготовки в этом вопросе мы не продвинулись бы дальше. Однако, к сожалению, должны вернуться к нашему грустному делу и к нашим печальным обязанностям. Итак — вы абсолютно убеждены, что сэр Гордон до последней минуты не проявлял никакого желания совершить самоубийство? Он не был склонен, ну, скажем, к внезапным приступам депрессии? Разочарования? Он никогда не говорил с вами в пессимистических тонах о жизни, о людях или о своей работе? Ну, словом, вы понимаете, что я имею в виду…

— Да, сэр, я понимаю… — Рютт на секунду задумался. — Нет, сэр. Никогда. Напротив — сэр Гордон всегда производил на меня впечатление человека, который даже в моменты наивысшей усталости способен сохранять желание и волю к работе. Он был очень доволен своими последними достижениями и явно с подлинной радостью отдавал в печать свою книгу. Мне кажется, что отправляясь в Соединенные Штаты с лекцией, которая, по сути, была сокращенным вариантом его книги, он также чувствовал, что его там ждет большой и заслуженный успех… И хотя сэр Гордон в определенном смысле был специалистом в совершенно иной области — в экономике, — можно смело сказать, что те энтомологические исследования, которые он провел, уже в ближайшее время принесли бы ему мировую славу. Впрочем, он и так был одним из наиболее известных исследователей жизни ночных бабочек. Но энтомология — это такая наука, джентльмены, что многие выдающиеся ученые в этой области рекрутировались и рекрутируются из людей очень разных профессий. Наибольших достижений в знаниях о бабочках, пауках, пчелах и муравьях добились ученые, которые не были профессиональными зоологами…

— Да-да, понятно… А как, по-вашему: у сэра Гордона могла быть какая-нибудь причина для самоубийства?

— Причина, сэр?

— Да, то есть, не знаете ли вы о чем-нибудь, что могло бы подтолкнуть сэра Гордона к самоубийству, если бы он, скажем, совершенно неожиданно узнал об этом? — При этих словах Джо неподвижным взглядом всматривался в лицо молодого человека. Он заметил, что на лбу у Рютта появились маленькие капельки пота.

— Нет… Я не понимаю, сэр, о чем вы…

— Ну, может, будет проще, если скажу вам, что рядом с телом мы нашли письмо, в котором сэр Гордон утверждает, что он прощается с жизнью, чтобы дать возможность любимой им женщине жить с мужчиной, которого она, в свою очередь, любит… Прошу извинить меня за этот вопрос, но как человек, практически не расстающийся с Бедфордами, вы, быть может, имели возможность… которая позволила бы вам сказать, мог ли сэр Гордон написать такое письмо…

— Он… он это написал?… — прошептал Роберт Рютт и вдруг закрыл лицо руками. Но тут же выпрямился и опустил руки на колени. Джо заметил на его лице следы двух слезинок, которых молодой ученый не собирался скрывать. — Это ужасно, — прошептал он. — Нет, это невозможно… Он… он не относился к людям, которые могли бы уйти с чьего-то пути… Скорее

я подозреваю, что он мог бы убить такого человека и свою жену… Но.. но… — он развел руками и прошептал совсем тихо: — Нет, это ужасно…

— Я спрашивал вас, не заметили ли вы чего-то, что могло бы послужить оправданием такого письма?

— Кто? Я? — Рютт громко проглотил слюну. — Я? Нет, нет… — Потом вдруг повысил голос: — Нет, ну откуда я! Я всего лишь его секретарь. Если бы даже и что такое… я не смел бы даже видеть, но миссис Сильвия… Она вне всяких подозрений. Сэр Гордон окружал ее таким глубоким уважением… Нет-нет, точно нет.

— Ну хорошо, — вздохнул Алекс. — И вы напрасно так нервничаете. Вы ведь взрослый мужчина, а мы в данную минуту занимаемся расследованием, и нам нужна помощь, которую могут уделить люди, хорошо знающие и самого покойного, и отношения, которые царили в его окружении.

— Да, сэр, конечно, — прошептал Рютт и выпрямился на стуле, как школьник, которому сделали замечание. Но несмотря на видимые усилия, его глаза избегали встречи со взглядом Алекса, а пальцы сплетались и расплетались в неустанном, бессмысленном усилии.

— Возвращаясь к тому, что вы говорили ранее, — сказал Джо непринужденно, — такие собрания в шесть часов утра, после того как работа продолжалась до двух или трех ночи, я думаю не относились к обычному образу жизни и работы сэра Гордона?

— Что? А, да... скорее к обычному… Он всегда работал по ночам, когда было много работы, а обычно ее было очень много, потому что он ставил перед собой все более сложные задачи. Я привык к этому, хотя сначала и ощущал недосыпание. С другой стороны, потом обычно наступали периоды, когда я не был ему нужен, и тогда мог отсыпаться сколько угодно. Сэр Гордон не относился к людям, которые не замечают своих сотрудников.

— Значит, это смещение утренней работы на час не удивило вас сегодня в два часа ночи?

— Нет. Я работал до трех, закончил корректуру, поставил будильник на без четверти шесть, а когда проснулся, принял душ и спустился вниз.

Он вздрогнул.

— И обнаружили сэра Гордона мертвым, да?

— Да, сэр.

— И который тогда был час?

— Ровно шесть, сэр, минута в минуту. Сэр Гордон очень любил пунктуальность, и мы все приспосабливались к этому.

Алекс понимающе покивал головой. Он закурил, а потом, как бы между прочим, спросил:

— Вы упоминали, что сэр Гордон сначала условился с вами на семь утра, а затем перенес эту встречу на шесть. В каких обстоятельствах он договаривался с вами о встрече на семь?

— Я не понимаю, сэр?

— Ну, просто: когда он это вам сказал?

— Когда?.. Сейчас… А, за ужином. Мы все сидели за столом во время ужина, то есть: обе миссис Гордон, сэр Гордон, мистер Сирил и я. Вот тогда сэр Гордон и сказал: «Роберт, будьте готовы к тому, что ровно в семь утра я буду ждать вас в своем кабинете. Разумеется, я верю, что вы принесете готовую корректуру…» Я ответил, что, конечно, принесу, и немедленно после ужина сел за работу.

— И поэтому вы не ловили в тот вечер бабочек вместе с сэром Гордоном и его братом?

— Да, сэр, именно поэтому.

— А когда сэр Гордон поменял свое решение?

— Тогда, когда примерно без четверти два я пошел к ним в сад. Хотел спросить сэра Гордона, принести ему рукопись сразу после окончания корректуры или прийти с ней в семь. Но оказалось, что сэр Гордон собирается еще поработать над своим докладом, и поэтому договорился с нами на шесть, чтобы у него осталось больше времени на другие дела. После встречи я должен был отвезти рукопись книги издателю… Позже, когда мы вместе с мистером Сирилом поднимались по лестнице, он напомнил нам об этом еще раз. И это были последние слова, которые я от него услышал…

— При свидетеле?

— Не понимаю, сэр…

— Меня интересует, — терпеливо объяснил Алекс, — сказал ли сэр Гордон в присутствии какого-либо свидетеля о том, что ждет вас в шесть?

— Да, конечно. Мистер Сирил Бедфорд присутствовал при этом.

— И вы убеждены, что он помнит эти слова?

— Да. Ведь они и его тоже касались.

— Понимаю. И еще одно: мы обратили внимание на то, что в эту портативную пишущую машинку «Ундервуд» недавно поставили новую ленту. Не знаете ли вы, кто это сделал и когда?

— Знаю, сэр. Это я поставил новую ленту.

— Когда?

— В субботу утром. Я приехал раньше сэра Гордона и миссис Сильвии. В мои обязанности входила также подготовка рабочего места: пишущая машинка, карандаши, чернила, бумага, ну, все эти дела… Когда я приехал, то обнаружил, что лента уже изношена, и послал горничную за новой. Тут недалеко есть магазин с канцелярскими принадлежностями.

— А после замены вы или сэр Гордон писали на этой машинке?

— Я — нет. А сэр Гордон… пожалуй, тоже нет, хотя, конечно, я не могу за это ручаться. Он привез готовую машинопись своего доклада и работал только над стилистическими правками и возможным внесением новой информации. Он обычно вписывал это ручкой в машинопись. А у меня была машинопись его книги, и я работал над ее корректурой, проверяя соответствие данных и тому подобное. Никто из нас не пользовался машинкой…

— Понимаю. А как вы попали в кабинет сэра Гордона до его приезда? Насколько я помню, горничная сказала нам, что кабинет сэра Гордона обычно заперт на ключ во время его отсутствия.

— Да. Сэр Гордон дал мне ключ, когда я должен был ехать сюда. Горничная обязана убрать там до его приезда, а кроме того, как уже говорил, я должен приготовить кабинет к работе.

— Да-да, ясно… — Алекс покивал головой. — Сколько вам лет?

Рютт был так ошарашен неожиданностью этого вопроса, что в первую секунду не мог ответить.

— Я не понял, сэр?

— Но мой вопрос является одним из простейших вопросов в мире. Я спросил, сколько вам лет.

— Двадцать восемь, сэр.

— Так я и предполагал. А сэру Гордону было, кажется, пятьдесят восемь?

— Да, сэр. Но я не понимаю…

— Вы не понимаете очень и очень многих вещей, мистер Рютт. — Джо покачал головой. — А ведь вы с отличием окончили высшее учебное заведение. И казалось бы, что… Впрочем, не будем об этом. Пока что мы вас благодарим.

Рютт встал.

Джо тоже поднялся со стула.

— Ах да, еще одна мелочь, — он шлепнул себя по лбу, как человек, вспомнивший о чем-то. — Вы можете на минутку пройти в кабинет покойного? — Движением руки он указал молодому человеку на дверь, соединяющую столовую с кабинетом сэра Гордона. Джо пошел первым и открыл дверь. Рютт, идущий следом, остановился на пороге.

Паркер закрыл блокнот, в котором до сих пор делал какие-то записи, встал и тоже подошел к ним.

Джо приблизился к столу и, указывая на пробирки, вынутые из сумки, спросил Рютта:

— Скажите, — это те самые бабочки, которые профессор поймал вчера?

Рютт медленно подошел, бросая испуганные взгляды в направлении письменного стола, за которым сейчас никто уже не сидел, и склонился над пробирками.

— Наверно, да… — он по очереди осмотрел пробирки. — Да... Здесь четыре бабочки Atropos… А сэр Гордон говорил, что именно столько он поймал в эту ночь… Он сказал, что это исключительная удача, и пожалуй, был прав, потому что это редко случается в одном месте за одну ночь. Большего я не могу сказать, потому что не ловил с ними вчера… Мистер Сирил, наверно, лучше вам все расскажет… ведь он там присутствовал…

— Да, — кивнул Джо. — И еще последний маленький вопрос: не подходили ли вы в последнее время вот к этому окну?

— В каком смысле, сэр?

— Я спрашиваю, — терпеливо вздохнул Джо, — не приближались ли вы к этому окну сегодня утром, когда обнаружили здесь сэра Гордона? Вам ведь могло показаться, что он потерял сознание, и вы могли открыть окно, чтобы впустить сюда больше свежего воздуха? Я имею в виду такого рода действия.

— Нет, сэр, я не подходил к окну. Точно нет. Просто мне это не пришло в голову. Может, потому, что мы никогда не открывали окон в присутствии сэра Гордона… У него было воспаление суставов и ревматические изменения в костях, а поэтому сквозняк был для него просто убийственным. Во время приступов он так сильно страдал, что, боясь их, одевался намного теплее, чем это допускала температура, и строго следил, чтобы в доме не было сквозняков. У него сложился комплекс по этому поводу, если можно так выразиться…

— Ну что ж, спасибо вам еще раз. — Джо внимательно посмотрел на него. — Вы сообщили нам ряд ценных сведений. Надеюсь, что рассказали нам все, что знаете, отвечая на наши вопросы? Вы ведь знаете, что утаивание от лиц, ведущих расследование, каких-либо фактов, могущих способствовать установлению истины, является преступлением, не так ли?

— Да, сэр… — прошептал Рютт… — Я догадываюсь, что так должно быть… — он отвел в сторону взгляд, избегая встречи с настойчивым взглядом Алекса. — Я… я уже могу уйти?

— Да, конечно, конечно…

Джо еще некоторое время смотрел на закрытую дверь, за которой исчез Рютт, потом медленно повернулся к Паркеру.

— И что ты, Бен, думаешь об этом красивом молодом человеке?

— Думаю, что он действительно красив внешне. Это правда. — Паркер повернулся в сторону двери в столовую и открыл ее. — Но я также думаю, что он не сказал нам всего, что знает. Он что-то скрывает, Джо, и если бы не то, что я не хотел тебя прерывать, а также не то, что, полагаю, ты отпустил его лишь затем, чтобы он «дозрел» в одиночестве, я бы не дал ему так легко выкрутиться этими любезными «да, сэр, нет, сэр, не понимаю, сэр»… Но,

впрочем, он у нас под рукой, и думаю, что после того, как мы побеседуем с остальными домочадцами, стоит еще раз к нему вернуться.

— И я так же думаю. — Алекс вошел в столовую и сел за стол. — Что теперь, Бен?

Но прежде чем Паркер успел ответить, раздался стук в дверь, и сержант Джонс появился на пороге, держа в руке длинный, узкий запечатанный конверт, явно официальный.

— Пакет из Скотленд-Ярда, сэр… Водитель сказал, сэр, что вы ему сказали, сэр, чтобы он вам сразу сказал, как только придут результаты отпечатков пальцев на том ящике с бабочками и этой головке, вырезанной из фотографии. Так вот, они еще не пришли.

— Хорошо… — Паркер кивнул, взял конверт и подошел с ним к столу. Джонс бесшумно отступил на свой пост, тихонько закрыв за собой дверь.

— А тут что такое? — с любопытством наклонился Алекс через стол.

Паркер распечатал конверт.

— Когда я только сюда прибыл, сразу же передал в центр имена всех домочадцев и убитого. Хотел знать, есть ли в наших архивах что-нибудь интересное о ком-то из этих людей. Они ведь там собирают данные о сотнях тысяч людей, и всегда есть шанс, что это может помочь в… — он не закончил предложения, пробежал глазами лист бумаги, приколотый к другому, меньшему конверту, который находился внутри большого, и протянул этот лист Алексу.

Алекс прочел:

«По вашему запросу архив сообщает данные на:

1. Сэр Гордон Бедфорд — никаких конфликтов с законом и никакого контакта с каким-либо делом, которое рассматривалось судом или находилось в процессе расследования, никогда не имел.

2. Сильвия Бедфорд — также нет.

3. Джудит Бедфорд — также нет.

4. Агнес Уайт — также нет.

5. Роберт Рютт — также нет.

6. Сирил Бедфорд — приложены копии из его дела.

Прежде чем Алекс успел дочитать этот список до конца, Паркер распечатал меньший конверт. Он вынул из него несколько листов, густо покрытых машинописным текстом, и положил их перед собой.

— Слушай, — сказал он минуту спустя, — слушай внимательно, потому что это интересно…

— Ну и что там такого? — заглянул ему через плечо Алекс. — Может, им удастся кратко объяснить нам, что мистер Сирил Бедфорд убил своего брата, и тогда, наконец, я смогу спокойно вернуться в мою уютную, тихую, теплую квартиру и... уснуть... Этот кофе совсем не помог мне так, как я того хотел…

— Нет, ты только послушай… — Паркер отмахнулся рукой от слов Алекса. — Нет, правда, послушай! Я тебе быстро прочту.

Он начал вполголоса читать.

Джо откинулся на спинку стула, и хотя со стороны могло показаться, что он и в самом деле задремал, ни одно слово не ускользнуло из его напряженного внимания.

Глава девятая

Мистер Сирил Бедфорд

— «СИРИЛ БЕДФОРД, родился 27.10.1914 г. в Лондоне, сын Эдварда и Дианы из дома Барнет, рост 6 футов и 2 дюйма, вес около 220 фунтов, глаза голубые, волосы блонд светлые, особые приметы отсутствуют, капитан танковых войск в запасе, награжденный многочисленными медалями за отвагу во время последней войны…

АРЕСТОВАН 10 февраля 1951 года по подозрению в фальсификации подписи и попытки снять при помощи фальшивого чека наличные средства на сумму фунтов 1000 со счета своего брата сэра Гордона Бедфорда в лондонском центральном отделении Банка Беркли. Чек не подвергался сомнению, но учитывая высокую сумму, банковский служащий связался по телефону с владельцем счета, который решительно отрицал, что выставлял когда-либо такой чек на предъявителя… В ту минуту сэр Гордон Бедфорд еще не знал, что чек хотел обналичить его родной брат. СИРИЛ БЕДФОРД был немедленно арестован. В тот же день пополудни дополнительно было получено заявление от фирмы «Безег и Безег», которая занимается торговлей фотоаппаратами и фотооборудованием. Обвиняемый был коммивояжером этой фирмы и распространял ее товары. Проверка, проведенная в этот день, выявила недостачу товара на сумму 980 (девятьсот восемьдесят) фунтов, без внесения оплаты на счет фирмы. В тот же день вечером, во время предварительного допроса, обвиняемый признался в совершении как одного, так и другого преступлений. Однако дело не было направлено в суд, поскольку утром следующего дня оба обвинения были отозваны, а задержанный отпущен на свободу, как того требует закон. ПРИМЕЧАНИЕ: Из конфиденциальных источников известно, что сэр Гордон Бедфорд, узнав, что чек подделал его собственный брат, немедленно отозвал заявление о подделке. Что касается фирмы «Безег и Безег», то согласно полученной информации, сэр Гордон воспользовался в данном случае своим влиянием и немедленно покрыл расходы, возникшие в результате недостачи в кассе этой фирмы…»

Паркер прервал чтение и посмотрел на Алекса:

— Я думаю, нетрудно было объяснить фирме «Безег и Безег», что она должна немедленно принять деньги и отозвать свое заявление. Сомневаюсь, найдется ли в Англии предприятие, которое рискнуло бы без крайней нужды вызвать недовольство одного из самых уважаемых коронных экспертов по импорту и экспорту… Однако, читаю дальше:

ИНФОРМАЦИЯ О БИОГРАФИИ И ХАРАКТЕРЕ СИРИЛА БЕДФОРДА

Сирил Бедфорд — человек необыкновенно смелый, что подчеркнуто несколько раз в армейских приказах о его награждении, — с детства проявлял бунтарские наклонности. В пятнадцатилетнем возрасте он убежал из дому, был пойман в одном из портов, когда пытался «зайцем» переправиться через океан, и возвращен в родительский дом. Позже он учился в Кембриджском университете, который и закончил, но уже там пользовался славой гуляки и любителя доступных женщин. Затем он играл на скачках и в карты. После смерти отца он в течение нескольких лет растратил свою половину наследства, которая составляла солидную сумму — около восьмидесяти тысяч фунтов стерлингов, а его долю наследства в виде части родного дома в околице Ричмонда выкупил у него старший брат Гордон. Закончив учебу и промотав наследство, Сирил Бедфорд попал не в лучшую компанию букмекеров и владельцев нелегальных игорных домов в квартале Сохо. Длительное время находился под наблюдением Скотленд-Ярда, однако не удалось обнаружить в его действиях каких-либо серьезных правонарушений, которые позволяли бы поставить его перед судом. За год до начала войны он познакомился с Джудит Спенсер, которая старше его на восемь лет, и женился на ней. Она имела определенную сумму денег в банке и земельное владение в графстве Сюррей. Как земельное владение, так и деньги жены, Сирил Бедфорд, согласно нашим сведениям, успел проиграть настолько точно до начала войны, что когда он был призван в армию, его жена не имела бы никаких средств на жизнь, если бы

не сэр Гордон Бедфорд, который поместил ее в родовом имении — доме Бедфордов в Ричмонде, и обеспечивал ее содержание. После окончания военных действий и демобилизации Сирил Бедфорд к жене не вернулся. Он перепробовал множество профессий. В определенный момент недоставало лишь мелочи, чтобы он был осужден за участие в производстве и распространении порнографических материалов вместе с неким Дэвидом Шинглем (неоднократно отмеченным в наших реестрах). Но и на этот раз не удалось собрать достаточного количества доказательств его вины. Впоследствии Сирил Бедфорд пытался зарабатывать самыми разными способами, пока, наконец, не устроился на работу в фирму «Безег и Безег». Подробности, относящиеся к окончанию его работы, указаны в начале этой папки. После освобождения от ареста Сирил Бедфорд вернулся к жене и стал жить вместе с ней в родном доме. Есть основания предполагать, что сэр Гордон Бедфорд, являясь человеком безукоризненной репутации, оказал на брата определенного рода давление, вероятно, сохраняя материалы, позволяющие в случае надобности возобновить процесс о фальсификации чека. Из конфиденциальных источников нам известно, будто он пригрозил брату тюрьмой, если тот не будет вести себя соответствующим образом, не накликая позор на древнее имя Бедфордов. Иначе трудно объяснить факт возвращения Сирила Бедфорда к жене и его уединенный образ жизни, который он начал вести с той поры…

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА, следующая из анализа вышеизложенной информации: очень развит и исключительно одарен, как утверждали в школе, а впоследствии и в университете. Блестящий ум. Обладает манерами и образом поведения подлинного джентльмена. К сожалению, дурные влияния всегда брали в нем верх над добрыми…»

Паркер вложил бумаги обратно в пакет.

— Ну, и это пока все. Есть там еще отпечатки пальцев и незначительные подробности биографии…

— Ваш архив заслуживает восхищения, — Джо выпрямился на стуле и зевнул. — Я много бы дал, чтобы прочесть когда-нибудь, что Скотленд-Ярд думает обо мне. «Согласно имеющимся у нас данным, мистер Джо Алекс является человеком самонадеянным, легкомысленным и странноватым…» А, Бен?

Паркер отрицательно покачал головой.

— Ты никогда не переступил границ закона… А если бы переступил, сведения о тебе собирались бы систематически или дополнялись бы от случая к случаю на протяжении всей твоей жизни… Мистер Сирил Бедфорд даже понятия не имеет, как много мы о нем знаем…

— Может, и не имеет… Но это ничего нам не дает… Разве только если основной целью твоего пребывания здесь является желание импонировать мистеру Сирилу Бедфорду количеством информации, которую ваши заушники вписали в книгу его жизни… Может, пригласим его прямо сейчас? Его биография меня впечатляет. Этот сэр Гордон со своими бабочками, торгово-экономическим талантом, безукоризненным авторитетом, нелюбовью к табаку и алкоголю как-то меньше мне по вкусу, чем его блудный братец… Но давай побеседуем с этим сорокасемилетним сорванцом. Может, он скажет нам что-нибудь интересное?

Паркер кивнул. Потом встал, подошел к двери и что-то шепнул невидимому Джонсу. Некоторое время он молча ждал, потом раздался стук, Джонс просунул в щель голову и сказал: «Мистер Сирил Бедфорд». А потом, впустив объявленное лицо в столовую, закрыл дверь. Паркер, как бы не замечая всего этого, вынул свой блокнот и начал переворачивать страницы.

Алекс поднялся с места:

— Будьте добры, присядьте и простите меня, что предлагаю это в вашем собственном доме, — непринужденно сказал он и сел сам, разглядывая новоприбывшего.

Даже если бы Джо не знал, что этот человек является братом сэра Гордона Бедфорда, он легко догадался бы об этом с первого взгляда.

Сирил Бедфорд был человеком огромного роста, а его плечи были, пожалуй, столь же широкими, как и у брата. И хотя Джо никогда не видел знаменитого исследователя бабочек живым, он готов присягнуть, что его движения не были даже наполовину такими легкими, как движения человека, который сейчас сел перед ним, достал трубку, спички и тампер для уплотнения табака в трубке. Когда их взгляды встретились, Алекс понял, почему Агнес Уайт назвала Сирила красивым мужчиной. Он и в самом деле был очень интересным. Джо еще с минуту молча приглядывался к нему, ощущая нечто вроде разочарования, и вдруг понял, что чувство это возникло потому, что он не обнаружил на его лице никаких черт слабости, которые предполагал увидеть по прочтении Паркером биографии этого человека. У физиономиста возникло бы, вероятно, много трудностей с объяснением того, почему Сирил Бедфорд не стал известным повсюду уважаемым гражданином, а вынужден вести гротескную жизнь в доме своего детства, рядом с женой, которую не любил, находясь на иждивении у брата, который, наверно, презирал его, если даже и испытывал к нему какие-то родственные чувства.

— Мы позволили себе пригласить вас сюда в связи с трагическим событием, жертвой которого пал ваш брат, сэр Гордон Бедфорд, — негромко сказал Джо. — Если вы не слишком потрясены, мы были бы очень благодарны вам за оказанную нам помощь… — Джо на секунду умолк, но сидящий напротив него мужчина не шевельнулся. Джо продолжал: — Если я сказал, что мы нуждаемся в помощи, то хочу сразу добавить, что обстоятельства смерти сэра Гордона ставят полицию перед весьма трудной задачей.

После этих слов Сирил Бедфорд вздрогнул.

Паркер перестал писать и поднял голову.

— Не будете ли вы так добры выражаться яснее? — произнес Сирил Бедфорд настолько спокойно, что на этот раз вздрогнул Алекс. — Я пока не могу в точности отдать себе отчет в том, чем кто-либо может в этом случае помочь. Ведь смерть — это событие необратимое.

— И преступление тоже, — кивнул головой Алекс. — Но я ведь не просил у вас помощи вашему трагически погибшему брату, так как это находится вне границ человеческих возможностей. Для меня важно, чтобы вы просто помогли нам, людям, которые пытаются служить закону и правосудию на этом свете. Дело в том, что ваш брат был убит.

Сидящий напротив Алекса мужчина прикрыл на несколько секунд глаза и снова открыл их.

— Вы в этом абсолютно уверены?

— Пожалуй, да…

Снова возникла пауза. Сирил Бедфорд закурил трубку, утрамбовал тампером тлеющий табак и начал медленно выпускать клубы дыма.

— Не могли бы вы рассказать нам, как прошли последние минуты, которые вы провели со своим братом? — Джо с наслаждением втянул в ноздри запах дыма из трубки. «Средний Капстан» — мысленно определил он сорт табака.

— Да, конечно... — Сирил кивнул и отложил трубку. — После ужина мы вместе пошли ловить бабочек. Ассистент моего брата, Роберт Рютт, был занят корректурой машинописи, которую утром должен был отнести издателю, а поскольку ночь была красивой и как раз в это время наступил

период усиленной миграции «Мертвых голов», мой брат непременно хотел провести несколько часов у экрана, специально приспособленного для их приманки. Таким образом, мы пошли вместе. Я занимался, как обычно, усыплением насекомых, а Гордон ловил их. Он умел очень ловко делать это. Вся проблема здесь в том, чтобы не повредить крылышки этих нежных созданий, когда они сильно трепещутся, пытаясь вырваться на свободу. Охота, действительно, удалась на славу. Гордон поймал целых четыре «Мертвые головы» и был в превосходном настроении, поскольку их концентрация в этих окрестностях именно в это время года полностью совпадала с его теоретическими расчетами. Мне трудно сказать, с какими именно расчетами, поскольку… — он на секунду умолк, и Алексу показалось, что легкая тень усмешки скользнула по кончикам его губ, — поскольку я сам терпеть не могу бабочек, а особенно «Мертвых голов». Но так или иначе, мы их ловили, пока время не приблизилось к двум ночи. Рютт спустился сверху, поскольку у него к брату был какой-то вопрос, и мы все вместе вернулись в дом. Роберт и я поднялись наверх, а Гордон остался внизу. Сегодня он должен был лететь в Америку и хотел еще поработать над своим докладом. С нами обоими он условился встретиться сначала в семь утра, но затем передвинул время на шесть, поскольку у него оставалось еще немного работы, связанной с книгой, а потом он хотел пару часов поспать и еще до отъезда закончить с Рюттом корректуру доклада.

— Понимаю. И что вы делали, отправившись наверх?

— Я пошел в фотолабораторию, чтобы проверить сохнущие там снимки. Я находился там минут 12—15, когда туда пришел Гордон.

— Ах, так значит, ваш брат был наверху после того, как вы расстались у лестницы?

— Да… — Сирил поднял брови с выражением легкого удивления. — Конечно, был. Он посмотрел снимки, и мы еще с минуту говорили с ним о том, что он хочет взять с собой комплект снимков Atropos в Америку, а потом он вышел…

— Пошел он в свою спальню или вниз в кабинет?

— Полагаю, что скорее вниз. Он ведь не прерывал работы. Перед его уходом я сказал, что закончу около трех и, вероятно, вздремну. Поскольку мой будильник очень громкий, в отличие от будильника Рютта, я попросил брата, чтобы он разбудил меня в половине шестого. Хотелось спокойно поспать часа два, так как я знал, что день будет очень насыщенным, вплоть до самого вечера — до отъезда Гордона в аэропорт…

— А в котором, примерно, часу ваш брат был у вас в фотолаборатории?

— Я могу вам сказать это довольно точно, — спокойно ответил Сирил. — Когда мы разговаривали о бюджете, я взглянул на часы и помню, что тогда было ровно два часа двадцать пять минут…

— Большое спасибо. А что было потом?

— Я работал еще минут двадцать — разложил снимки, с которыми надо было спуститься в шесть, сосчитал их, проверил, все ли отпечатки вышли качественно, и сложил с другими — часть снимков у меня уже были приготовлены раньше… Потом пошел к себе в спальню, разделся, умылся и сразу уснул…

— И который тогда был час, приблизительно?

— Прежде чем потушить свет, я снова взглянул на часы, и кажется, тогда было без пяти три… или пять минут четвертого… Сейчас уже точно не могу вспомнить. Я ведь был уже совсем сонный и не знал, что это когда-нибудь может иметь какое-то значение… А разбудил меня Рютт… Разумеется, сам я не проснулся раньше, и Гордон тоже не пришел меня будить, потому что, как оказалось, был уже мертв.

Он говорил все это спокойным тоном, модулируя голос и не пытаясь создать впечатление человека, подавленного внезапной, невосполнимой утратой.

Алекс глубоко вздохнул и быстро произнес, как бы не задумываясь о том, что говорит:

— Прошу меня извинить, но вы не выглядите, как человек, потрясенный смертью родного брата.

Сирил Бедфорд вынул изо рта трубку, которую как раз туда вложил, и некоторое время смотрел на Алекса молча. Потом, наконец, сказал:

— Бывали минуты, когда я ненавидел его больше, чем кого бы то ни было на свете. Думаю, мы никогда не любили друг друга, даже когда я был ребенком, а он подростком.

— Спасибо за искренность. Хочу обратить ваше внимание на то, что мы примерно знаем причины, вследствие которых вы живете в этом доме и не выселяетесь из него. В архиве Скотленд-Ярда есть подробное описание некоего старого дела. Вы признаете, что являетесь человеком, для которого смерть сэра Гордона была бы крайне выгодной?

— А, так вы знаете о грехах моей молодости… — Сирил улыбнулся. — Да, смерть Гордона, безусловно, не самое печальное событие в моей жизни. Однако я буду вынужден разочаровать вас, если спросите, убил ли я своего брата. Нет, я не убивал его.

— А кто, по вашему мнению, мог его убить?

Сирил Бедфорд быстро поднял голову и некоторое время внимательно вглядывался в глаза сидевших перед ним мужчин, затем потянулся к потухшей трубке и долго разжигал ее, явно размышляя над ответом.

— Не знаю, — сказал он, наконец, непринужденно, быть может, даже слишком непринужденно. — А если бы даже знал, то не сказал бы вам.

— Почему?

— Потому, что мой покойный брат, несмотря на свою пресловутую порядочность, честность и постоянство характера, по моему скромному убеждению, был лишен каких-либо человеческих черт. Он был кошмарным, нетерпимым ипохондриком и дураком, отравляющим жизнь всем вокруг. Кто бы его ни убил, если, конечно, это не самоубийство (а я сильно сомневаюсь, что это самоубийство, ибо тогда это было бы первым человеческим импульсом, который я бы у него увидел), так вот, кто бы его ни убил, тот оказал мне огромную услугу. Надеюсь вы не допускаете мысли о том, что следует доносить на своих доброжелателей? — Он умолк и внезапно стал серьезным. — Вы не считаете, что самоубийство Гордона также возможно?

— А какая, по-вашему, могла быть причина этого самоубийства?

Сирил Бедфорд снова умолк.

— Не знаю, — тихо сказал он наконец. — Я не вижу причины, по которой он мог бы лишить себя жизни. Если говорить серьезно, то я ведь немного разбираюсь в людях и разговаривал с ним буквально перед самой его смертью. Он совершенно не производил впечатления человека, который собирается расстаться с жизнью… Нет… Это невозможно.

— Но одновременно вы не видите никого, кто хотел бы его убить?

— Нет. А вообще-то, если честно — то да. Каждый из нас, живущих здесь, мог бы иметь какую-то свою причину. Но в конце-то концов, человека не убивают из-за каких-то глупостей… Нет, не знаю… Единственный, кто действительно имел и желание, и мотив его убить, — это, пожалуй, я.

— Несомненно, у вас были и мотив, и возможность, — спокойно согласился Джо. — Но я совсем не уверен, что лишь у вас одного. И если мы по разным причинам догадываемся, что ваш брат вовсе не намеревался покончить с собой, то есть, по крайней мере, два человека, которые хотели бы

лишить его жизни… Впрочем, я могу ошибаться. Может, все было иначе. Признаюсь вам, у меня есть одна теория, которая пока основана лишь на абстрактном рассуждении. Мы даже бегло не опросили еще всех живущих здесь. Это вы выращиваете такие красивые георгины?

Бедфорд секунду выглядел удивленным этим вопросом, но тотчас взял себя в руки.

— Да. Они вам нравятся?

— Очень. Они удивили меня ввиду столь ранней поры года. Как добиваетесь того, чтобы они цвели в это время?

— О, всего лишь немного находчивости и уйма свободного времени… И это все. С растениями можно творить чудеса, если есть желание и время.

— Мне кажется, георгины ведут свое происхождение из Мексики, не так ли?

— Да, все сорта георгин родом из Мексики.

— Вот-вот. Кажется, только они и еще один сорт красной розы являются источником специфического натурального красителя, который когда-то применялся для покраски шерсти и шелка. Как же он называется?.. Вы не помните?..

— Признаться, меня больше интересуют их форма и цвет, и меньше — химические особенности…

— Да-да, конечно, — Джо покивал головой. Краем глаза он заметил удивленный взгляд Паркера. — Благодарю вас. — Он встал, и Сирил Бедфорд тоже поднялся. — Любезно прошу вас теперь вернуться в свою комнату. Ввиду идущего расследования мы будем вынуждены еще некоторое время настаивать на том, чтобы вы все оставались на втором этаже дома до той минуты, пока не отменим это распоряжение. Мне очень жаль, но полицейские в холле и в саду получили приказ никого не выпускать без специального разрешения, а поскольку дом плотно окружен, я упоминаю об этом лишь для того, чтобы никто не навлек на себя ненужных неприятностей.

Бедфорд, не говоря ни слова, вежливо склонил голову, направился к двери, открыл ее и тихо закрыл за собой.

Как только он исчез, Паркер резко повернулся к Алексу.

— Что это за абсурд? Ты относишься ко всем этим людям так, будто рассчитываешь на то, что убийца придет сам, признается во всем и еще будет благодарить нас за то, что мы отправили его на виселицу! И что это за бред с георгинами?

— Ответ на первый вопрос звучит, — Джо поднял вверх палец, — да, я верю, что убийца вскоре как-то сам найдется. Следов тут уже столько, что недостает лишь того самого пресловутого последнего звена... Ответ на второй вопрос, — Джо поднял второй палец, — я наконец, вспомнил, как называется этот краситель. Он есть только в красных георгинах и красных розах.

— И как же он называется?

— Цианид… — Джо покачал головой. — И подумать только, что при моем полном безразличии к химии именно это я должен был знать!

Глава десятая

Отпечатки пальцев на стекле и на фотографии принадлежат…

— Итак, если не ошибаюсь, нам осталось еще побеседовать с обеими миссис Бедфорд. С которой начнем?

Но судьба выручила Паркера и дала ответ на этот вопрос.

— Звонок из центра, шеф! — сказал сержант Джонс, приоткрыв дверь и просунув в щель голову, неизвестно который уже раз за это утро.

Паркер встал и быстро вышел из столовой. Алекс остался сидеть неподвижно, подперев голову руками. Ироническая улыбка исчезла с его лица, которое выглядело теперь сосредоточенным и очень серьезным.

— Да… — произнес он вполголоса. — Пожалуй, это будет так… Или так… Головку из фотографии могла вырезать горничная, но она этого не делала, потому что… Ну да, конечно — Джудит Бедфорд. Интересно, как она выглядит… Из того, что говорила Агнес, следует, что это какая-то бедняжка с огромными комплексами. Она его любит?.. Ну да… Подумать только, сколько любви кроется под крышей этого скромного пуританского дома! Да — это Джудит Бедфорд.

Дверь открылась, Паркер вошел, с треском захлопнув ее за своей спиной, и быстро направился к столу. Он положил руку на плечо друга, который снова откинулся в кресле, опираясь рукой на подлокотник.

— А ты знаешь, чьи отпечатки найдены на рамке и даже на этой вырезанной ножничками голове? Ну, отвечай, соня, — ты же всегда твердишь, что весь научный аппарат полиции служит лишь для того, чтобы морочить голову лицам, проводящим расследование, и мешает розыску убийцы! Я дам тебе настоящий, английский звонкий шиллинг, если скажешь! Но ты не скажешь, потому что не можешь этого знать!

— Эх, — вздохнул Алекс, — да ты, парень, прямо Фома неверующий! Вот я никак не могу понять, откуда у тебя, вполне порядочного и неглупого в частной жизни человека, которого знаю много-много лет, — берется столько пренебрежения к человеческому разуму и его сложнейшей деятельности. Как только ты выступаешь в облике полицейского, немедленно начинаешь вести себя, как читатель детективного романа. Отпечаток пальца приведет преступника к виселице! «Благодаря нашей прекрасной криминалистической лаборатории и самым современным научным средствам нам удалось в кратчайший срок обезвредить опасного преступника…» Все это — прекрасные заголовки для статей в бульварной прессе, но чтобы ты сам, ты — Бенжамин Паркер, заместитель начальника криминального отдела, следователь Королевской муниципальной полиции, называемой также Скотленд-Ярдом, не мог сам, хотя бы — ну, я не знаю — хотя бы предположить, — кто оставил эти отпечатки?! Бен, дорогой мой, да я могу тебе сразу сказать, кто это сделал…

— Ну скажи! — Паркер смотрел на него с недоверием. — Скажи! Конечно, ты можешь и случайно угадать: у тебя один шанс из пяти, потому что именно столько у нас подозреваемых.

— Нет, дружище, мне не надо гадать. Я точно знаю, что отпечатки пальцев оставила миссис Джудит Бедфорд.

Паркер открыл рот, затем закрыл его, а потом снова открыл. Он вынул из кармана серебряную монету и подал ее Алексу.

— Да, — сказал он тихо. — Значит, ты знал, кто убил Бедфорда, и ничего не говорил?

— Я не понял, — поднял брови Джо, — что ты хочешь этим сказать?

— Ну, я надеюсь, что этой дамочке не удастся отвертеться, когда мы припрем ее к стенке таким доказательством, как это!

— Что ж — посмотрим… Судя по тому, что мы видели в кабинете, убийца Гордона Бедфорда не похож на абсолютного глупца. Но я ведь могу и ошибаться!

— Конечно, ты ошибаешься! — сказал Паркер и энергично направился к двери, но на полпути остановился и оглянулся. — А вообще, что ты имеешь в виду, Джо? — с подозрением спросил он.

— О, ничего! Бери свою миссис Джудит Бедфорд и допрашивай ее, — Джо развел руками. — Меня очень, ну очень интересует лишь как

она выглядит, и больше ничего, а кроме того, кажется мне, что дело идет к концу.

— Да? — Паркер пожал плечами. — Ладно, сейчас я ее сюда приглашу.

Он вышел и некоторое время вполголоса говорил что-то Джонсу за дверью, потом вернулся и медленно подошел к столу. Он молча стоял, глядя на дверь. Джо, который хорошо его знал, улыбался. Он знал, почему Паркер стоит. Джудит Бедфорд была женщиной, значит, он не мог принять ее сидя, но она была в его глазах также и убийцей, и он не хотел вставать, как только она войдет, как это подобало бы сделать, встречая обычную женщину, которой следует выказать должное ее полу уважение. Поэтому он ожидал ее стоя.

Дверь открылась.

Хотя, поднимаясь с кресла, Джо и не выдал своего изумления, но это стоило ему огромного усилия. Женщина, которой он подвинул стул, приглашая жестом руки сесть, могла бы соответствовать самым различным представлениям, но он никогда бы не предположил, что она является женой Сирила Бедфорда. Низенькая, очень худая и слегка согнувшаяся вперед, она выглядела, как горбунья без горба. Но наиболее поразительной была ее голова с абсолютно седыми волосами, с лицом, покрытым сетью мелких морщин. Ее муж, который был отнюдь не мальчиком и даже не молодым человеком, мог бы спокойно представлять ее как свою мать. При этом двигалась она легко и энергично, и именно лишь по ее движениям Алекс понял, что ей не больше чем пятьдесят один-пятьдесят два года… Двадцать с лишним лет назад она, Джудит Спенсер, встретила на своем пути молодого, красивого великана. Влюбилась ли она в него с первого взгляда? Наверно. Что она думала, когда он проиграл в карты все ее немалое приданое? И что она думала, когда он ушел на фронт, оставив ее без единого пенса и совершенно не заботясь о ее судьбе? А когда война закончилась и он к ней не вернулся? Может, она возненавидела его? А может, напротив, — она неустанно любила его, понимая, что это может быть лишь односторонняя любовь, как любовь матери к плохому ребенку?.. Во всяком случае, она приняла его снова, когда он вынужденно вернулся, шантажируемый своим столь демонстративно порядочным братом… Страдала ли она из-за этого? Наверно….

Паркер уже открыл было рот, но Джо громко кашлянул и быстро спросил:

— Вы не могли бы бросить нам хотя бы лучик света на это дело? У нас очень много трудностей, если говорить честно. По некоторым данным, мы можем предполагать, что в супружестве сэра Гордона Бедфорда и миссис Сильвии Бедфорд не все ладилось так, как этого хотелось бы желать… Можно даже считать, что лишь неведение сэра Гордона предохраняло этот союз от неминуемого разрушения, если можно так выразиться… Как ваш супруг, так и секретарь покойного утверждают, что за два-три часа до смерти сэр Гордон не проявлял ни малейших признаков желания совершить самоубийство. Он был в полном порядке и готовил вместе с ними работу на сегодня... Тем не менее, мы обнаружили его мертвым после того, как он выпил чашку кофе с цианистым калием. А перед ним лежало письмо, в котором он прощался со своей женой в самых нежных выражениях... а в качестве причины добровольного ухода из жизни называл свою нечестность в торговых делах, если можно это так сформулировать…

— То есть, вы хотите сказать, что Гордон считал себя злодеем, а свою жену — ангелом? — спросила Джудит Бедфорд спокойным, но слегка дрожащим от эмоций голосом. Было видно, что она пытается подавить в себе нарастающий взрыв чувств.

— Ну, примерно так это выглядит…

— Это ложь, — сказала она коротко.

— Почему вы так считаете?

— Потому что даже ребенок, который провел бы с ними полдня, сразу бы понял, что Гордон — чист как хрусталь, а она… У Сильвии был роман с другим мужчиной!

— Отдаете ли вы себе отчет в серьезности обвинения, которое бросаете в адрес женщины в тот момент, когда идет следствие по делу о возможном убийстве ее мужа?

— Я еще никогда в жизни не солгала! — Джудит Бедфорд посмотрела на Алекса своими маленькими разгневанными глазами. На ее бледном, покрытом морщинами лице выступил румянец кирпичного цвета. — Я знаю, что говорю, и не привыкла к тому, чтобы столь молодые люди, как вы, указывали мне, как я должна себя вести.

— Это весьма похвально, что вы еще никогда не солгали, — Джо серьезно покивал головой, опуская вторую часть того, что она сказала. — Но я повторяю: мы тут ведем расследование, результат которого может оказаться катастрофическим для возможного убийцы сэра Гордона. Утверждение, что его жена была близка с другим мужчиной, а быть может, любила его, выставляет ее в очень неблагоприятном свете, и тот, кто это утверждает, обязан доказать, что он не выдвигает голословных обвинений. Откуда вам известно, что так было?

— Поскольку моя комната расположена по соседству с комнатой этого молодого человека, я слышала достаточно, чтобы быть в этом уверенной.

— Через стену?

— Есть общий каминный дымоход, который соединяет эти две комнаты, поскольку оба камина соприкасаются, — сказала Джудит Бедфорд немного тише. Она снова покраснела, но на этот раз не от гнева, а от смущения.

— И что же вы услышали?

— Очень многое. Достаточно, чтобы понять, что Сильвия без ума влюблена в этого молодого человека. Примерно за несколько минут перед двумя часами ночи я слышала собственными ушами, как она сказала, что не любит Гордона, более того — что она его просто ненавидит и убьет собственными руками, лишь бы не ехать с ним завтра в Америку…

— Этот молодой человек — мистер Рютт?

— Ясно — ведь других молодых людей здесь нет.

— И что он ответил?

— Он испугался, — она пожала плечами. — Это слабый и глупый мальчишка, — добавила она с презрительной точностью, которая бывает иногда самым страшным оружием стареющих несчастливых женщин. — Это Сильвия одержима… Только она.

— А когда вы впервые услышали их, разговаривающих так, что у вас уже не возникло никаких сомнений?

— Перед самым их отъездом на прошлой неделе… Я находилась тогда в саду и срезала цветы для их квартиры в Сити. Вероятно, они не заметили меня, а когда я поднялась наверх, думали, что я все еще нахожусь вне дома… В тот раз они еще говорили о любви… Но Сильвия говорила так, что я сразу поняла — это вовсе не… — она на секунду умолкла и покраснела еще больше, — это вовсе не была платоническая любовь, а... она просто… просто изменяла Гордону!

— И что вы тогда сделали?

— Ничего.

— Почему? Это вас не интересовало?

— А что мне было делать? Я боялась пойти с этим к Гордону, хотя и знала, что следует это сделать. Я уже давно ненавидела эту приблуду... Всегда чувствовала, что это должно плохо кончиться… Но Гордон не поверил бы мне. А если бы они стали отпираться, тогда… тогда все это обернулось бы против меня… против нас. А Сирил тогда точно очень рассердился бы… Еще как бы рассердился!

— Значит, вы не сказали об этом даже мужу?

— Сказала, — тихо прошептала Джудит. — Но лишь после того, как они уехали… Я сказала ему об этом в среду…

— И как ваш муж на это отреагировал?

— Сначала… — Она снова умолкла, потом с усилием закончила: — Сначала он рассмеялся! Да-да. Я сама бы в это не поверила, но он отреагировал именно так…

Алекс молча покивал головой, но сделал это лишь для того, чтобы скрыть улыбку, которая невольно появилась на кончиках его губ.

— Да-да, он рассмеялся, — продолжала Джудит. — И сказал, что Гордон — гнусный старый кретин и что если бы он был на месте Сильвии, то наставил бы ему такие рога, что все его любимые ночные бабочки садились бы на него, как на развесистый дуб… Это была его первая реакция на эту тему. Однако потом он тут же посерьезнел и категорически запретил мне говорить об этом кому бы то ни было. Он сказал, что Гордон так сильно ее любит, а она имеет на него такое огромное влияние, что это могло бы кончиться для нас фатально, а она бы даже не пострадала, но с той минуты стала бы для нас смертельным врагом. Я признала его правоту, а кроме того, раз Сирил так сказал, то посчитала, что не имею права ему противиться… Но потом начали происходить такие события, что я совершенно растерялась, потому что… — Она осеклась, а потом тихо добавила: — Но это не относится к делу. Это личные проблемы меня и моего мужа…

— Послушайте, — Алекс наклонился к ней и понизил голос, но говорил по-прежнему твердо и четко, — несколько минут назад вы сказали, что еще ни разу не солгали… Прошу вас теперь сказать нам все… всю правду. Прошу помнить, что полиция — друг каждого порядочного человека, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы бережно отнестись к вашим чувствам. Ни одно ваше слово, если оно вплотную не связано с доказательством виновности убийцы, никогда и никому не станет известным.

Джудит подняла голову и долго молча смотрела в глаза Алексу.

— Я вам верю, молодой человек, — тихо сказала она. — Вы выглядите порядочным человеком, да и вы тоже, — указала она на Паркера. — Я совсем иначе представляла себе полицейских… Вы без мундиров? — В ее голосе прозвучало почти детское любопытство.

— Расскажите нам все подробно, — мягко произнес Алекс. — Мы вас очень просим…

— Видите ли… Позже я поняла, что мне все равно придется поговорить с Гордоном. Но не по этому вопросу. Я хотела… я хотела просить его, чтобы он уволил нашу горничную, Агнес Уайт…

— Почему?

— Потому что… потому что… видите ли… Сирил, ну то есть, мой муж… Он человек очень впечатлительный… Да-да, очень… — Она снова умолкла, как бы подыскивая слова. — А она… Ну вы же ее наверно видели… Это простая девушка, но у нее… есть некоторые качества… как бы это сказать… ну, она молода и, наверно, хороша по-своему, по-деревенски… и… в общем, я уже не могла больше этого переносить! — Последние слова она произнесла высоким, ломающимся голосом, а потом закрыла ладонями лицо. — Ну вот, теперь вы уже все знаете, — добавила она

тихо. — Это она… Агнес. Мне казалось, что ее поведение по отношению к моему мужу, быть может, слишком свободное… а может, это возможно иначе определить… Но мы тут живем все в такой глухомани, а кроме нее здесь есть еще лишь старая кухарка… Ну вот и я, значит, хотела все рассказать Гордону, но лишь после того, как он пообещал бы, что не выдаст меня Сирилу… Если бы Сирил узнал, что я была по такому делу у Гордона, не знаю, что бы он со мной сделал. Так что с самой субботы я караулила в ожидании минуты, когда Гордон будет один… Но никак не получалось застать его в одиночестве. Плюс к тому эта парочка за стеной… они все время говорили такие вещи, что я еще больше думала о том, какие люди подлые, и о том, что ведь горничная и Сирил… То есть, это не значит, что я во все плохое сразу поверила, но ведь мужчины — они такие наивные… А девушки хитрые… И вот я ночью ждала, когда же они закончат эту ловлю бабочек… И вот тогда я услышала Сильвию, уговаривающую этого парня, чтобы он с ней убежал, я подумала, что такая девушка, как Агнес, которая хоть и простушка, но в ней есть свое примитивное обаяние, в то время когда я ведь уже немолода, может точно так же уговорить Сирила… Я, конечно, не верю, что он на самом деле мог бы так поступить, но человек-то всегда боится, даже когда не верит… И вот когда я убедилась, что Сирил вышел из фотолаборатории и пошел спать… ну, то есть, после того, как заглянула к нему в комнату и убедилась, что он спит, я потихоньку вышла в коридор и пошла по ступенькам вниз…

— Который тогда был час?

— Почти половина пятого… Было уже совсем светло и в саду вставало солнце. Но в доме стояла полная тишина. Люди всегда крепче всего спят под утро. А Сирил лег так поздно, что сразу же уснул… Так вот, я спустилась вниз, потому что знала, что Гордон еще работает один и мне удастся с ним поговорить. Я его знала и была уверена, что он не потерпит в доме горничной, которая нескромно себя ведет. Конечно, я не собиралась говорить ему о Сильвии, потому что тогда бы все пропало. Гордон мог бы впасть в ярость и выгнать всех, а эта девица Уайт могла бы в такой ситуации увести Сирила… Так что я хотела лишь уговорить Гордона, чтобы он уволил ее еще до своего отъезда и чтобы Сирил ничего не узнал о том, что это я Гордону о них сказала… Я вошла в кабинет и увидела его… Он был мертв. То есть, я сначала подошла к нему и лишь тогда поняла, что он мертв, когда положила руку на его лоб и почувствовала, что лоб совсем холодный… И тогда…

— Тогда вы взяли со стола ножницы, вырезали голову Сильвии Бедфорд из фотографии и прикололи ее между бабочками в застекленном коллекционном ящике. Зачем?

— Потому что решила… я не думала, что он убит. Мне пришло в голову, что он умер от сердечного приступа, поскольку следов крови нигде не было… И еще я подумала, что, может, так случилось, потому что Сирил все же сказал ему о Сильвии и Роберте… Или, может, он сам как-нибудь узнал? А потом вдруг вспомнила, что она говорила ночью, и подумала, что, может, они его отравили… Но я ведь не могла признаться, что была внизу, потому что никогда не смогла бы объяснить Сирилу, зачем туда спустилась. Так что я не хотела там оставаться, но одновременно хотела, чтобы полиция знала, что это Сильвия виновата в его смерти. Я увидела эту фотографию, быстро вырезала голову и воткнула на место какой-то жуткой бабочки. А потом убежала…

— И вы не подняли в доме тревоги?

— Зачем? Ведь Гордон все равно мертв. А Сирил никогда бы не простил мне, если бы знал, зачем я пошла… И кроме того, я испугалась. Была там

совершенно одна. Я побежала к себе, спряталась под одеяло и стала ждать. Я знала, что в семь утра они должны туда спуститься. Но, наверно, Роберт сошел даже раньше, потому что уже в шесть он поднял на ноги весь дом.

— А вы не подумали о том, что полиция спросит вас, что делали в комнате сэра Гордона и зачем вырезали эту фотографию?

— Нет. А откуда вы могли бы об этом узнать? Ведь если бы я сама вам не сказала, вы бы и не знали…

Джо бросил короткий взгляд на Паркера, который сидел, опершись на локоть, и с немым изумлением смотрел на эту пожилую женщину.

— Вы никогда не читали детективных романов? — спросил Джо.

— Нет. Я считаю, что такие вещи годятся только для слуг, сэр. Я читаю исключительно поэзию.

Паркер громко кашлянул, а Джо почувствовал, что краснеет.

— И вы никогда не слышали об отпечатках пальцев? — спросил он с легким недоверием.

— Простите, что? — сказала миссис Джудит Бедфорд. — Я не понимаю, что вы имеете в виду.

— А вы подходили к окну в кабинете?

— Когда?

— Тогда, когда увидели мистера Гордона мертвым.

— Нет, сэр. А зачем мне туда подходить? Он ведь был мертв, и свежий воздух ему уже не нужен. Вышло так, что я сразу подумала об этой фотографии, а потом хотелось только убежать и спрятаться в своей постели…

— А у вас есть запасные ключи от всех помещений в доме? Кто-то мне говорил, что сэр Гордон закрывает кабинет, когда уезжает, но что у вас есть запасные ключи. Это правда?

— Да, у меня есть такая большая связка ключей, но я уже много лет ее не трогаю, потому что никто у нас ключей не теряет. Эта связка заперта в каком-то ящике моего стола, а может, даже висит на гвозде в моей комнате…

— Ну что ж, — Джо задумался. — К сожалению, нам теперь придется пригласить миссис Сильвию Бедфорд, мистера Рютта и вашего мужа, которые должны на очной ставке подтвердить ваши слова. — Джо вынул пачку сигарет, взял одну из них и спички, а потом, будто что-то припомнил, поднялся с кресла и протянул Джудит Бедфорд пачку. — Простите, может, вы курите?

— Никогда в жизни даже не пробовала, — улыбнулась Джудит. — Быть может, сегодня и был бы подходящий день, чтобы начать, но опасаюсь, что я уже слишком стара, чтобы приобретать новые пороки…

Джо кивнул.

— Зато молодые девушки теперь все курят. Ваша невестка, наверно, тоже курит…

— Нет, — покачала головой Джудит. — Это единственное, что я могу записать ей в плюс. Она не курила и не курит. Гордон этого очень не любил, но и она сама, кажется, никогда не интересовалась этим. Та малышка на кухне тоже не курит, так что, как видите, не все женщины курят… Но вы ведь не всерьез говорили, что хотите устроить им всем очную ставку со мной… Ведь я… Они не могут знать, что я подслушивала их разговоры… Сирил тоже не может знать, что я сказала вам о его запрете говорить Гордону о Сильвии и Роберте…

— Теперь, когда сэр Гордон мертв, все станет явным, если они действительно любят друг друга, — сказал Алекс. — Но даю вам слово: я постараюсь, чтобы вы не пострадали из-за своих поступков и своей правдивости. Ваших личных дел мы не будем касаться.

Глава одиннадцатая

Бабочка «Мертвая голова»

— И что ты собираешься теперь делать? — спросил Паркер после того, как за Джудит Бедфорд закрылась дверь. — Я еще никогда в жизни не видел такого расследования. Все время ясно, что каждый из них что-то скрывает. Стоило только нажать вот, например, на Рютта, и он рассказал бы много интересного, а быть может, и вообще сломался бы, потому что не похож на крутого парня. А тем временем ты… — Паркер понизил голос и с сомнением покачал головой, а потом с внезапной надеждой закончил: — Или, может, ты рассчитываешь, что допрос миссис Сильвии Бедфорд будет решающим и это именно для нее ты заготовил все свои сюрпризы, от которых оберегал остальных?

— Миссис Сильвия Бедфорд? — поднял брови Джо. — А зачем нам допрашивать миссис Сильвию Бедфорд?

— То есть, как это зачем? — Заместитель начальника криминального отдела хотел, вероятно, произнести слишком много слов сразу и потому застыл с открытым ртом. Потом взял себя в руки. — Ты хочешь сказать, что не намерен допросить всех, кто в момент убийства находился в доме?

Джо вздохнул.

— В твоих устах это звучит так драматично, что я на минуту задумался, уж не совершил ли сам какого-то преступления, не желая допрашивать миссис Сильвию Бедфорд. Мне казалось, что мы находимся здесь не затем, чтобы допрашивать всю округу, а лишь затем, чтобы установить, что тут произошло, иными словами — кто убил Гордона Бедфорда. Но, быть может, я ошибаюсь? — Джо улыбнулся тонкой улыбкой. — Вот что меня всегда умиляет в действиях представителей закона, так это неизбежная необходимость совершать необязательные действия. Если бы я вздумал пользоваться такими методами в моих скромных детективных книжонках, они были бы толщиной по пятьсот страниц каждая, и люди засыпали бы на середине или заглядывали на последнюю страницу, чтобы выяснить, наконец, кто же совершил эти скучнейшие из преступлений. Но вы не подчиняетесь никаким правилам, кроме одного: чем толще папка с делом, тем лучше работала следственная группа. Вот ты можешь мне сказать, с какой целью мы должны беседовать с миссис Сильвией Бедфорд и задавать ей сотни вызывающих чувство неловкости вопросов, которые будут касаться ее сугубо личных дел, в которых ни ты, ни я не принимаем никакого личного участия?

— Ты что, совсем свихнулся, Джо? — В голосе Паркера звучала тревога. — Уж не хочешь ли сказать, что на основании того, что мы до сих пор увидели и услышали, ты уже знаешь, кто убил Гордона Бедфорда, и сумеешь доказать это вне всяких сомнений?

— Да, конечно! — Алекс развел руками. — Я думал, что и для тебя все уже ясно.

— Ах, ты так думал, да? — Паркер мотнул головой. — Так вот, если ты так думал, то ошибаешься, и притом глубоко ошибаешься. Но если это для тебя так просто, то будь любезен объясни мне, кто же убил Гордона Бедфорда и на чем основана твоя уверенность, что убил его именно этот человек, а не какой-либо другой! По моему убеждению, определенные вещи действительно прояснились, но они больше затемняют общий вид, чем освещают его. Кроме того, я должен, наверно, тебе напомнить, что нашей обязанностью является вовсе не поиск какой-либо эффектной гипотезы, наша задача — установить факты, причем таким образом, чтобы с

абсолютной уверенностью доказать виновность одного из подозреваемых. А для этого необходимо с такой же абсолютной уверенностью исключить остальных. Иначе любой, даже начинающий адвокат сделает мармелад из обвинительного акта и выставит меня на смех.

— Неужели ты, мой глубокоуважаемый друг, можешь предположить, что я пережил бы минуту, когда по моей вине ты стал бы мишенью для издевок газет всей Британии? — Джо снова улыбнулся, как если бы даже сама мысль о кричащих заголовках бульварных газет, именующих Бенжамина Паркера бездарным, показалась ему забавной. — Нет, мне всего лишь кажется, что я закончил расследование и знаю, кто убил Бедфорда. Я бы даже взялся в границах моих скромных возможностей исключить всех остальных подозреваемых, кроме одного убийцы. Именно поэтому сказал, что мы можем приступить к подведению итогов. Кроме того, ты разбудил меня слишком рано, и я был бы счастлив, если бы смог вернуться в свою постель. Представь себе, что могу спать в любое — ну буквально в любое время суток, если мне недостает одного или двух часов сна. К сожалению, Скотленд-Ярд решил сегодня, что мой сон…

— О, прекрати это шутовство, умоляю тебя! В конце концов, речь идет об убийстве и убийце. Я… я никак не могу прервать расследование, если… если не буду уверен, что оно действительно окончено, — добавил он беспомощно, отдавая себе отчет в том, что как офицер, руководящий этим расследованием, он не имеет права так говорить. Но он хорошо знал Джо Алекса и знал, что за такой его улыбкой кроется полная уверенность. В течение их долгого сотрудничества Бенжамин Паркер лишь один раз пережил момент сомнения в друге. Это было в старинном доме, стоящем над обрывом, когда все указывало на самоубийство, а Джо упорно просил не прерывать совершенно бессмысленного, по мнению Паркера, расследования. Погибший был известным ученым-демонологом, и очень много в том деле было разговоров о дьяволе. Но в конце концов оказалось, что убийство, которого никто не мог совершить, было все же совершено. И заместитель начальника криминального отдела поверил тогда, что если в этом деле и присутствовал какой-то дьявол, то находился он в мозгу его друга, служа ему, как Фаусту, советом и помощью. Но после тех событий прошло много времени. Теперь ситуация была прямо противоположной: он, Паркер, считал, что следствие только начинается, а уверенный в себе Джо спокойно улыбался.

— Ладно, так что мы должны теперь делать, по-твоему? — спросил он почти с отчаянием.

— Я думаю, что, действительно, следует собрать всех и закончить все это дело.

— Но ты абсолютно уверен, что знаешь, кто убил, и сможешь это доказать?

— Да.

Паркер заколебался.

— Хорошо… — сказал он наконец. — Говори, Джо. Если я скажу, что просто умираю от любопытства, то это будет очень близко к действительности.

И Джо сказал ему.

Спустя двадцать минут все собрались здесь: трое женщин и двое мужчин. У них были усталые глаза, и все они, каждый по-своему, в большей или меньшей степени нервничали.

Алекс, который стоял в дверях, ожидая, пока все войдут и усядутся, направился к столу, но по дороге свернул к двери кабинета и широко ее распахнул. Опершись на дверной проем, он посмотрел на Паркера, который

сидел в торце стола, положив перед собой целую пачку бумаг, и на всех жителей дома, которые уселись за столом справа от него, и сказал:

— Поскольку мы достаточно точно знаем все то, что одни из вас могли бы сказать нам о других, я хотел бы оставить в стороне все эти сведения, тем более что, как мы смогли выяснить в процессе расследования, они носят скорее интимный характер, и никому не было бы приятно публично обсуждать их здесь. — Он умолк, увидев легкий румянец на лице Агнес Уайт и ее почти незаметный благодарный кивок головой.

Паркер, заметивший это, готов был поклясться, что Джо хотел улыбнуться ей и с трудом сдержал свою улыбку. Но уже спустя несколько секунд он забыл об этом, поскольку интонация, с которой Алекс продолжил говорить, переменилась со свободной на строго деловую:

— Я хотел бы рассказать вам о том, что мы обнаружили в ходе расследования и какие неизбежные выводы пришлось сделать в результате относительно простых логических рассуждений. Дело в том, что полиция не могла без проведения расследования принять лежащую на поверхности версию о самоубийстве. Хоть не все вы об этом знаете, но на столе покойного было найдено не одно прощальное письмо, а два… — произнес Алекс, понизив голос, и внимательно обвел взглядом всех сидящих за столом, но никто даже не шевельнулся. Алекс покивал головой, как бы соглашаясь со своими мыслями, потом вдруг быстро сказал: — Да, два письма. Причем каждое из них указывало на совсем другую причину самоубийства. Письмо, которое мы условно назвали ПИСЬМОМ № 1, это то письмо, которое лежало сверху на столе и на котором находились четкие отпечатки пальцев сэра Гордона; оно содержало утверждение, что хозяин этого дома намерен расстаться с жизнью, поскольку он, сойдя с праведного пути, пустился во все тяжкие и начал, как мы поняли, брать взятки в особо крупных размерах. В этом письме сэр Гордон прощается с любимой женой и посвящает ей самые теплые слова. Однако в ходе следствия выяснилось, что это письмо не могло быть написано после приезда сэра Гордона в нынешний уикенд, поскольку оно отпечатано с применением старой пишущей ленты, а присутствующий здесь мистер Рютт в своих показаниях заявил, что заменил в пишущей машинке старую ленту на новую еще до приезда мистера и миссис Гордон в субботу утром. И это пока все о первом письме. Под лежащей на столе переплетенной рукописью присутствующий здесь мистер Паркер в процессе осмотра места происшествия обнаружил еще одно письмо, которое мы назвали условно ПИСЬМОМ № 2. Оно было сложено пополам, и на нем не было никаких отпечатков пальцев. Однако оно было отпечатано с применением новой печатной ленты. И, как мы выяснили, это был единственный текст, оставивший отпечаток на этой ленте, причем этот текст даже можно было прочесть, перевернув ленту на левую сторону. В этом письме сэр Гордон говорил о боли, которой наполняет его мысль о том, что любимая им женщина любит кого-то другого. И вот он сам, не желая быть препятствием в любви двух людей, которых он ценит и уважает, принимает решение уйти…

— Что? — прошептала Сильвия. — Он? Уйти? Да вы лжете! — воскликнула она.

— До этого момента очень немногие люди могли подозревать меня в неточности, а уж что говорить о лжи, — улыбнулся Джо. — Но я надеюсь, что этим восклицанием вы хотели продемонстрировать не столько неверие в мои слова, сколько тот факт, что ваш покойный муж хотел уйти с пути двух влюбленных, не так ли?

— Извините, — Сильвия взяла себя в руки. Она спокойно кивнула своей красивой темной головой. — Вы совершенно правы. Я ни на секунду

не поверю в то, что Гордон, мой покойный муж, был способен на такого рода поступок. Это было совершенно не в его характере. Кроме того, он был человеком глубоко религиозным и считал самоубийство грехом, быть может, даже более тяжким, чем убийство.

— Я удивляюсь, — заговорила быстро и тихо Джудит Бедфорд. — Я удивляюсь тому, что даже сейчас ты пытаешься оскорблять его память! Казалось бы, ты достаточно оскорбила и унизила фамилию Бедфорд при его жизни!

— Думаю, я была бы не первой носящей фамилию Бедфорд, кто сам эту фамилию унизил и оскорбил! — быстро парировала Сильвия и выпрямилась на стуле, бросив выразительный взгляд на Сирила, который любезно улыбался, будто эти слова совершенно к нему не относились.

— Минуточку, минуточку! — Джо сделал рукой успокаивающий жест. — И все же, — продолжил он, глядя на Сильвию, — насколько нам трудно было понять, кто написал то письмо, на котором полно отпечатков пальцев сэра Гордона, настолько же ясно было, что как раз это второе письмо, содержание которого представляется вам столь невероятным и на котором нет его отпечатков пальцев, написал именно сэр Гордон, причем всего за час до своей смерти. Мисс Агнес Уайт, комната которой находится как раз под кабинетом, слышала шаги и голоса мужчин, вернувшихся из сада, слышала она также потом и шаги сэра Гордона в комнате над собой и затем стук пишущей машинки. А поскольку другой пишущей машинки в доме нет, а сэр Гордон умер лишь через час или два после этого, и что самое важное — текст этого письма весь, до единого слова, является текстом, отпечатавшимся на ленте в машинке, стоящей в кабинете, — мы должны принять, что или сэр Гордон написал это письмо, или мисс Агнес Уайт лжет…

— Как это, «лжет», сэр? — Агнес широко открыла свои светлые глаза. — Почему бы это я врала? Я все слышала точно так, как рассказала вам.

— Наверно, мисс. Но нашей обязанностью было проверить все возможные варианты. Вы ведь показали, что открывали окно перед полуночью, а мы не нашли на нем отпечатков ваших пальцев. В принципе вы могли также подать сэру Гордону отравленный кофе из экспресса и затем стереть отпечатки. Но в этом случае вы должны были соврать, что слышали сэра Гордона, печатавшего на машинке, и убив его, сами должны были написать это письмо, а затем сунуть его под рукопись, а выходя, стереть свои отпечатки пальцев с ручки двери…

— Но зачем, сэр?

— Ну-у… — Алекс сделал неопределенный жест рукой. — Если упереться, можно бы и мотив найти. Быть может, это был бы мотив, слегка натянутый, но чего только не придумают девушки, лежа в одиночестве без сна и размышляя о жизни… Вы бы могли, например, подумать, что такое письмо, которое содержало бы намек на измену жены и повлекло бы самоубийство мужа, могло бы привести к лишению этой жены права наследовать все богатство Бедфордов, и тогда все мог бы унаследовать кто-нибудь, кто… Ну, словом, какой-никакой мотив можно найти…

Агнес внезапно густо покраснела.

— Если вы думаете, что я… что я…

— Нет, не думаю! — быстро сказал Джо. — Я так не думаю, прежде всего потому, что не представляю себе, как вы, мисс, могли бы написать именно такое письмо. Оно, конечно, не принадлежит к шедеврам британского эпистолярного жанра, но что ни говори, безошибочно напечатать на машинке, причем имея за спиной стынущий труп (иначе ведь сэр Гордон не позволил бы вам ни с того ни сего ночью в его кабинете писать на

машинке)… Нет, для этого нужен кто-то, кто куда лучше владеет техникой машинописи и литературным стилем…

— Но я никогда в жизни не печатала на машинке! — в отчаянии воскликнула Агнес. — Вы так обо мне говорите, будто дело в том, что я не могла бы напечатать на машинке какое-то письмо каким-то определенным образом. А я вообще не могла бы ничего напечатать! Я понятия не имею, как это делается!

— Вот и мы так подумали. Это письмо написано без единой опечатки, быстро и ловко, несомненно кем-то, для кого пишущая машинка является предметом ежедневного употребления. Конечно, мы не проследили детально, не проходили ли вы когда-нибудь в вашей жизни, мисс, какого-либо курса машинописи, но даже простой анализ текста и ситуации, в которой вы вынуждены были бы такое письмо написать, — совершенно вас исключает. А если это исключено, то одновременно мы получаем полное право считать ваши показания правдивыми.

— Уж не хотите ли вы сказать, — спокойно спросила Сильвия, — что мой покойный муж совершил самоубийство, чтобы не помешать тому, что вы назвали «любовью двух людей»?

— Нет. Я этого не говорил. Я лишь хочу сказать, что мы можем признать авторство сэра Гордона по отношению к ПИСЬМУ № 2…

И Джо прочел собравшимся письмо. Потом вернул его Паркеру и продолжал:

— Итак, если бы не было этого второго письма, дело, на первый взгляд, казалось бы простым. Обычное самоубийство. Нам, правда, пришлось бы еще поискать объяснения, почему сэр Гордон не подписал письмо или не написал его авторучкой, хотя в минуту смерти она лежала перед ним с открытым колпачком. Нам пришлось бы также объяснить, зачем он повытирал свои отпечатки пальцев с ручки двери, с окна и с кофеварки: потому что, если он сам себе приготовил отравленный кофе, то ведь должны же остаться на чашке его отпечатки? Ну, и чашечка весов, и столик с отравой… на них тоже нет никаких следов… На первый взгляд, все это выглядело абсолютно неразрешимым. А если еще добавить сюда человеческую голову, воткнутую между двумя бабочками «Мертвая голова»… Я имею в виду голову, вырезанную из фотографии, стоящей в рамке на столе…

Кто-то громко вздохнул. Джо посмотрел на сидящих перед ним людей, но все они внимательно слушали его с широко открытыми глазами.

— Но дело с этой фотографией оказалось в конце концов настолько несущественным, что я даже не буду его сейчас затрагивать. Зато хотел бы проанализировать вопрос писем, потому что с самого начала мы сосредоточили на этом наше внимание. Подходя к делу математически, можно утверждать, что существуют лишь следующие возможности:

Предположение «А»:

1. Сэр Гордон написал оба письма и совершил самоубийство.

2. Сэр Гордон написал письмо № 1, совершил самоубийство, а письмо № 2 ему подбросили.

3. Сэр Гордон написал письмо № 2, совершил самоубийство, а письмо № 1 было ему потом подброшено.

4. (Я, разумеется, имею в виду, что или убийца, или кто-то другой по неизвестным пока причинам, увидев покойного, подбросил самоубийственное письмо.)

5. Сэр Гордон совершил самоубийство, но не писал ни одного письма, а письма были подброшены после его смерти.

Предположение «Б»:

1. Сэр Гордон был убит, а потом на его стол были подброшены оба письма.

2. Сэр Гордон был убит, но перед этим сам написал оба письма.

3. Сэр Гордон был убит. Перед этим он сам написал письмо № 1, а письмо № 2 было подброшено убийцей.

4. Сэр Гордон был убит, но перед этим написал письмо № 2, а письмо № 1 подбросил убийца.

Простите меня за эту, быть может, нудную и долгую проповедь, но мне кажется, она исчерпывает все возможные комбинации того, что могло произойти. А это в нашем положении уже было очень полезным. Теперь простым методом исключения надо было искать вариант, в котором все бы совпадало…

У нас есть восемь решений. Четыре — при варианте самоубийства, четыре — убийства. Поговорим сначала о предположении самоубийства.

Посмотрим на факты.

Вечером сэр Гордон увлеченно ловит бабочек. На шесть утра он назначает встречу с братом и секретарем, чтобы обсудить вопросы, связанные с изданием его новой книги. Написав самоубийственное письмо, он, как показал мистер Сирил Бедфорд, поднимается наверх в фотолабораторию и обсуждает с братом снимки, которые станут иллюстрациями к его книге. Мало того — мы обнаружили его сидящим за столом, а перед ним лежала открытая машинопись доклада, который он должен был сделать в Америке. На машинописи лежала открытая авторучка — покойный начал писать ею предложение, которое собирался вставить в текст. Предложение это обрывается посередине и никогда не было закончено. Кроме того, сэр Гордон скончался в момент, когда пил кофе, причем чашка стояла на блюдечке, которое он держал в руке. Он выпил содержимое чашки одним глотком и умер мгновенно. Чашка упала на пол, выроненная из опускающейся правой руки, а блюдечко, которое он держал левой, упало на его колени, откуда соскользнуло на ковер. Мне сразу показалось, что самоубийца, который насыпал себе цианистый калий в кофе, не будет пить яд, держа в другой руке блюдечко. Так скорее поступает человек, который сидит за столом, а кто-то ему подает чашку кофе на блюдечке. Тогда он берет кофе вместе с блюдечком, выпивает и… Но это было лишь мое предположение. Гораздо важнее тот факт, что, хотя сэр Гордон оставил свои отпечатки на ручке двери, входя в комнату после возвращения из сада, а потом должен был оставить их еще дважды, когда ходил наверх в фотолабораторию, а затем вернулся обратно, то этих отпечатков мы вообще не обнаружили. Не было их также на кофеварке, в которой он должен был приготовить себе кофе. Не было их ни на шкафчике с ядом, ни на банке, хотя банку он только что принес из сада и поставил в шкафчик. Не было, наконец, никаких отпечатков на ручке окна, которое Агнес открывала перед полуночью. Все, кто был позже в комнате, отрицают, что прикасались к окну… Если мы добавим к этому, что сэр Гордон был человеком несгибаемых принципов, что он по-своему глубоко религиозен и что, скорее всего, он считал самоубийство высшим проявлением трусости и страха перед жизнью, трудно сопротивляться этой массе доводов и настаивать на том, что сэр Гордон покончил с собой, хотя он отнюдь не принадлежал к тем людям, которые могли бы это сделать, — перед самой смертью он был полон планов и намерений, смерть застигла его в процессе работы, а кроме того, представляется совершенно непонятным, зачем он стер все свои отпечатки пальцев с разных предметов и ручек, если хотел, как утверждает его лирическое письмо, уйти, чтобы не преграждать другим путь к счастью? И в довершение ко всему — что тогда делало на столе это второе, тоже не подписанное письмо?

Нет, самоубийство ничего не объясняет. Оно не объясняет также странных заметок в блокноте IN MEMORIAM, где под вчерашней датой

он пишет: *«Конечно, банка, попросить его, чтобы всыпал обратно. То же и с кофе. Потом быть с ней мягким».* — А под сегодняшней датой: *«Сжечь! Помнить о разложенной работе… Велеть ему написать несколько слов. Сжечь!!!»* — Эти тексты весьма и весьма интересны, поскольку они относятся к банке, кофе и разложенной на столе работе, то есть именно того, с чем мы столкнулись в этом кабинете после смерти сэра Гордона. Учитывая тот факт, что под позавчерашней датой нет ничего интересного, а есть лишь заметка об уикенде и проверке билетов на самолет, мы можем предположить, что между приездом на уикенд и вчерашним днем произошло нечто, что заставило сэра Гордона сделать именно эти заметки.

Джо обвел глазами сидящих перед ним людей и отчетливо произнес:

— Таким образом, в свете этих доводов самоубийство полностью исключено. Гордон Бедфорд не был клоуном, он не расставался бы с этим миром, написав бессмысленные письма и стерев с них свои отпечатки пальцев, он не совершал бы самоубийства в середине незаконченного предложения редактируемой им машинописи и не договаривался бы с людьми наутро, не ловил бы бабочек ночью и не ходил бы к брату в фотолабораторию, чтобы посмотреть снимки. Расставаясь с жизнью, человек не ведет себя, как паяц, раз у него нет для этого никаких оснований. Кроме того, хоть мы и нашли в его кармане капсулу с цианистым калием, но не нашли никакой пустой капсулы на столе. А поскольку на шкафчике и на банке тоже нет его отпечатков пальцев, значит, — Джо развел руками, — не знаю, откуда же он насыпал себе цианистый калий. Не носил же он его россыпью в кармане. Впрочем, в комнате нигде не найдено никаких следов цианистого калия. Нет! Никто ни на секунду не может даже предположить, что человек, у которого не было никакой психической предрасположенности к совершению самоубийства, человек, действия которого (если бы он совершил самоубийство) кажутся совершенно бессмысленными и таковыми являются в действительности, — что такой человек покончил с собой. Гордон Бедфорд был убит, и мы все знаем об этом так же хорошо, как и его убийца.

Джо умолк.

— Ну, хорошо, — сказал Сирил Бедфорд. — И что с того? Даже если он и был убит, ничего из того, о чем вы говорили, не бросает никакого света на это дело.

— Я сказал вначале, что существовало восемь возможностей в рамках двух предположений. В настоящую минуту мы можем вычеркнуть одно предположение и вместе с ним четыре возможности. Остается второе предположение и следующие возможности:

1. Сэр Гордон был убит, а потом на его стол были подброшены оба письма.

2. Сэр Гордон был убит, но перед этим сам написал оба письма.

3. Сэр Гордон был убит. Перед этим он сам написал письмо № 1, а письмо № 2 было подброшено убийцей или кем-то другим.

4. Сэр Гордон был убит, но перед этим написал письмо № 2, а письмо № 1 подбросил убийца.

Рассмотрим все эти возможности по очереди:

1. Сэр Гордон был убит, а после его смерти были подброшены оба письма.

Согласно показаниям мисс Агнес, которая слышала сэра Гордона печатающим на машинке письмо № 2, эту возможность мы должны исключить. Мисс Агнес показала также, что слышала голоса мужчин, закрывающих входную дверь в сад и вполголоса разговаривающих в холле. Потом мистер Сирил Бедфорд и мистер Роберт Рютт поднялись наверх,

а сэр Гордон несколько минут ходил по комнате, а затем начал печатать на машинке, да?

— Да, — кивнула головой Агнес. — Все было точно так, как вы сейчас сказали.

— А потом мисс Агнес уснула. Поскольку текст письма № 2 является единственным текстом, написанным после смены ленты на этой машинке, а другой машинки в доме нет, мы должны принять за данность, что сэр Гордон напечатал тогда именно это письмо. И хотя мисс Уайт не видела его печатающим, мы знаем, что это именно он остался в кабинете и лишь гораздо позже поднялся наверх в фотолабораторию, где разговаривал с мистером Сирилом. Это был единственный момент, когда кто-нибудь другой мог бы рискнуть пробраться в кабинет и написать это письмо. Но мисс Уайт уже не услышала бы печатания на машинке. Таким образом, мы должны принять, что сэр Гордон написал это письмо, и в связи с этим у нас отпадают сразу две возможности:

1. Что он был убит, а после его смерти были подброшены оба письма, — поскольку одно письмо он написал сам.

и

3.Что он написал письмо № 1, а письмо № 2 было подброшено убийцей — по той же самой причине, поскольку сэр Гордон написал письмо № 2.

Итак, у нас остаются лишь две возможности, одна из которых должна быть правдивой, поскольку мы исчерпали все возможные комбинации. Это возможности:

2. Что он был убит, но перед этим написал оба письма

и

4.Что он был убит, но перед этим написал письмо № 2, а письмо № 1 было подброшено после убийства.

Рассмотрим одну из этих возможностей: сэр Гордон написал оба прощальных письма, а затем был кем-то убит.

— Сирил, — громко шепнула Джудит Бедфорд, — ты понимаешь хоть одно слово из всего того, что говорит этот человек?

— Да… — кивнул Сирил Бедфорд, — хотя мне никогда не пришло бы в голову подходить столь механическим способом к такому сложному делу, но пока ваш ход мыслей ни в чем нельзя упрекнуть.

— Спасибо, — Джо улыбнулся. — Я знаю, что, вероятно, вынуждаю вас скучать, но давайте будем все помнить, что речь идет не о математической забаве, а об исключении всевозможных абсурдных и реально невозможных вариантов. И лишь тогда, когда мы будем точно знать, как обстоит дело с этими письмами, мы сможем покуситься на восстановление реального хода событий. А без этого у нас будет лишь хаос и горы бессмыслицы. На самом деле мой метод очень прост. Но вернемся к нашим овечкам. Итак, у нас остались лишь две возможности, и давайте займемся первой, которая утверждает, что сэр Гордон написал два прощальных письма, а потом кто-то его убил. Но тогда получается, что сэр Гордон должен был написать первое письмо, в котором очерняет свою жизнь и называет себя циничным взяточником, еще на прошлой неделе, поскольку его здесь не было с прошлого понедельника, а мистер Рютт заменил ленту только вчера, перед приездом сюда сэра Гордона. Как мы знаем, это письмо напечатано на старой ленте и на стоящей здесь машинке. Значит, это позорное письмо сэр Гордон должен был носить всю неделю при себе или хранить в каком-то укрытии лишь затем, чтобы потом написать совершенно другое письмо, выявляющее совсем иную причину самоубийства: любовь миссис Сильвии к кому-то, кого мистер Гордон любит и уважает. И вот этот человек, кото-

рому чужда мысль о самоубийстве, который планировал сегодня выехать в Соединенные Штаты, который ночью увлеченно ловил своих любимых бабочек, оказывается, уже целую неделю собирается отнять у себя жизнь, будучи не в силах перенести свою подлость. Но в последнюю минуту сэр Гордон меняет свой мотив и теперь хочет уйти из жизни уже из-за любви. В результате убийца опережает его и убивает, не дав ему реализовать свое намерение! В довершение всего, на этом письме имеются отпечатки пальцев сэра Гордона, которые полицейские эксперты определяют как отпечатки, сделанные, с большой вероятностью, уже после его смерти, поскольку пальцы отпечатались вяло и видно, что машинописный шрифт размазан, потому что кто-то вытер бумагу, стирая с нее другие отпечатки пальцев. Так что же получается? Неужели сэр Гордон осторожно стер с этого листа свои отпечатки пальцев, не портя его, а убийца снова эти его отпечатки поставил? И почему это письмо, написанное неделю назад, лежало сверху, а другое — написанное час назад, — скрыто под рукописью? Представляется совершенно очевидным, что письмо № 1, говорящее о взятках, было после убийства положено перед сэром Гордоном кем-то, кто не знал о существовании письма № 2. Вероятнее всего, сэр Гордон напечатал это письмо, вынул его из машинки и положил на стол, а услышав чьи-то шаги, вытер его, сложил и сунул под рукопись, которую редактировал. Убийца после недолгой беседы с сэром Гордоном подал ему кофе, который, возможно, как раз приготовился в кофеварке. Сэр Гордон умер, убийца подбросил на стол письмо, на котором оттиснул отпечатки пальцев уже мертвой руки сэра Гордона. Потом убийца убежал, не зная, что на столе находится еще одно письмо, благодаря которому версия о самоубийстве рухнет и начнется расследование странных событий, которые разыгрались этой ночью… Убийца ведь не знал еще и того, что мы найдем в корзине для мусора большую, давно мертвую ночную бабочку, а на ее месте в одном из экспозиционных ящиков обнаружим голову миссис Сильвии Бедфорд, вырезанную из фотографии, стоящей на столе сэра Гордона. Убийца не знал также, что мисс Агнес Уайт была в кабинете перед полуночью и проветрила комнату, открывая настежь окно, а потом, закрывая его, оставила на его ручке отпечатки своих пальцев… отпечатки, которых мы не нашли… Однако вернемся к нашим предположениям и возможностям. Поскольку версия о том, что сэр Гордон написал в течение недели два совершенно различных прощальных письма, но не совершил самоубийства, а вместо этого был убит, является абсолютно абсурдной, учитывая содержание писем и личность пишущего, равно как и обстоятельства, касающиеся письма № 1, а также отпечатков пальцев, нам остается обсудить последнюю оставшуюся возможность: сэр Гордон написал письмо № 2 (ну, то самое — о самоубийстве из-за любви), затем был убит и на его стол было подброшено письмо № 1, говорящее о самоубийстве из-за угрызений совести. Нам известно, что сэр Гордон действительно написал письмо № 2. Остается еще факт подбрасывания ему письма № 1.

Во всем этом ужасном деле меня все время смущал такой факт: один человек пишет прощальное письмо, а другой человек, который об этом не знает, приходит и убивает его, подбрасывая второе письмо и не замечая первого. Эта ситуация, честно говоря, настолько же неправдоподобна, как и семь остальных, которые мы отбросили… но ведь других возможностей нет, а сэр Гордон и в самом деле умер, и смерть его должна находиться в рамках одной из этих комбинаций. Прошу вас, постарайтесь меня понять: если один человек хочет покончить с жизнью, а другой об этом не знает, то факт упреждения самоубийства посредством убийства, согласно теории вероятности, является практически невозможным. Такое стечение обстоя-

тельств просто не может произойти в жизни, разве что лишь в самом дешевом криминальном романе. Однако существует другая возможность: убийца знает о желании другого лица совершить самоубийство. Это, конечно, возможно, потому что один человек может признаться другому в своих суицидальных намерениях. Но тогда лишь безумец убивал бы. Зачем убивать, рискуя попасть на виселицу, если человек, которого мы хотим убить, сам это сделает вместо нас. Достаточно подождать и, быть может, как-нибудь воздействовать на его психику, а он сам сделает то, чего мы хотим, не подвергая нас риску ужасной кары и страха перед разоблачением. Значит, это тоже было бы совершенно абсурдным.

Алекс замолчал.

— Уж не хотите ли вы этим сказать, что держите нас здесь уже почти час лишь для того, чтобы объяснить нам, что мой брат не был убит и не совершил самоубийства, несмотря на тысячи прощальных писем и отсутствие отпечатков пальцев везде, там, где, по вашему мнению, их должны быть целые стада? — Сирил Бедфорд улыбнулся, вынул потухшую трубку изо рта и раскурил ее. — Разве это не так выглядит?

Джо развел руками:

— В таком случае, я прошу прощения. Но не вижу другого способа, кроме как пробраться сквозь это шаг за шагом в том самом порядке, в каком протекали мои рассуждения. Готов признать, что это были не очень приятные минуты. Я сделал тщательный логический расчет и пришел к выводу, что сэр Гордон не может быть помещен ни в одну из вышеупомянутых восьми комбинаций. Но ведь других нет! И тогда я внезапно понял, в чем заключалась ошибка моих рассуждений… Во время анализа первых семи возможностей я был во всем прав. Но вот восьмая…

Он снова умолк и после драматической паузы начал говорить быстро, почти весело, так, будто решение проблемы значило для него в эту минуту больше, чем присутствие этих пятерых, столь заинтересованных людей.

— Тогда я исходил из возможности, что сэр Гордон хотел совершить самоубийство, а убийца об этом не знал и убил его, и это представлялось мне невозможным стечением обстоятельств. Вариант, при котором сэр Гордон хотел совершить самоубийство и убийца, зная об этом, опередил его, тоже казался абсурдным, поскольку это было бы доказательством полного идиотизма убийцы, а среди подозреваемых я не заметил патологических личностей. Но я совсем забыл еще об одном варианте: о том, что сэр Гордон мог написать письмо № 2, вовсе не собираясь покончить жизнь самоубийством!

— То есть как? — Роберт Рютт протер уставшие глаза. — Он не собирался, но письмо написал, а потом кто-то его убил и подбросил другое прощальное письмо? Что вы такое говорите? Ведь это вообще бессмыслица! Еще большая, чем все остальное.

— Гм-м… — Джо взглянул на него почти враждебно. — Вы так полагаете? Позвольте мне, в таком случае, еще в течение нескольких минут продолжить мои бессмысленные рассуждения. Я знавал и более продолжительные расследования и не думаю, что полиция слишком сильно замучила вас сегодня своими допросами. Вообще-то, мы здесь находимся всего-то неполных три часа и даже не всех домочадцев допросили. Поэтому позволю себе, — Джо обратился к остальным, — досказать все до конца.

— До конца? — спросила Сильвия, прищурив глаза. — Вы в этом уверены?

— Абсолютно, мадам. До конца — это значит до полного выяснения тут, перед вами, кто и при каких обстоятельствах убил сэра Гордона Бедфорда.

Наступила полная тишина.

— О Господи, — прошептала Агнес Уайт, и после ее слов снова воцарилось молчание.

— Итак, — Джо сел и закурил сигарету. — Когда я пришел к этому абсурдному и бессмысленному, как сказал мистер Рютт, выводу, я задал себе вопрос: а что мы, собственно, знаем? Мы знаем лишь то, что сэр Гордон написал сегодня ночью письмо, в котором говорит, что он уходит с пути двух любящих друг друга людей. Но ведь это письмо не подписано и на нем нет никаких отпечатков пальцев. Это означает, что, положенное перед любым самоубийцей, письмо выполнило бы ту же роль, если самоубийца будет подходить под психологический портрет, содержащийся в письме…

— То есть, как это? — не поняла Сильвия.

— Просто. Давайте подумаем. Если бы, например, мистер Роберт Рютт влюбился в вас и вы ответили бы ему взаимностью, но одновременно он чувствовал бы столь сильные угрызения совести, что мысль о подлости, совершенной по отношению к человеку, который опекал его, поддерживал, был его работодателем, не позволила бы ему жить дальше, то разве такое письмо не было бы великолепным объяснением его шага?

— Как это!? — глаза Сильвии расширились от ужаса. — Но ведь Роберт жив, а Гордон — нет!

— Вот именно. А что, если бы я предположил, что капсула с цианистым калием, лежащая наготове в кармане сэра Гордона, была предназначена для мистера Рютта, точно так же, как и это письмо? Что, если на слова «потом быть с ней мягким», записанные в блокноте, посмотреть с этой точки зрения? И если таким же образом посмотреть на тот факт, что на банке находятся старые следы пальцев, на кофеварке — тоже, а в блокноте читаем: «банка, попросить его, чтобы всыпал обратно», то становится понятным — достаточно того, чтобы мистер Рютт пришел в кабинет, всыпал по просьбе сэра Гордона цианид обратно в банку, а потом заварил кофе, — и вот его отпечатки пальцев зафиксировались на тех местах, которые станут ключевыми в расследовании предполагаемого самоубийства. Если еще добавить к этому прощальное письмо, напечатанное на машинке, плюс запись в блокноте: «Велеть ему написать несколько слов. Сжечь!!!», становится совершенно ясным, что сэр Гордон мог попросить мистера Рютта написать под диктовку несколько слов, достаточных для того, чтобы оставить на клавишах его отпечатки пальцев…

— Да, но при этом вы исходите из того, что я должен спуститься вниз к нему в кабинет, и тогда он бы меня убил, инсценируя мою смерть под самоубийство, — сказал Рютт. — Но все ведь знали, что в кабинете работает он один, и я не мог бы ни с того ни с сего пойти к нему в кабинет…

— Неужели? — Алекс с недоверием покачал головой. — Публично, при всех, сэр Гордон договорился с вами на семь утра. А потом, когда никто этого не слышал, — на шесть… Это значит, что если бы кто-то сошел вниз сегодня в семь утра и застал вас там мертвым — никто ведь не знал о том, что вы должны были явиться в шесть. А сэр Гордон в это время мог пойти, например, в фотолабораторию к Сирилу и во время его отсутствия все в кабинете могло случиться…

— Но остаюсь еще я, — пожал плечами Сирил Бедфорд. — Гордон действительно при всех договаривался о встрече с Рюттом в семь, но на шесть он договаривался также и со мной.

— О, я вовсе не утверждаю, что вы тоже хотели убить мистера Рютта. Вы вообще не хотели убивать…

— Благодарю вас, — Сирил кивнул и улыбнулся.

— Не за что, — сказал Алекс. — Мы еще всего не выяснили. Задумываясь над личностью убийцы, мне пришлось принимать во внимание всех здесь присутствующих. Каждый из вас имел возможность убить сэра Гордона, во-первых, потому что все вы находились здесь в момент его смерти, а во-вторых, потому что каждый из вас имел больший или меньший мотив, чтобы хотеть от него избавиться. Даже для мисс Агнес, как я уже говорил, мне удалось придумать такой мотив. Да, но если сэр Гордон хотел убить мистера Рютта и планировал совершить это убийство сегодня ночью (а все на это указывало: стирание отпечатков пальцев с кофеварки и с банки, в которой хранился яд, записи в блокноте, письмо, которое написал на машинке сэр Гордон, капсула с ядом в его кармане, ну и тот факт, что у него был сильный мотив, поскольку между мистером Рюттом и миссис Сильвией возникла любовь), то использовать все это мог лишь убийца, который должен был бы об этом знать. Лишь тогда, подбросив абсурдное письмо о финансовых злоупотреблениях сэра Гордона, убийца направил бы полицейское расследование в сторону жильцов дома, потому что, конечно, все бы стало явным — я имею в виду связь между мистером Рюттом и миссис Сильвией. И тогда эти двое в лучшем случае, может быть, и выкрутились, но были бы оба полностью скомпрометированы прессой, а в худшем случае их мог даже ждать судебный процесс. И не надо забывать, что оба они оказались бы совсем в незавидном положении, если будет доказано, что сэр Гордон был убит. Ну, хорошо, а кем же мог быть человек, который знал, что сэр Гордон хочет убить мистера Рютта? Не мог им быть сам Рютт, не могла им быть миссис Сильвия по понятным причинам. В ходе следствия миссис Джудит Бедфорд показала, что она узнала о любви миссис Сильвии и мистера Рютта благодаря общему камину в их комнатах, который позволил ей подслушивать разговоры их обоих. Во всех остальных ситуациях они мастерски конспирировались.

— Ах ты змея! — сказала Сильвия, глядя на Джудит глазами, в которых даже не было ненависти, а лишь удивление. — Как ты могла ему об этом сказать?!

— Я не говорила ему! — возмутилась Джудит. — Я бы никогда ему не сказала!

— И это правда, — покивал головой Алекс. — Но вы сказали об этом вашему мужу. Вы сказали ему об этом уже после отъезда сэра Гордона, миссис Сильвии и мистера Рютта.

— Ну ладно, да! — Сирил тоже кивнул головой. — Но ведь я ему тоже ничего не говорил. А если б сказал…— он развел руками, — ну, думаю, он разнес бы этот дом в щепки!

— В своих рассуждениях я принял другую гипотезу, — Джо улыбнулся так, будто просил прощения. — Я предположил, что вы сказали об этом своему брату сразу после его приезда позавчера, во время первой же подвернувшейся минуты, когда были наедине. Я предположил также, что вы еще раньше, узнав об отношениях миссис Сильвии и мистера Рютта, на всякий случай написали то письмо, которое мы впоследствии назвали письмом № 1, письмо, которое напечатано со старой лентой в машинке. Миссис Джудит сказала нам, что у нее есть запасные ключи к кабинету, которые она не слишком усердно стережет, потому что даже точно не уверена, где они находятся. А потом я подумал, что, быть может, вы рассказали обо всем брату и даже стали подталкивать его к тому, чтобы он убил мистера Рютта, употребляя, например, такой аргумент, что, мол, мистер Рютт совершил страшное преступление по отношению к сэру Гордону, но закон не карает за такие преступления. Думаю, что, учитывая суровый пуританский морализм вашего брата, мысль о восстановлении попранной

нравственности и наказании виновного не была для него равнозначной совершению преступления. Согласно его убеждениям, мистер Рютт, как прелюбодей и неблагодарное существо, заслуживал высшей кары. Добавим ревность, чувство собственной оскорбленной любви, ярость — и вот перед нами вся картина. Думаю, что после всего сэр Гордон не оставил бы жену. Возможно, он рассчитывал на то, что смерть любимого потрясет ее. «Быть потом мягким к ней…» — написал он в своем блокноте…

— Следует признать, что у вас необыкновенно богатое воображение, — с уважением сказал Сирил Бедфорд, кивая головой.

— Без этого расследование тянется месяцами… — вздохнул Джо. — О чем это мы говорили? Ах, да. Так вот, я предположил, как уже было сказано, что сэр Гордон обдумывал план мести вместе с братом. Он был полностью уверен в том, что вы сохраните тайну. Он уже много лет держал вас в руках и в случае чего ваши показания против него в суде опроверг бы с легкостью. Да и не пришло бы никому в голову, что такой человек, как он, мог бы совершить убийство. Все детали убийства мистера Рютта были тщательно продуманы. После ужина сэр Гордон уславливается с ним и с вами на семь утра. Позже, когда уже ни одна из женщин вас не слышала, он меняет время на шесть. Если бы мистер Рютт умер, а вы сохранили бы тайну, можно было спокойно отравить его в шесть, разложить перед ним на столе все что нужно и спокойно идти спать, а затем спуститься в семь утра и застать его умершим уже некоторое время назад…

— А зачем же мне надо было уговаривать Гордона на это дело? — спросил Сирил со спокойной улыбкой. — Не думаете же вы, что присутствующий здесь бедный мистер Рютт мешает мне хоть в малейшей степени? Я был даже рад, когда Джудит сказала мне, что он наставил Гордону рога… Извините, что я затрагиваю сейчас эту тему, но мы говорим о возможных гипотезах совершения преступления, поэтому хочу сразу подчеркнуть то обстоятельство, что смерть мистера Рютта и склонение Гордона к его убийству — это для меня полная бессмыслица.

— Но я ведь уже сказал один раз, что вы вовсе не желали смерти мистеру Рютту. Вы хотели смерти своего брата, который держал вас в своей железной руке уже много лет. Вы прекрасно знали, что в случае его кончины вы получите свободу и сможете, наконец, выпорхнуть из той клетки, в которую он вас посадил. Все было очень просто, и вы обсудили все детали убийства. Вы должны были предоставить Гордону алиби. Вероятно, условились, что вы дадите показания о том, что якобы разбудили Гордона в шесть, а потом до семи с ним работали в фотолаборатории. Затем спустились вниз и обнаружили в кабинете уже холодного Рютта. Тем временем, ваш же план был еще проще. Вам надо было спуститься вниз в четыре под предлогом подготовки всего необходимого к приходу Рютта в шесть, подать сэру Гордону чашку кофе с цианистым калием, а потом, все проверив, отправиться наверх и лечь в постель…

— Хорошо, что у вас нет никаких доказательств, — Сирил выбил выкуренную трубку и вновь стал наполнять ее табаком. — Иначе, при вашей творческой изобретательности, вы и впрямь готовы были бы заковать меня в цепи…

— Но разве вы не понимаете, что если сэр Гордон хотел убить мистера Рютта, то вы — единственный, кто мог убить сэра Гордона? Лишь вы один, кроме покойного, знали о планируемом убийстве. Лишь вы один, кроме покойного и мистера Рютта, знали, что должны встретиться в шесть, а не в семь утра. Если бы вы не были посвящены в планы сэра Гордона, он никогда не приглашал бы вас на шесть вместе с Рюттом — ведь тогда вы стали бы единственным свидетелем смерти Рютта. Вы знали о Рютте и Сильвии,

вам была выгодна смерть Гордона, вы его ненавидели, знали о его плане, вы помогли ему написать письмо № 1, словом — вы один подтверждали все мои предположения, и не было в них ни одного слабого места. Не было ничего такого, чего вы не могли бы сделать. Однако были еще и другие моменты, которых я пока не рассматривал, но которые тоже должны были бы соответствовать вам. Когда все у меня стало так хорошо складываться, я начал задумываться над остальными вопросами, и прежде всего над проблемой ручки окна. Она выросла у меня до апокалипсических размеров. Я никак не мог понять, кто и зачем вытер ее. Сэр Гордон — нет. Убийца? Но зачем? Убийца мог вытереть ручку только в том случае, если он открывал окно и хотел, чтобы не осталось его следов после этого. Но зачем убийца открывал окно?

Алекс умолк.

— Но, сэр, — сказала Агнес Уайт, — чтобы вытереть ручку, вовсе не надо открывать окно.

— Да, но благодаря счастливому стечению обстоятельств мы знаем, что вы были там перед полуночью, открыли окно, закрыли его и ушли, не вытирая ручки. Благодаря этому мы узнали, что кто-то позже протер ручку окна и стер отпечатки пальцев. Этим кем-то мог быть только один убийца. Но зачем ему было это делать? Он ничего не выбрасывал в окно. Ему никто ничего не подал через окно.

— Может, он хотел проветрить комнату?

— Браво! Но после чего? После кофе? Нет. После цианистого калия? Но ведь полиция и так быстро узнает, от чего погиб Гордон Бедфорд. Убийца мог открыть окно лишь по одной причине, по той же, по которой обычно поступают все преступники, — чтобы скрыть следы своего присутствия на месте преступления.

Джо умолк.

— То есть как? — не поняла Сильвия.

— Ну, например, для того, чтобы выпустить дым…

— Дым?... Но ведь никто из нас… — Сильвия вдруг умолкла и посмотрела на Сирила, Рютт сидел в полном остолбенении, Джудит Бедфорд даже не моргнула.

— Ерунда, — сказал Сирил Бедфорд. — Только я один курю в этом доме, но я не открывал это окно.

— Ба! — Джо подошел к портьере и поднял палец. — А она утверждает нечто обратное… Вы позволите…

Джо встал и двинулся в сторону кабинета, слыша за спиной звук отодвигаемых стульев.

— Что это? — двигаясь следом за Алексом и глядя в направлении его вытянутого пальца, Сирил Бедфорд подошел к окну.

— Бабочка «Мертвая голова». Она влетела сюда, когда вы открыли окно. Вы не отодвинули шторы, потому что боялись, что кто-то может увидеть вас снаружи.

— Это вздор! — Сирил пожал плечами. — Она никак не могла сюда влететь. Ведь тогда было уже совсем светло.

Он умолк и шлепнул себя по губам.

— Вот именно, — сказал Алекс, кивая головой. — Было уже светло. Это вы сами сказали, Сирил Бедфорд.

Сирил Бедфорд бросился к окну, но решетка остановила его. Он повернулся. Огромная глыба его тела на мгновение повисла над худощавой фигурой Алекса.

— Спокойно, — Паркер стоял совершенно неподвижно. Длинный оксидированный ствол пистолета не дрогнул в его руке, когда он произнес это единственное слово. Но слово это возымело действие.

Сирил Бедфорд после секундного колебания опустил свои могучие руки.

— Ладно… я сдаюсь, — сказал он. — Но как она могла туда попасть? Ведь тогда и в самом деле было уже совсем светло.

— Вероятно, какой-то добрый дух посадил ее туда, — негромко произнес Джо.

Полчаса спустя, когда смолкла сирена автомобиля, увозившего преступника, Паркер, надевая плащ, взглянул на штору и сказал:

— Слушай, она там до сих пор сидит…

— И будет сидеть до судного дня, если я ее не сниму, — Джо подпрыгнул и кончиками пальцев снял бабочку со шторы.

— Но она не шевелится, — Паркер подошел и склонился над насекомым, которое держал в своих пальцах Алекс.

— Еще бы… Мертвые не шевелятся, как ты знаешь… — Джо осторожно взял пальцами кончик булавки, которой бабочка была пришпилена к шторе, отнес к коллекционному ящику и приколол на место.

— Это та самая, — сказал он. — Помогла нам немного, хотя и так у нас были все улики на руках. Но всегда лучше, если они признаются. Тогда можно выспаться.

— Я полагаю, ты не намерен возвратиться в кровать в это время? — Паркер глянул на часы. — Скоро десять!

Алекс наклонился и сказал другу на ухо:

— Открою тебе секрет: у меня все так легко получилось потому, что я сам, как эти ночные бабочки, Бен. Я могу весь день спать, а потом всю ночь что-то делать. Спокойной ночи, Бен. С завтрашнего дня можешь называть меня Джо Атропос!

И, смеясь, вышел из комнаты. Заместитель начальника криминального отдела Скотленд-Ярда услышал стук закрывающейся двери, потом шелестящий звук шагов на покрытой гравием дорожке и наконец увидел худощавую фигуру Алекса, приближающегося к воротам. Полицейский в мундире уступил ему дорогу и отдал честь. Потом калитка закрылась и Джо исчез.

— О Господи, — прошептал Паркер и потер рукой лоб. — Господи, Боже мой… Его жена никогда ему не изменит, а если изменит и он захочет убить ее или ее любовника, мы не раскроем этого преступления до самого судного дня.

Он нахмурился, но его лицо тут же разгладилось, и на нем появилась улыбка.

К счастью, Джо Алекс не был женат.

Перевод с польского Роберта СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО
при участии Владимира КУКУНИ по эксклюзивному праву,
предоставленному автором.



Зинаида КРАСНЕВСКАЯ

Переводчики, которым хочется сказать «спасибо»



Вера Николаевна МАРКОВА
(3 марта 1907 года — 9 марта 1995 года)

Поэзия должна быть высокой,
как небо,
И земной, как хлеб насущный.
В. Н. МАРКОВА

Ах, какая жалость, что статья о Вере Николаевне не подоспела к мартовскому номеру журнала: была бы такая своеобразная дань восхищения незаурядной женщиной и великим переводчиком по случаю Дня 8 марта. Что, впрочем, отнюдь не умаляет нашего восхищения ею и в другие одиннадцать месяцев года. А потому все равно пишем о Марковой и при этом обязательно стараемся сохранить женскую составляющую в ее биографии. Ведь, как ни верти, а Вера Николаевна Маркова — единственная женщина среди героев моих очерков о переводчиках, которым хочется сказать «спасибо».

Правда, некоторую толику своих восторгов я уже успела излить на страницах журнала «Нёман» (№ 9, 2016), в котором был опубликован очерк, посвященный Сэй-Сёнагон и ее великому творению под названием «Записки у изголовья». Которое все мы сегодня имеем возможность читать по-русски именно в переводе Веры Николаевны Марковой и именно благодаря ее превеликим трудам и талантам. Самое время напомнить широкой публике, что на протяжении всего девятнадцатого века, да и в самом начале века двадцатого, японские стихи и проза если и переводились на русский язык, то главным образом с немецкого или французского, но никак не с языка оригинала. А потому вклад переводчика Марковой в дело популяризации японской культуры поистине бесценен. Словом, восторгов, тем более, заслуженных, которых, как и денег, тоже никогда не бывает много, эта женщина достойна как никто.

Но прежде чем начать озвучивать свои восторги, одно небольшое отступление. Наш выдающийся советский ученый-ориенталист, замечательный переводчик и несравненный интерпретатор японских художественных текстов, академик

Николай Иосифович Конрад, с именем которого вполне обоснованно связывают инициацию сближения русской и японской культур (процесс этот начался в двадцатые годы прошлого столетия), когда будущий академик, можно сказать, самолично поучаствовал в открытии необъятного мира японской литературы русскоязычному читателю, так вот он именовал произведение прославленной японской писательницы несколько иначе: «Из-под подушки».

Вот что писал Николай Иосифович о Сэй-Сёнагон и ее записках в своем послесловии уже к собственному переводу японской лирической повести начала X века «Исэ моногатари».

«Придворная дама, фрейлина императрицы, из аристократической семьи, сама — дочь поэта, прошедшая весь курс литературного образования, постигшая все тайны поэтического искусства, воспринявшая целиком всю эту утонченную культуру, — Сэй-Сёнагон как нельзя лучше подходила к созданию этого вида художественной прозы. Наблюдательный, меткий, склонный к сарказму, иронии, насмешкам ум способствовал выпуклости, четкости и яркости ее набросков».

«Из-под подушки» — озаглавила она эти наброски: хотела сказать, что это все ей так близко, так дорого, что может быть доверено лишь изголовью, этому постоянному поверенному и мечтаний о счастье, и стенаний в бедах, тайных и скрытых. Тишь и покой. Сёнагон у себя в комнате: у изголовья, рядом с подушкой маленький прибор с тушью и кистями, свиток бумаги тут же, около. Поднимается рука и набрасывает две-три фразы, мысли, свидетельства памяти, что-нибудь еще; записывается, свертывается и… суется под изголовье, под подушку».

Пространность цитаты имеет свое логическое обоснование, но об этом чуть ниже. А пока лишь переведу восхищенный вздох и замечу попутно, что эти строки писались не где-нибудь, а в Петрограде, и не когда-нибудь, а в холодный, голодный 1923 год. Когда в серии «Всемирной литературы», основанной А. М. Горьким почти сразу же после Великой Октябрьской революции, и была опубликована повесть «Исэ моногатари» в переводе двадцативосьмилетнего на тот момент Николая Конрада. А еще ранее, в 1919 году, в самый разгар Гражданской войны, было выпущено специальное уведомление о готовящейся к печати книге, в котором особо отмечалось, что *«русские востоковеды охотно откликнулись на призыв передать понятной русской речью замечательные и характерные произведения восточных писателей…»*

И чего стоят после этих строк рассуждения некоторых современных культурологов и иже с ними, с упоением рисующих нам ужасы первых лет советской власти со всем ее якобы мракобесием и уничтожением всяческой культуры как таковой? Нет, господа хорошие! Нарождающееся новое общество с самого начала сделало ставку именно на культуру, на высокую культуру, способную не только просвещать народные массы, но и вести их вперед и вверх. Как в той песне — все выше, и выше, и выше… По-моему, пробил час, когда нам, сегодняшним, стоило бы крепко задуматься над тем, а куда тянет народ уже нынешняя культура во всех ее проявлениях и смыслах. *«Вот в чем вопрос»,* как говаривал незабвенный Гамлет. Во всяком случае, главный принцип советской образовательной системы — «элитарность знаний при тотальной возможности их получать» (цитирую по памяти мысль, вычитанную в одной давней статье), так вот, этот принцип утерян, и как мне кажется, безвозвратно и навсегда. Ведь ныне на гребне славы и на повестке дня всяческие матерные «баттлы», приблатненный шансон и глупейшие

детективы, которые почему-то сплошь и рядом именуются не иначе как «ироничными».

Но вернемся к нашей героине. Нет, совсем не случайным кажется упоминание академика Конрада в контексте биографии Веры Николаевны. Ибо именно Конрад определил и ее профессиональную стезю, и последующий творческий выбор. Но обо всем по порядку.

Несмотря на множество отсылок к имени Марковой в интернете, общие сведения о ней довольно скудны и хаотичны. Ибо всю свою долгую жизнь (целых 88 лет!) Вера Николаевна свято исповедовала принцип древних: живи незаметно. Впрочем, как и положено настоящему переводчику, никогда не выпячивающему себя и свое творчество и не претендующему на первые роли в мировой и отечественной культуре. А потому и мы постараемся соблюсти этот принцип незаметности в жизнеописании нашей героини, коротко ограничившись главными вехами.

Итак, в графе «Дата и место рождения» значится короткое: Минск, Российская империя, 3 марта 1907 года. В графе «Дата и место смерти» — город Москва и уже просто «Россия». Умерла в том же месяце, в каком и родилась: 9 марта 1995 года. Что ж, всем нам, жителям современной Беларуси, и всем минчанам в частности, можно гордиться такой великой, без всякого преувеличения, соотечественницей и землячкой. Хорошо, если бы наши местные краеведы озаботились поисками следов пребывания семейства Марковых в городе Минске. А то все больше рыщут, родимые, по задворкам польской культуры на просторах столь желанных для западных соседей *«Усходніх крэсаў»*: Монюшко, Радзивилы и прочие. Но это так, к слову.

О детских годах будущего переводческого корифея сведений почти не сохранилось. Известно лишь, что отец Веры Николаевны был инженером и работал на железной дороге. Скорее всего, с началом Первой мировой войны, когда территория современной Беларуси вплотную приблизилась к театру военных действий, Марков вывез семью подальше от линии фронта.

После окончания школы Вера Маркова поступила на филологический факультет тогда еще Петроградского университета, который окончила в 1931 году, но уже — внимание! — не филологический факультет, а японское отделение восточного факультета и уже Ленинградского университета. Такой крутой вираж имеет свою подоплеку. Еще будучи студенткой первого курса филологического факультета, Вера Маркова прослышала от старшекурсников, что самые увлекательные лекции по филологии читает молодой профессор, востоковед Конрад. Сходила, послушала и увлеклась. Троекратное действие, почти как у Цезаря, того, который Гай Юлий: *veni, vidi, vici.* Что, впрочем, совсем неудивительно. Конрад мог с легкостью заразить своим энтузиазмом кого угодно. Словом, встреча с будущим академиком решила судьбу молоденькой студентки. Едва ли на тот момент юная Вера предполагала, что когда-нибудь, по истечении многих и многих лет, ее имя будет стоять в ряду самых прославленных востоковедов страны, причем сразу же после имени Конрада, ее учителя и главного наставника, бесспорного основателя русской школы японоведения.

Надо сказать, что Николай Иосифович тоже довольно быстро разглядел неординарные дарования своей новой ученицы. Он даже предрек ей большое переводческое будущее. Однажды Николай Иосифович обронил в разговоре с Верой Николаевной, что ее удел — заниматься переводами изящной литературы древней Японии, такими произведениями, к примеру, как «Записки у изголовья» Сэй-Сёнагон, которые — повторюсь, он сам называл несколько иначе: «Из-под подушки». А еще профессор посовето-

вал студентке обратить внимание на японскую поэзию, знаменитые хокку и танки, на тот момент совершенно не известные русскоязычному читателю. Это сегодня любой просвещенный читатель может с легкостью процитировать пару-тройку трехстиший (хокку) Мацуо Басе (1644—1694), кстати, в переводе Веры Марковой. Например, вот такие:

Рядом с цветущим вьюнком
Отдыхает в страду молотильщик.
Как он печален, наш мир!

Или:

Далекий зов кукушки
Напрасно прозвучал. Ведь в наши дни
Перевелись поэты.

А вот пронзительные, хватающие за душу строки другого прославленного поэта Кобаяси Исса (1763—1828).

Печальный мир!
Даже когда расцветают вишни…
Даже тогда…

Но мы несколько опережаем события, ибо в те уже изрядно отошедшие в прошлое времена, в самом начале тридцатых прошлого века, мало кто в нашем тогдашнем отечестве подозревал о существовании такого богатейшего пласта мировой литературы, как японская поэзия или лирическая проза.

Итак… Казалось бы, цели определены, жизненная перспектива ясна. Словом, за работу, товарищи! К новым свершениям в области поэтического перевода. Ан нет! Вопреки пророчествам своего великого учителя, Вера Николаевна пришла к самостоятельной переводческой деятельности лишь спустя долгих двадцать лет после окончания университета. Все довоенное десятилетие, да и первые послевоенные годы, она прилежно занималась научными изысканиями в области японистики.

Вполне возможно, что на переводческую работу Маркову подвигли и некоторые перемены в личной жизни. Так уж случилось, что после войны Вера Николаевна перебралась на постоянное место жительства из Ленинграда в Москву. Сам переезд не в последнюю очередь был продиктован сугубо семейными обстоятельствами. Дело в том, что муж Марковой, известный художник и искусствовед Леонид Евгеньевич Фейнберг (кстати, он выступил в качестве художника-иллюстратора нескольких книг своей жены), был коренным москвичом, а потому и выбор местожительства был как бы предопределен заранее. Начался новый, уже московский период в жизни Веры Николаевны.

И именно в Москве в 1954 году выходит в свет первая книга переводов сорокасемилетней Марковой: сборник под названием «Японская поэзия». Малозначительное, на первый взгляд, событие, тем не менее, наделавшее много шума. Ведь именно с выходом в свет этой книги в стране начался самый настоящий бум интереса ко всему японскому, включая и японскую поэзию, разумеется. Буквально в течение нескольких лет хокку и танки завоевали сердца почитателей поэзии и самих поэтов, почти сравнявшись по степени известности с пресловутыми ямбом или хореем. Очень скоро имена Басе и Кобаяси Исса, которых особенно много переводила Вера Николаевна, стали не просто знакомы нашей публике, они прочно заняли свое место среди самых любимых поэтов отечественных читателей.

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.

Басе

Или вот еще строки из его «Предсмертной песни».

В пути я заболел,
И все бежит, кружит мой сон
По выжженным лугам.

Поразительное по своей глубине трехстишие. Лишь тот, кому довелось пережить тяжелую болезнь, с горячкой, полуобморочными состояниями, балансированием на грани бытия и небытия, сможет по достоинству оценить эти скупые строки, рисующие высшую степень физического истощения. Читаешь и буквально чувствуешь, как мороз пробегает по коже.

Или вот еще одно, не менее прославленное хокку под названием «Улитка», принадлежащее уже кисти Кобаяси Исса, разошедшееся в нашей отечественной культуре на самые разнообразные реминисценции.

Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи вверх,
До самых высот!

Достаточно вспомнить, что под влиянием образа улитки известные фантасты братья Стругацкие даже назвали одну из своих повестей «Улитка на склоне», а культовая фигура отечественной рок-музыки Борис Гребенщиков использовал перевод Веры Марковой, включив его в качестве припева к своей песне «Пока несут саке».

Впрочем, количество музыкантов, обращавшихся к поэтическим переводам Марковой, черпая в них свое вдохновение, не ограничивается только бардами из числа научно-технической интеллигенции, особенно запавшей на японские поэтические миниатюры, или популярными рок-исполнителями. Между прочим, насчет особой популярности японской поэзии именно в среде научно-технической интеллигенции — это никакое не преувеличение. Еще большой такой вопрос для маленькой компании, как пелось в одной популярной бардовской песне, почему именно технари первыми откликнулись на зов восточной поэзии, открыв в ней некие глубинные, только им понятные смыслы. Но могу засвидетельствовать, как человек, несколько десятилетий проработавший в этой среде в качестве переводчика научно-технической литературы, что да, так оно все и было на самом деле! Отлично помню, что когда в 1977 году Торгово-промышленная палата БССР объявила о первом наборе студентов-японистов в Институт научно-технического перевода, то, к примеру, в нашей группе оказалось всего лишь четыре гуманитария, включая автора этих строк, а все остальные — ученые, физики, химики, радиоэлектронщики и инженеры всех мастей и направлений. Многие из которых (как мой давний друг Михаил Володин, известный в те годы бард) пришли изучать японский только затем, чтобы потом самим начать переводить эти самые хокку и танки.

Ну, а возвращаясь уже к серьезной музыке, назову вокальный цикл, написанный Микаэлом Таривердиевым на слова японских поэтов, под общим названием «Акварели». Да и наша соотечественница, известный белорусский композитор Галина Горелова, тоже создала под влиянием Басе и Исса цикл фортепьянных пьес «Японские миниатюры на шелке».

Дальше — больше. У прославленных японских поэтов, ставших трудами Веры Николаевны вполне «своими» на ниве отечественной литературы,

появились не только многочисленные почитатели, но и огромное количество подражателей. Многие наши современные поэты тоже бросились сочинять хокку и танки. Дескать, а чем мы хуже? Есть таковые и среди белорусских поэтов.

Положа руку на сердце скажу, что пока никто из этих смельчаков не достиг уровня поэтического самовыражения, которого добились в своем творчестве японцы. И дело тут не только в их особой ментальности или иных культурных традициях и кодах. Как мне кажется, наших отечественных «подражателей» губит чрезмерное глубокомыслие и отсутствие той высшей, божественной простоты, которая является отличительной чертой и своеобразной визитной карточкой истинной японской поэзии. Впрочем, как и любой другой настоящей поэзии. И вот вам еще один пример из Басе.

Слово скажу,
Леденеют губы.
Осенний вихрь!

Какая изящная и законченная в своей лаконичной полноте картина, абрисно воссозданная поэтом. Легкое движение руки, взмах другой кистью — и все. Готово! И при этом никакой назидательности, никакой заумности, плюс полное отсутствие привычных всем нам традиционных поэтических средств, будь то метафоры, эпитеты и прочее. А общий смысл предельно ясен и понятен. Ведь он почти сродни нашей известной пословице: молчание — золото…

Вот и получается, что мало постичь форму и овладеть всеми видимыми секретами мастерства. Надо еще обладать и особым поэтическим слухом, чтобы уметь различать малейшие переливы чувств и настроений, которыми полнятся хокку и танки, написанные японскими авторами. Ну, а для того, чтобы сделать полноценный перевод этих шедевров на русский (или на какой другой) язык, надо иметь то, что сама Маркова именовала уже «переводческим слухом». Стоит ли говорить, что ее собственный переводческий слух был безупречен.

Много раз по самым разным поводам Вера Николаевна повторяла, что наиболее трудным в переводческой работе является не столько сам процесс перевода, сколько отбор материала для будущих переводов. Она совершенно справедливо полагала, что переводческая удача приходит лишь тогда и к тем, кто умеет точно определиться со своим выбором. А в результате отобранные стихи свободно и органично входят в состав того языка, на который они переводятся. Что ж, хокку Басе, которые Маркова отобрала для шестнадцатого тома «Всемирной литературы» под названием «Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии», оказались по-настоящему русскими. Эти переводы уже давно стали не только полноценным фактором русского языка, но и русской поэзии тоже. Кстати, с легкой руки профессора япониста Александра Николаевича Мещерякова коллеги Марковой любовно и ласково называют ее переводы «марковками». Согласитесь, такая милая дань уважения со стороны коллег, она ведь тоже дорогого стоит.

В своем предисловии к книге собственных переводов под названием «Японские трехстишия» (а надо сказать, что Вера Николаевна всегда в обязательном порядке сама писала предисловия к своим книгам, как это делал и Н. И. Конрад, — еще одна хорошая привычка, унаследованная от учителя) Маркова очень точно определила дилемму, которую берутся решать переводчики японской поэзии.

«Переводчики стремятся сохранить лаконизм хокку и в то же время сделать их понятными. Надо, однако, помнить, что японские трехстишия обязательно требуют от читателя работы воображения, участия в творческом труде поэта. В этом главная особенность хокку. Все растолковать до конца — значит не только погрешить против японской поэзии, но и лишить читателя большой радости вырастить цветы из горсти семян, щедро рассыпанных японскими поэтами».

И вот, к слову, весьма поучительный пример по поводу лишения читателя радостей делать собственные открытия в процессе постижения переводного текста, правда, несколько из другой оперы, но все равно в точку.

Недавно у меня зашел разговор с одной хорошей знакомой, ярой почитательницей переводческих талантов Самуила Яковлевича Маршака. Которые, несомненно, есть, кто бы спорил. Но и всевозможных ляпов в его творческом наследии тоже предостаточно. А иногда и откровенной заносчивости по отношению к переводимому автору, по принципу: «Я — Маршак, а ты — никто». Так вот! В качестве примера блистательных свершений Маршака на ниве поэтического перевода знакомая процитировала мне остроумный стишок Генри Олдрича, известного английского теолога и философа XVII века, о вреде пьянства.

— Представляешь, — заявила мне она с придыханием в голосе, закончив декламацию. — Олдрич назвал всего лишь пять причин для пьянства, а у Маршака их целых девятнадцать!

Я не стала спорить, говорить, что подобные переводческие вольности есть чистейшей воды отсебятина, и прочее. Но, оставшись одна, пошарила в интернете и нашла оригинал стихотворения. Прочитала и задумалась. То, что сам Олдрич, перечисляя поводы для пьянства, обозначил одной очень емкой строкой *'Or — any other reason why'* (то есть: для пьянства сгодится любой повод, было бы желание), у Маршака превратилось в скучное перечисление аж целых девятнадцати поводов для того, чтобы приложиться к бутылке. Судя по всему, наш прославленный мэтр начисто забыл о том, что поводов для питейных излишеств может быть сколько угодно. Вполне возможно, тысяча, а то и все две. И каждый читатель волен сам додумывать этот список, опираясь на собственную силу воображения или свой опыт. Но нет! Все разложил по полочкам, все растолковал до конца, цитируя ту же Маркову, и тем самым лишил читателя действительно по-настоящему большой радости самостоятельного постижения истинного смысла, сокрытого в поэтических строках. Кто прав? Ответ очевиден. Как меланхолично обронил когда-то Кобаяси Исса, хокку которого бережно-бережно перевела на русский язык Вера Николаевна.

Снова весна.
Приходит новая глупость
Старой на смену.

Говоря же о поэтических переводах Марковой, стоит отметить, что Вера Николаевна переводила не только японцев. Так, в числе первых советских переводчиков она обратила свое внимание на поэзию Эмили Дикенсон (1830—1886). Это сегодня американская поэтесса знаменита и прославлена на весь мир, занимая первые строчки во всевозможных поэтических хит-парадах и у себя на родине, где ее популярность просто зашкаливает, да и в других странах тоже. А при жизни из всего ее обширного литературного наследия (где-то около двух тысяч стихов) было опубликовано всего лишь восемь коротких стихотворений. Такая невеселая статистика, увы! И вот стараниями Веры Николаевны Эмили Дикенсон заговорила по-рус-

ски. И не просто заговорила, а снова (как это произошло и с японцами) стала «своей» в русской поэзии. Вначале отдельные стихотворения в переводе Марковой регулярно появлялись на страницах журнала «Иностранная литература», а в 1981 году вышел в свет уже целый сборник поэтических переводов из творческого наследия Эмили Дикенсон. Кстати, первая книга стихов замечательной американской поэтессы на русском языке.

Жизнь — только Жизнь. Смерть — только Смерть.
Свет — только Свет. Смерч — только Смерч.
Пусть карты их рассудят.
Ты побежден? Но мысль сладка:
Решилось все — наверняка —
И худшего не будет!

Хорошо! Правда ведь? Впрочем, чему удивляться? Вера Николаевна Маркова и сама была весьма незаурядным поэтом, просто никогда не мельтешила на публике с собственными опусами. Между тем многие исследователи творчества Марковой вполне обоснованно относят ее поэтическое наследие к вершинам русскоязычной поэзии XX века. Хотя и сегодня ее стихи вряд ли известны широкому кругу почитателей поэзии. Ведь единственный прижизненный сборник стихотворений Марковой под названием «Луна восходит дважды» был издан микроскопическим тиражом на собственные средства автора в далеком 1993 году. Остается лишь повторить вслед за Мариной Цветаевой: *«Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед».* А пока же привожу полностью одно стихотворение Марковой из этого сборника, датированное 1982 годом. Итак,

Молитва

Уже земле я неподсудна,
Дозволь из всех Твоих путей

Один мне выбрать, самый трудный:
Пошли меня хранить детей!

Когда дрожит небесный круг
От нестихающего крика,
Но мать не пробудил испуг,
Пошли меня, пошли, Владыко,
Принять дитя из мертвых рук.

Прекрасен труд мастерового,
Люблю игру его затей.
Отдай другим резец и слово.
Меня пошли хранить детей.

Кстати, как справедливо заметил кто-то из исследователей творчества В. Н. Марковой, тема нереализованного материнства (у Веры Николаевны никогда не было своих детей, и всю нерастраченную материнскую любовь она щедрой рукой изливала на детей мужа, а потом и на его внуков), так вот, эта тема красной нитью проходит через все (ну, или почти все) стихи Марковой. Отчего они порой приобретают такое возвышенно-трагическое звучание, пробуждая в душе читателя грустные сожаления о том, что жизнь их автора сложилась именно так, как сложилась.

Да, переводческое наследие Марковой обширно и разносторонне. Ведь она переводила на русский язык не только лирические повести древней Японии, хокку и танки таких прославленных поэтов, как Басе, Исса или Такубоку Исикава, но и современную японскую поэзию. Помимо прочего,

на ее счету переводы многочисленных новелл современных японских авторов, включая новеллы Акутагавы и Сайкаку. Отдавая дань своему увлечению театром, Вера Николаевна перевела несколько драм Тикамацу и пьесы театра «Но». На ее счету также несколько сборников японских народных сказок для детей.

И каждая новая книга в обязательном порядке сопровождалась обстоятельным, развернутым авторским предисловием, в котором Маркова не только знакомила публику с интересными и значимыми событиями из истории Японии, но и ненавязчиво подготавливала своего читателя к правильному восприятию японской литературы, могущей на первых порах показаться неискушенному человеку слишком сложной или чересчур заумной. Многие из этих предисловий вполне тянут на фундаментальные научные статьи по проблемам японистики (которых, к слову, на счету Марковой тоже немало), настолько они аргументированны и содержательны, настолько точно выверены в них все научные концепции и приведенные факты. Нет, что ни говори, а вклад Веры Николаевны в развитие русско-японских культурных и литературных связей поистине уникален. А потому стоит ли удивляться, что он был по достоинству оценен и правительством Японии, которое в 1993 году наградило переводчика В. Н. Маркову орденом Священного сокровища, присуждаемым редким иностранцам за их особый вклад в популяризацию японской культуры.

И все же, говоря о переводческой составляющей творчества Марковой, нужно признать, что в длинном ряду ее свершений и побед есть один совершенно особый перевод, который, по сути, и обессмертил ее имя, навсегда вписав его во все анналы нашей отечественной культуры. Разумеется, речь идет о «Записках у изголовья» Сэй-Сёнагон, той самой книге, на которую в свое время еще совсем юной студентке посоветовал обратить внимание сам Николай Иосифович Конрад.

Не растекаясь особо мыслью по древу, как говаривали в старину (вот, кстати, еще одна курьезнейшая переводческая ошибка, случившаяся при переводе «Слова о полку Игореве» на современный русский язык, но об этом как-нибудь в другой раз), скажу лишь, что Вере Николаевне действительно удалось сотворить самый настоящий шедевр. В чем загадка столь виртуозно вдохновенного перевыражения литературного памятника Японии X или начала XI века, судить не берусь. Но лично мне кажется, что каким-то уникальным образом сработал пресловутый гендерный принцип. Женщина переводила женщину. И не просто женщина, и не просто женщину.

Ведь как заметила сама Сэй-Сёнагон в своих «Записках», *«Но мужчины, они не способны почувствовать сострадание или понять сердце женщины»*. А тут такая удача. Через какое-то там тысячелетие (Сущий пустяк, не так ли? Особенно, если вспомнить, что у Бога и тысяча лет как один день…), так вот, через тысячу лет в культурном пространстве нашей планеты судьба свела воедино двух женщин, обладающих почти одинаковой ментальностью. Эти две, автор «Записок» и их переводчик, одинаковы, как мне представляется, даже на уровне подсознания. Они одинаково мыслят, они одинаково смотрят на окружающий мир, который, в сущности, остался все тем же. И люди все те же, независимо от того, ходят они в кимоно или щеголяют в рваных джинсах, и проблемы, с которыми они сталкиваются, не так уж кардинально поменялись за последние десять веков.

Вот такое счастливое во всех смыслах совпадение и обеспечило столь достойный результат на выходе. Как я уже писала в очерке о Сэй-Сёнагон, каждая строка буквально поет под пером переводчика, заставляя читателя

забывать о том, что он держит в руках переводную книгу. Вы только вслушайтесь в эту музыку слова!

Холодом-холодом веяя,
Стелется тонкий ледок…

Или вот еще отрывок, живописное описание зимнего пейзажа на излете ночи.

«Даже самые жалкие хижины казались прекрасными под снежной пеленой. Они так сверкали в лучах предрассветного месяца, словно были крыты серебром вместо тростника. Повсюду виднелось такое множество сосулек, коротких и длинных, словно кто-то нарочно развесил их по краям крыш. Хрустальный водопад сосулек! Никаких слов не хватает, чтобы описать великолепие этой картины».

Но вот, как оказалось, нужные слова нашлись не только в японском языке, но и в русском тоже.

Кажется, после всех излитых восторгов пора бы уже поставить точку, в полном соответствии с рекомендациями самой Сэй-Сёнагон, утверждавшей, что *«немногословие прекрасно»*. Но тут как нельзя кстати в памяти всплыл весьма дельный совет от Маши из мультика про Машу и Медведя. Помните? «Больше чувства! Больше страсти и огня!» Действительно, так и просятся еще несколько легких штрихов, раскрывающих уже личностные качества моей незаурядной героини, а заодно и утепляющих ее образ. А потому еще одна цитата, на сей раз из очень симпатичных воспоминаний московского литератора Александра Трофимова, посвященных Марковой. Трофимов близко знал Веру Николаевну и даже дружил с ней в последние годы ее жизни. По моему разумению, он рассуждает именно о чувствах в самом высоком понимании этого слова.

«Мы пили чай, беседовали, и мне так не хотелось уходить из этого дома. Ее квартира — это что-то необычное для людей моего поколения. Здесь ощущалась связь времен, особенно передаваемая через вещи: старинная мебель, картины, красота обстановки, множество книг — старинных и новых. Здесь человек попадал в иной, отличный от нашего быта мир — мир гармонии и красоты».

Что ж, гармония в доме — это верный признак того, что и в душе его хозяйки тоже царила такая же гармония. Все, кто был знаком с Верой Николаевной, в один голос утверждают, что по жизни она была предельно скромным и порядочным человеком, охотно откликавшимся на любую просьбу о помощи.

«Сострадание — вот самое драгоценное свойство человеческой души. Это прежде всего относится к мужчинам, но верно и для женщин», — утверждает Сэй-Сёнагон в 261 дане своих «Записок». И далее: *«Казалось бы, небольшой труд — сказать несколько добрых слов, а как редко их услышишь! Вообще, не часто встречаются люди, щедро наделенные талантами — и в придачу еще доброй душой. Где они? А ведь их должно быть много…»*

Наша героиня как раз из числа тех немногих. А еще всю свою жизнь Вера Николаевна была глубоко верующим человеком, что особенно заметно при чтении ее стихов. Впрочем, вера этой женщины была такой же чистой, незамутненной и ненавязчивой, как и она сама. Не мелькала она в храмах на праздничных службах, не старалась протиснуться в первые ряды прихожан с самой массивной свечой в руке, не поучала никого из ближних, как именно надо правильно верить и что надо делать, чтобы спасти собственную душу… Словом, верила так же, как и жила: скромно, без

излишнего пафоса, не привлекая к себе внимания и ни от кого не ожидая каких-то особых преференций и наград за свою веру. Что ж, как сказано в одной Вечной Книге, *«по вере вашей да будет вам»* (Мф. 9:29).

Заканчиваю свое повествование еще одной цитатой из Сэй-Сёнагон. 266 дан под названием «То, что радует».

«Кончаешь первый том еще не читанного романа. Сил нет, как хочется достать продолжение, и вдруг увидишь следующий том».

Когда-то много-много лет тому назад и я испытала подобную радость, когда впервые взяла в руки перевод Веры Николаевны Марковой «Записок у изголовья» Сэй-Сёнагон. Помнится, как читала взахлеб и не могла остановиться до тех пор, пока не перевернула последнюю страницу книги. Но и сегодня готова воскликнуть с тем же прежним чувством внутреннего ликования. Какое же это счастье, что в нашей культуре есть такие личности, как Вера Николаевна Маркова, стараниями которой Сэй-Сёнагон заговорила на полноценном русском языке. Вечная память этой скромной труженице перевода и огромное ей спасибо.

P. S. Все никак не доберусь до финальной точки. Тут вот подумала и решила озвучить еще одну свою мысль из числа, так сказать, сокровенных. Словом, есть у меня идея. Хорошо бы установить на одном из зданий города Минска памятную доску в честь нашей землячки Веры Николаевны Марковой. На каком именно здании? Да хоть бы и на Доме литераторов. Почему нет? Вполне оправданный шаг, справедливая, заслуженная дань скромному и не падкому при жизни на искус славы человеку. К тому же, этот памятный знак стал бы первым наглядным памятником переводчику из числа тех корифеев перевода, кому действительно хочется сказать «спасибо». Дай Бог дожить мне до такого дня.



К 100-летию Петра МАШЕРОВА

Эмануил ИОФФЕ

Пятнадцать лет во главе Республики

Если вспомнить руководителей Белорусской ССР периода 1919—1991 годов, то по таким критериям, как популярность, авторитет и всенародная любовь, на первом месте, несомненно, окажется Петр Миронович Машеров. Этот человек вошел в историю нашей страны как народный герой, как видный партийный и государственный деятель, один из организаторов и руководителей патриотического подполья и партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны, удостоенный двух Золотых Звезд — Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда. Никто — ни до, ни после Машерова — так долго не возглавлял партийную организацию республики — целых пятнадцать с половиной лет (1965—1980).

Государственный и партийный деятель БССР А. Н. Аксенов отметил:

«Как политический руководитель, Петр Миронович Машеров был, по моему мнению, одним из самых талантливых политических и государственных деятелей, одним из самых достойных руководителей Белоруссии в ее новейшей истории… Он прошел по жизни крупно и масштабно, как и подобает достойным людям, и оставил глубокий и незабываемый след в жизни нашего народа».



Детство и юность

Жизненный путь Петра Машерова начался 13 (26) февраля 1918 года. Он родился в деревне Ширки Сенненского района Витебской области в семье бедняков — Мирона Васильевича Машерова и Дарьи Петровны Ляховской (Машеровой).

Имя Петр ему дали в честь отца матери. Когда младенца крестили, батюшка многозначительно произнес: «Божьей милостью станет великим человеком».

Петр Машеров был выходцем из народных глубин. Из детства ему запомнилась нелегкая поэзия пастушьего труда, учеба в начальной школе, постоянная помощь родителям в их тяжелом труде. Вместе с тем Петр горячо, по-юношески был влюблен в родные места. В семье Машеровых из восьми родившихся детей в живых осталось пятеро: три девочки (Матрена, Ольга и Надя) и два мальчика (Павел и Петр).

Описывая семью Машеровых, писатель Николай Масолов отметил: «Строгий, но справедливый отец — бескомпромиссный в своих взглядах и решениях сельский активист (рано ушел из жизни Мирон Машеров), малограмотная, но с живым крестьянским умом мать, Дарья Петровна, не робевшая перед бедой женщина...»

Старший брат Павел учился в Бугаевской семилетке, в десяти километрах от дома, а Петра решили определить поближе, в Машканскую неполную среднюю школу. Ходил туда мальчик один-одинешенек. Отец смастерил ему лыжи, на которых он пробегал туда и обратно 18 километров в день. Так уж получилось, что в скорости на коньках и лыжах Петру Машерову не было равных. И эти стремительность, легкость в движениях остались на всю жизнь.

В фондах Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны хранится магнитофонная кассета с записью воспоминаний старшего брата П. М. Машерова — Павла Мироновича, сделанная через год после его гибели — 13 октября 1981 года.

Приведем отрывок из этих воспоминаний: «Как мне удалось привить любовь Петра к профессии учителя? Тут не только моя роль. Большое воздействие оказали многие школы, где он учился. В шестой класс он пошел в Машканскую семилетнюю школу Витебского района. Там ему очень понравился преподаватель математики — фамилии не помню. Видимо, сказалось и его влияние. После окончания педагогического училища я получил направление в школу в деревне Дворищи Россонского района. Предложил Петру ехать со мной: мол, я буду работать в школе, а ты будешь учиться в седьмом классе, потому что Машканы очень далеко, за 8 километров от дома. Туда очень тяжело добираться, особенно зимой и осенью. Правда, Петр смастерил лыжи и ходил на них в школу. Он с детства любил кататься на самодельных коньках.

Петр согласился. Учитель математики Александр Андреевич Волкович, он же директор школы, передал ему любовь к математике и физике. Он выполнял не только те задания, которые задавались на дом, но и дополнительные.

Когда в 1934 году после окончания семи классов встал вопрос о выборе учебного заведения, Петр сказал:

— Знаешь, Павел, во время учебы в Машканской и Дворищенской школе понравилась профессия учителя…

Договорились, что он будет поступать в Витебское педагогическое училище (ранее педтехникум).

Вскоре Петр вернулся оттуда и говорит:

— Подал заявление на педагогический рабфак. Он в здании училища находится.

— Как — рабфак? — переспрашиваю. — Чтобы поступить туда, надо иметь направление от организации, где работаешь, иметь положительную характеристику.

— А я на летних каникулах хорошо поработаю в колхозе. И мне дадут нужные документы. Заодно к экзаменам подготовлюсь на последний курс рабфака, чтобы через год поступить в пединститут.

Все лето брат трудился в хозяйстве: косил, сушил сено. Выполнял другие сельскохозяйственные работы. Так старательно это делал, что взрослые удивлялись, говорили мне:

— Петр — школьник, а не уступает нам в работе.

Одновременно он настойчиво готовился к вступительным экзаменам. Я давал советы. Подсказывал, какую использовать литературу. Успешно окончив рабфак, через год брат уже учился в Витебском пединституте имени С. М. Кирова. По времени выиграл два года. Очень был доволен, что поступил на физико-математический факультет, а позднее — на физическое отделение.

Будучи студентом третьего курса пединститута, подобрал сильных, выносливых ребят и принял участие в лыжно-стрелковом переходе по маршруту Витебск—Орша—Могилев—Минск, где команда Витебского пединститута, как рассказывал мне Петр, заняла первое место, а он в команде — одно из призовых. Все участники перехода были награждены наручными часами».

Таким образом, в 1935 году Петр Машеров поступает на первый курс физико-математического факультета Витебского педагогического института им. С. М. Кирова.

Во время учебы юноши в этом вузе случилась беда. В декабре 1937 года, ночью, к дому Машеровых подъехала черная крытая машина (в народе ее называли «черный ворон»). В дом вошли незнакомые люди в форме НКВД и сразу обратились к Мирону Васильевичу Машерову: «Собирайся!» Ничего не объяснив ни жене, ни детям и не дав сказать ни слова, его увезли.

Чуть позже, заполняя личный листок по учету кадров, в сведениях о родителях Петр Машеров напишет: «Отец... изъят органами НКВД, осужден на три года и умер 6 марта 1938 года при отбытии заключения» (Национальный архив Республики Беларусь. Ф.3500. Оп.9. Д.267).

После войны Павел послал запрос о смерти отца. Получили свидетельство о смерти Машерова Мирона Васильевича 20 марта 1938 года от паралича сердца. Отцу было пятьдесят шесть лет...17 августа 1959 года он был реабилитирован.

Особенно знаменательным в его жизни стал 1939 год. Петр Машеров окончил отделение физики физмата Витебского пединститута им. С. М. Кирова.

Павел Миронович Машеров вспоминал: «По окончании пединститута в 1939 году Петр приехал на каникулы. Он уже был комсомольцем.

— Попросил, чтобы меня направили в Россонский район, к тебе, Павел, — разоткровенничался он.

В то время я работал инспектором районного отделения народного образования. Дали Петру направление в Россонскую среднюю школу (теперь она носит имя Машерова), где он будет преподавать математику и физику ученикам старших классов. Через некоторое время брат неожиданно заявляет:

— Устрою физический кабинет, который бы не уступал аналогичным кабинетам школ Витебска.

Учащиеся средней школы очень любили заниматься в физическом кабинете. А Петр, как преподаватель физики, этим пользовался умело. Все свободное время в кабинете они пилили, строгали, клеили, сверлили, паяли и рисовали. Для старшеклассников он потом организовал фотокружок и кружок астрономии.

— До звезд ли нам, Петр Миронович? — удивились поначалу его воспитанники. — На земле хватает забот!

— Человек должен стремиться постигнуть тайны Вселенной. «Если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно», — процитировал он своего любимого поэта Маяковского. — По звездам можно определить стороны света. А если попал в лес и заблудился, по солнцу и звездам всегда можно найти дорогу домой.

Внешне спокойный, тактичный, он умел сдерживать свои чувства. Петр был отзывчивым человеком, ненавидел равнодушие. Школьники тянулись к нему, потому что знали: что бы в их жизни ни случилось, молодой учитель переживания школьников воспримет как свои, поймет и поможет разобраться».

А вот что вспоминал в феврале 1973 года сам Петр Миронович о первом годе своей работы в Россонской средней школе:

«Мой первый выпуск… Прислали письменные работы по математике. Их должны были выдать на следующий день, за два часа до экзаменов. Павел тогда работал в районо и предложил:

— Может, хочешь посмотреть контрольные?

Я спрашиваю: «А порядок какой?»

— По правилам — завтра выдадут.

— А как ты думаешь, очень сложные?

— Очень, — ответил брат.

— Нет, не буду смотреть.

Перед экзаменом директор дал для 10-го класса конверт. По тригонометрии. Задачи элементарно простые. Подумал: как же быть? В классе есть двоечники, у них за весь год по всем четвертям двойки. Однако чувствую, что даже они эти задачи решат. И действительно, четверо из неуспевающих справились с задачами. Через день сообщили, что в Клястицкой школе никто не решил, даже сам учитель сделал заключения, что условия неправильные. Или такой случай. Дал как-то на дом задание. Ночь просидел и не решил. Никто из учеников тоже с заданием не справился. В учебнике Рыбкина большинство задач — со «звездочками». И все же решили задачу. Не хватило урока, заняли следующий — физику. И справились.

Зато могу похвастаться. Из Россонской школы мои ученики поступали в Ленинградские институты, в основном технические. (До Ленинграда было легче добираться, чем до Витебска.) Ни один из учеников не провалился. За два года не было случая, чтобы не поступили, даже при конкурсах. Вот какие молодцы! Я к чему веду разговор? Нужен хороший учитель, который умеет хорошо учить. Ребята способные. Могут овладеть очень сложными вопросами! Всем учащимся труднее всего дается математика. Но даже тех, кому она наиболее трудна, можно научить. Я вел математику с 9-го класса, а если бы с 7-го?! Каких бы талантливых учеников воспитал!»

Некоторые штрихи к портрету П. М. Машерова в годы его работы учителем и в последующие годы добавляют воспоминания приемной дочери Петра Мироновича — бывшей учительницы начальных классов средней школы № 87 г. Минска Л. Я. Мельниковой (Дерюжиной):

«Больше всего запомнилось, как Петр Миронович играл разные роли в молодежном театре в Россонах. Иногда он надевал на голову гладкий рыжий парик. Не случайно, видимо, дети прозвали его Дармидоном… Но он не обижался на них.

Когда мы переехали из Латвии, он помог выучить белорусский язык, поступить в педучилище (я же учила латышский язык). Помню, когда писала диктант, сделала 101 ошибку. Расплакалась. Но Петр Миронович успокоил. Позднее моих сестер устроил в детский дом…

Однажды спросил у меня:

— Как ты думаешь, какая самая престижная наука?

— Химия, — ответила я, ибо мечтала стать химиком.

Ожидала его похвалы, а он в ответ:

— Психология…

Через много лет поняла, что он был прав… Нужная наука психология. Ведь именно она помогает понимать людей…»

В беседе с ближайшим соратником П. М. Машерова — бывшим вторым секретарем ЦК Компартии Белоруссии, Председателем Совета Министров БССР

А. Н. Аксеновым я услышал от него такие слова: «Многие партийные работники за глаза называли Петра Мироновича «большим учителем» или «учителем с большой буквы».

Будучи еще студентом исторического факультета, автор этих строк в 1959—1960 годах, выполняя общественное поручение — агитатора на выборах, оказался в квартире секретаря ЦК КПБ П. М. Машерова и встречался с его супругой Полиной Андреевной. Она отметила, что уже со школьных лет у Петра Мироновича вырабатывался характер, главной чертой которого была настойчивость в достижении цели. Он был очень целеустремленным и никогда не отступал, не решив того или иного вопроса. Будучи уже на ответственной партийной работе, Машеров старался оставаться воспитателем, педагогом. «Такова профессия учителя, — говорил Петр Миронович, — умело, тонко воспитывать людей, делать их хорошими, пробуждать у них благородные чувства».

Война

…Влюбленный в свое дело педагог Машеров строил светлые мечты: сдача экзаменов в аспирантуру, интересная научная работа...

Но все планы молодого учителя Петра Машерова перечеркнула война. И вот вместо заявления в аспирантуру он несет в военкомат заявление с просьбой направить его на фронт. Ему отказывают, как и многим другим. Но вскоре в Россонах из нескольких сотен добровольцев создается истребительный батальон. Сюда и направили Петра Машерова.

Долгие годы в официальных материалах и многочисленных публикациях о жизни и деятельности Петра Машерова ничего не говорилось о его пребывании в плену. Мы коснемся этой «деликатной» темы.

Дело обстояло так. Почти безоружные россонские добровольцы из истребительного батальона вместе с отступающими частями Красной Армии отходили на восток. Однако через три дня, 24 июля 1941 года, при переходе в районе Невеля Ленинградского шоссе, густо забитого немецкими войсками, кольцо окружения замыкается. В районе местечка Пустошки Калининской области Петр Машеров с группой бойцов попадает в плен.

Глухой ночью 28 июля Петру Машерову удалось бежать из плена. Таким образом, он находился в плену... всего четыре дня.

....5 августа 1941 года Петр Машеров добрался до родительского дома в Россонах, которые были заняты немцами. Он устроился работать счетоводом в нераспущенный колхоз «Россоны» и учительствовал в школе.

На рассказе Машерова в его личном деле о работе в Россонах в 1941 — начале 1942 года кто-то пометил: счетоводом девять месяцев, учителем три месяца.

Освоившись в новой ситуации, Петр Машеров организует в Россонах комсомольско-молодежное подполье, главным образом, из своих выпускников и учителей. В группу вошли учителя Сергей Петровский (бывший заведующий районным парткабинетом), Виктор Езутов, Владимир Ефременко, медсестра Маруся Михайловская и другие. Подпольщики занялись сбором оружия, сведений о немецких гарнизонах, подбором надежных людей, отработали явки.

Вскоре Машеров встретился с секретарем Россонского подпольного райкома партии Варфоломеем Лапенко, который был оставлен для работы в тылу врага. Выполняя его указания, «Дубняк» (подпольная кличка Петра Машерова. — *Э. И.*) смело налаживал связь с подпольными группами, действовавшими в Альбрехтове, Клястицах, Соколищах, Юховичах, Ровном Поле, Миловидове и других населенных пунктах Россонского района.

Среди активистов комсомольско-молодежного подполья была и Полина Андреевна Галанова — по профессии зубной врач. Работая в госпитале, она при отступлении попала в плен, а затем по дороге в Полоцк совершила побег. С ней и связал свою судьбу Петр Машеров.

Весной 1942 года гестапо напало на след подпольщиков, которые узнали об этом. И тогда по сигналу Машерова 19 апреля 1942 года подпольщики покинули Россоны. Их было 15 человек, главным образом, старшеклассники Россонской и Клястицкой средних школ. Так в Россонском районе из участников патриотического подполья был образован партизанский отряд во главе с Петром Машеровым. До июля 1942 года он действовал самостоятельно и именовался отрядом «Дубняка».

Вскоре отряд «Дубняка» влился в состав бригады «За Советскую Белоруссию». Затем он был переименован в отряд имени Н. А. Щорса, который действовал на территории Россонского, Дриссенского, Освейского районов БССР, а также в соседних районах РСФСР и Латвийской ССР…

Отряд разбили на взводы, ввели воинскую дисциплину. Командиром отряда избрали Петра Машерова, заместителем Сергея Петровского, начальником штаба — Петра Гигелева. Его брат — политрук Николай Гигелев стал комиссаром отряда, а ответственным за разведку стал «Ворон» (Володя Хомченовский).

На счету партизан-щорсовцев числилась не одна боевая операция. Особенно дерзкой была операция 2 мая 1942 года у Клястиц. Засаду устроили днем. 14 смельчаков буквально изрешетили вражескую машину, изъяли важные документы. В списке людей, подлежавших аресту, значилась и фамилия Машерова. «Опоздали ищейки», — только и усмехнулся он.

Но в том бою Петр Миронович получил серьезное ранение. Надвигалась цепь карателей. Тогда он принял рискованное решение: ползти не в лес, а к поселку, куда ближе и где можно быстрее укрыться от преследователей. След был запутан. Семья поляков Масальских, куда доковылял Петр Машеров, приютила и выходила командира партизанского отряда имени Щорса.

Потом снова были смелые налеты народных мстителей, засады под носом у гитлеровцев, мощные взрывы на железных дорогах... В одном из боев Машеров получил второе ранение. В суровую пору военного лихолетья, в 1943 году, он стал коммунистом.

В представлении к правительственной награде партизанское командование писало: «Благодаря хорошей сплоченности созданного и воспитанного товарищем Машеровым отряда имени Щорса, благодаря личной инициативе, находчивости и смелости своего командира отряд отлично выполнял любую поставленную задачу».

Изучая архивные материалы, обращаешь внимание на слово «первый» рядом с фамилией Машерова: первым создал комсомольско-молодежное подполье, организовал первый на Россонщине партизанский отряд, первым поднялся в атаку...

Организатор подполья, опытный воспитатель, боевой командир П. М. Машеров в марте 1943 года назначается комиссаром партизанской бригады имени К. К. Рокоссовского, которая летом 1943 года по решению партийных органов и Белорусского штаба партизанского движения передислоцировалась из Витебской в Вилейскую область.

В то время это была одна из самых боеспособных бригад на территории Беларуси. Кроме Витебской и Калининской областей она действовала в Поставском, Дуниловичском, Докшицком, Миорском, Глубокском и Мядельском районах Вилейской области. Командиром бригады в то время был Александр Васильевич Романов.

В марте 1943 года входящие в бригаду имени Рокоссовского отряды имени Щорса, имени Котовского, имени Сергея и имени Ленина вместе с отрядами Дриссенской бригады участвовали в штурме вражеского гарнизона в д. Кохоновичи Освейского района, вели оборонительные бои с карателями в Освейском

и Россонском районах. В июне 1943 года бригада совершила боевой марш из Россонского района в Поставский район, во время которого вела бои с врагом при переходе через железную дорогу Полоцк—Дрисса и форсировании Западной Двины, напала на гарнизон в Миорах.

В сентябре 1943 года Петр Машеров выдвигается на должность первого секретаря Вилейского подпольного обкома комсомола. В то время под его руководством работало 20 районных комитетов комсомола. Именно тогда, на посту комиссара бригады и руководителя комсомольского обкома в грозные годы войны сформировался замечательный организаторский талант Петра Мироновича, который блестяще проявился и в последующие годы.

Хочется упомянуть об одной интересной детали. Летом 1944 года командование бригады и подпольный обком партии представляли Машерова к награждению орденом Ленина. Но начальник Белорусского штаба партизанского движения П. З. Калинин, ознакомившись с боевыми заслугами Петра Мироновича, «поднял выше» и написал, что он заслуживает звания Героя Советского Союза. На этом документе ниже имеется короткая резолюция первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии П. К. Пономаренко: «Поддерживаю».

Когда решение уже было принято, появилась информация контрразведки: герой, оказывается, в начале войны был в плену. Пономаренко, предварительно посоветовавшись с Зимяниным, позвонил Цанаве, который ответил, что дело Машерова закрыто.

Указ был опубликован в августе 1944 года (подписан 15 августа 1944 года. — *Э. И.*).

В нем говорилось, что этого высокого звания Машеров удостоен за героизм и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Боевые соратники Петра Мироновича считают, что звание Героя Советского Союза он получил за дерзкую и важную в стратегическом отношении операцию по взрыву моста в Верхнедвинске (Дриссе). Тогда Петр Машеров с партизанами выбил немцев, охранявших мост, и взорвал его. Между прочим, взрывчатку пришлось доставлять на плоту по реке.

На комсомольской и партийной работе

В июле 1944 года Петр Машеров стал первым секретарем Молодечненского обкома комсомола, а через два года — с июля 1946 года — секретарем ЦК ЛКСМБ. Уже в октябре 1947 года он избирается первым секретарем Центрального Комитета комсомола Беларуси, то есть руководителем комсомола республики. Почти семь лет Машеров находился на этом посту и приобрел за это время большую популярность и авторитет среди молодежи Беларуси.

В июле 1954 года Петр Миронович был избран вторым секретарем Минского обкома партии, а через год — в августе 1955 года — первым секретарем Брестского обкома партии.

Перед нами один из документов, хранящихся в бывшем текущем архиве ЦК КПСС (ныне ЦХСД). Это представление отдела партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам на утверждение П. М. Машерова первым секретарем Брестского обкома КП Белоруссии. Приведем документ полностью.

ЦК КПСС

ЦК Компартии Белоруссии просит ЦК КПСС утвердить тов. Машерова П.М. первым секретарем Брестского обкома партии. Ранее работавший в этой должности тов. Киселев Т. Я. избран секретарем ЦК КП Белоруссии.

Тов. Машеров П. М. 1918 года рождения. Белорус. Член КПСС с 1943 года, образование высшее — окончил педагогический институт. В период Великой Отечественной войны принимал активное участие в партизанском движении в Белоруссии, был командиром отряда и комиссаром партизанской бригады, секретарем подпольного обкома комсомола. За мужество и отвагу, проявленную в борьбе с немецкими захватчиками, удостоен звания Героя Советского Союза. С 1947 по 1954 год тов. Машеров был первым секретарем ЦК ЛКСМ Белоруссии и с 1954 года работает вторым секретарем Минского обкома партии.

ЦК КП Белоруссии характеризует тов. Машерова как подготовленного и обладающего организаторскими способностями работника, пользующегося авторитетом в партийной организации республики. Тов. Машеров является депутатом Верховного Совета СССР и кандидатом в члены бюро ЦК КП Белоруссии.

В августе 1955 года на очередном пленуме Брестского обкома КП Белоруссии тов. Машеров с согласия ЦК КПСС был кооптирован в состав обкома и избран первым секретарем этого обкома партии.

В КПК при ЦК КПСС и секторе единого партбилета тов. Машеров проверен, замечаний нет.

Просьбу ЦК КП Белоруссии об утверждении тов. Машерова П. М. первым секретарем Брестского обкома КП Белоруссии Отдел поддерживает. Вносим на рассмотрение ЦК КПСС.

11 августа 1955 г.

Зав. Отделом партийных органов ЦК КПСС по союзным республикам (Е. Громов).

С апреля 1959 года Петр Машеров работает секретарем ЦК Компартии Белоруссии, а с декабря 1962 года — вторым секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии.

Это был самый последний период его относительно недолгой жизни — с марта 1965 до начала октября 1980 года, период, когда Петр Машеров был первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии. Последних пятнадцать с половиной лет из шестидесяти двух. Ровно четверть его жизни.

С именем Петра Машерова связаны значительные успехи белорусского народа в развитии экономики, науки и культуры.

Особенно это проявилось в результатах восьмой пятилетки (1966—1970 гг.). За это время объем промышленной продукции БССР увеличился почти в 1,8 раза, в том числе топливной промышленности — в 2,9 раза, химической и нефтехимической — в 3,3, машиностроения и металлообработки — в 2 раза. Среднегодовые темпы прироста промышленной продукции составили 12,4 % в сравнении с 10,8 % в предшествующем пятилетии. Росту производства содействовало некоторое усовершенствование организации труда, системы материального стимулирования, повышение творческой активности рабочих.

В 1970-е годы в Беларуси продолжалось расширение материально-технической базы промышленности, происходили изменения ее отраслевой структуры, повышалась концентрация производства, строились в основном крупные предприятия, оснащенные передовой техникой и специализированные на выпуск продукции машиностроения и металлообработки, химической, легкой, пищевой и других отраслей промышленности.

В 1965 году началась промышленная разработка первого в Беларуси Речицкого нефтяного месторождения. За десять лет было добыто 43,8 миллиона тонн нефти, в том числе 8 миллионов тонн в 1975 году.

Титанический труд первого секретаря ЦК КПБ по руководству нашей республикой приносил ощутимые результаты. В 1976 году удельный вес БССР в общесоюзном производстве минеральных удобрений составлял 12,4 %, в том числе калийных удобрений — 42,8, химических волокон и нитей — 15,7, металло-

режущих станков — 14,1, тракторов — 15,4, грузовых автомобилей — 5,2, подшипников — 13,9, льняных тканей — 10,7, наручных часов — 12,6, телевизоров — 7,6, мотоциклов — 22,3 %.

Вместе с тем структура промышленности, которая сложилась в результате централизованного планирования, поставила Беларусь в зависимость от поставок металлов, нефти, других видов сырья. Резко увеличилось производство средств производства и военной продукции, товаров, которые не попадали на потребительский рынок. Промышленное строительство велось без должных природоохранительных мер, в результате возникли очаги экологической угрозы, в частности в Солигорске, Новополоцке, Могилеве и других индустриальных центрах.

Одной из главных проблем, которые постоянно волновали Петра Мироновича, было развитие сельского хозяйства. Его постоянно видели в колхозах и совхозах, в мелиоративных организациях и на испытательных станциях. По инициативе Машерова значительные изменения произошли в сельском хозяйстве республики. Во второй половине 1960-х годов урожайность зерновых поднялась с 11,5 центнера до 16 центнеров с гектара, а их валовый сбор вырос на 900 тысяч тонн. В колхозах и совхозах стало больше крупного рогатого скота.

Использование государственных средств позволило колхозам и совхозам приобретать значительное количество техники, повышать уровень механизации труда. Значительно выросли энергетические мощности сельскохозяйственного производства.

Осуществлялись меры по специализации, мелиорации и химизации сельского хозяйства. Площадь осушенных сельскохозяйственных угодий в республике достигла 2,5 миллиона гектаров. На мелиорированных землях выращивалось 30 % продукции растениеводства.

Машеров любил республиканские семинары по разным проблемам народного хозяйства — в Союзе они не практиковались, а в республике давали хороший результат, вдохновляли. Каждый участник такого семинара имел возможность и себя показать, и на других посмотреть. Он возвращался домой и засучивал рукава, будучи уверенным, что новое приживется и обязательно получится.

Еще в 1970-е годы Машеров поднял вопрос о замене административных, или, как он говорил, «телефонных» методов руководства экономическими. Он предлагал коренным образом изменить систему обучения и воспитания, положив в его основу труд. Петра Мироновича привлекало наукоемкое производство. Именно Машеров буквально заставил исключить из практики все старые семена зерновых и пропашных культур и заменить их новыми, высокоурожайными. Можно сказать, что стихией его жизни были поиск и новаторство по многим вопросам.

Наряду с положительными качествами в характере Петра Мироновича, как и у каждого человека, были и отрицательные качества, наблюдались просчеты в хозяйственной деятельности, в национальной политике.

Интересную, в какой-то степени оригинальную оценку просчетов деятельности Машерова дал ответственный партийный работник, писатель Алесь Петрашкевич:

«Об этом неординарном человеке написано немало. Но правдивый облик его, как мне кажется, не раскрыт. Более того, фантазии одних создали из него почти святого от власти. Для других он бесспорный монумент советско-большевистского рыцаря без страха и упрека. Между тем, Машеров был сложной, неоднозначной, даже трагической фигурой. И — обыкновенным человеком, волею судьбы оказавшимся в обстоятельствах, когда не только история творит личность, но и личность историю.

Был ли он счастлив? Сомневаюсь. На таких властных высотах счастливыми могут быть лишь люди, не обремененные высоким интеллектом…

Судьба моя сложилась так, что я имел возможность более 20 лет наблюдать за Петром Мироновичем, притом лет 13 из них не со стороны, а, как говорят, непосредственно…

Я видел, как счастлив был Петр Миронович, когда получил от «центра» огромные, как тогда казалось, деньги на так называемое «преобразование Полесья», а точнее — на его осушение. Каким растерянным и раздраженным он был, когда небольшая группа писателей и ученых выступила против тотальной мелиорации. Он недоумевал, как это образованные, интеллигентные люди не могут понять и принять того счастья, которое он несет людям извечно забитого Полесья, веками гниющего в болоте. Он был сконфужен, возмущен и разгневан на псевдонауку и ученых-мелиораторов, когда понял, что целому краю, его природе нанесен непоправимый вред, не получилось того эффекта, на который рассчитывали. А изувеченной оказалась не только природа, но и уклад жизни полешуков. Их традиционная культура, их мораль…

Другим разочарованием и скорбью был крах его романтической идеи сплошного и быстрого переустройства села в масштабах всей республики. Из 33 тысяч населенных пунктов Беларуси более 30 тысяч были объявлены неперспективными, а примерно 2500—2700 должны были превратиться в агрогородки с приличными условиями существования…

Через 10 лет такой неперспективной жизни тысячи деревень опустели и зияют сегодня черными дырами гнилых оконных проемов. Исправить, восстановить, отстроить все это уже никто не сможет, ибо уже некому».

Что касается мелиорации, то она нередко проводилась некомпетентно, не учитывала требований охраны окружающей среды, что вело к обострению экологических проблем.

Между прочим, сам Машеров горько переживал, что в засуху в Полесье нет воды, что «теоретики и практики» загубили целый край.

Многие ученые и архитекторы, которые сегодня критикуют деятельность Машерова, забыли, как они сами носились с навязчивыми идеями, обставляли с помпой свои лжепроекты, толпились у кабинета Машерова и других секретарей ЦК КПБ. Машеров прежде всего был руководителем, привыкшим полагаться на мнение специалистов. И как человек увлеченный, романтик в душе, иногда слишком доверял этим ученым и архитекторам и нередко поддавался заманчивости той или иной идеи.

Бывший помощник первого секретаря ЦК КПБ П. М. Машерова, известный белорусский журналист Владимир Величко отмечает:

«Новую жизнь Машеров связывал с научно-техническим прогрессом и универсальными нравственными ценностями. Правда, в тогдашнем обществе, где господствовала полная догм сусловская идеология, всякие «местечковые» инициативы не приветствовались… «Отступников» по головке не гладили. Петр Миронович не шел открыто в пику, а осторожно и осмотрительно вел свою линию. В республике, с одной стороны, всячески поощрялось применение высоких технологий, с другой, путем создания широчайшей сети народных университетов нравственного воспитания и образования у населения формировалась высокая этика деловых, бытовых и межличностных отношений…

По натуре Машеров был реформатором-романтиком. Он все делал для того, чтобы адаптировать нашу цивилизацию к новейшим технологическим возможностям XX века. Для него реальным делом была наукоемкая модель, которая шла на смену модели энергоемкой, высокоурожайные сорта зерновых и пропашных культур, получавших прописку на наших полях. К решению этих глобальных проблем он активно подключал вузы и научно-исследовательские институты».

С именем Машерова связано строительство Минского метрополитена.

Дело в том, что при обсуждении вопроса о строительстве метрополитена в Минске заместитель Председателя Госплана СССР В. Исаев сказал, что «нет возможности начать строительство метрополитена даже в таких городах, как Горький и Новосибирск».

14 июля 1975 года П. Машеров, учитывая складывающуюся ситуацию, полный решимости отстоять интересы столицы БССР, направил письмо лично генеральному секретарю ЦК КПСС Л. Брежневу. Он писал:

«…Как выяснилось в последнее время, Госплан СССР при разработке плана развития народного хозяйства на 1976—1980 гг. не предусматривает строительство метрополитена в г. Минске, а это создает в дальнейшем… чрезвычайные трудности в обслуживании населения столицы республики пассажирским транспортом…

ЦК КП Белоруссии просит положительно решить вопрос о начале строительства метрополитена в г. Минске в 1977 году с вводом в действие первой очереди его в 1982—1983 годах».

Всемогущее слово Генсека поставило точку в дискуссии руководителей БССР с Госпланом СССР. Л. Брежнев поддержал П. Машерова.

Петр Миронович уделял неослабное внимание подъему и расцвету науки и культуры Беларуси.

По инициативе Машерова в 1969 году во главе Академии наук БССР стал способный организатор науки, видный ученый-физик Н. А. Борисевич, который находился на этом посту 18 лет (1969—1987).

По некоторым направлениям научных разработок в БССР были достигнуты результаты, которые получили признание не только в СССР, но далеко за его пределами. Петр Миронович гордился, что лауреатами Ленинской премии стали академики АН БССР М. А. Ельяшевич (1966, за научные труды в области физических наук), В. П. Платонов (1978, за цикл работ «Арифметика алгебраических групп и приведенная К-теория»), Н. А. Борисевич и ученые Института физики АН БССР В. В. Грузинский и В. А. Толкачев (1980, за цикл работ по спектроскопии свободных сложных молекул), конструктор Б. Л. Шапошник (1976, за работу в области машиностроения).

Машеров способствовал интеграции науки с производством. При институтах АН БССР, высших учебных заведениях развивалась опытно-экспериментальная база. В БССР начали создаваться научно-производственные объединения. Так, в 1974 году впервые в Советском Союзе возникло объединение «МАЗ-БПИ», куда вошли Белорусский и Минский автомобильные заводы, Белорусский политехнический институт.

«Детищем» Машерова у нас в Беларуси называют теперь всемирно известный мемориально-архитектурный комплекс «Хатынь», который был открыт в 1969 году. Его создали архитекторы Ю. Градов, В. Занкович, Л. Левин и скульптор С. Селиханов.

В автобиографической повести заслуженного архитектора Беларуси, лауреата Ленинской премии и Государственной премии Республики Беларусь Леонида Левина «Хатынь» есть такие строки: «С первых дней проектирования и строительства Хатынский мемориал курировал Петр Миронович Машеров…

Становятся регулярными наши доклады на бюро ЦК КПБ, а также лично Машерову о ходе строительства и проектирования мемориала…

Машеров встречается с нами, чтобы сделать новое предложение.

Через трагедию Хатыни показать трагедию мирного населения всей Беларуси».

Петр Миронович не сразу «добился» Указа о присвоении Минску звания «Город-герой». Наиболее стойкое сопротивление оказывал Председатель Президиума Верховного Совета СССР, член Политбюро ЦК КПСС Н. Подгорный. Утверждают, что П. Машеров воскликнул даже: «Не хотят они, чтобы наш Минск сравнялся с их Киевом».

Шестисерийный телефильм «Руины стреляют в упор» по документальной повести собственного корреспондента «Правды» по Белоруссии И. Новикова делался с явным прицелом на то, чтобы пробить ту стену непризнания героизма минчан со стороны отдельных членов Политбюро и добиться присвоения Минску звания «Города-героя». И руководители ЦК КПБ ориентировали создателей фильма на это. Заказал фильм киностудии «Беларусьфильм» Государственный Комитет СССР по телевидению и радиовещанию. Фильм был сделан в 1971 году.

Н. Подгорный потребовал, чтобы Комитет по телевидению и радиовещанию доставил ему фильм на дачу. Посмотрел и молча вернул — никакой оценки. Слишком осторожный председатель Комитета С. Лапин, не получив указания начальства, пускать фильм на телеэкран не решился, положил его на полку. Почти на три года. И все ходатайства о присвоении городу высокого звания натыкались на ту же преграду — Н. Подгорного.

В беседе с автором этих строк И. Новиков вспомнил, как Петр Миронович рассказал ему о дальнейшем развитии событий. После заседания Политбюро ЦК КПСС П. Машеров обратился к Л. Брежневу:

«Леонид Ильич, белорусские кинематографисты сделали очень интересный документально-игровой телефильм о минском подполье… Посмотрите, пожалуйста. Не пожалеете, что затратили время».

Брежнев предложил членам Политбюро: «Давайте завтра посмотрим вместе».

После просмотра Петр Миронович встал и опять обратился к Брежневу:

«Леонид Ильич, у вас давно лежит проект Указа о присвоении Минску звания города-героя. Поддержите, пожалуйста».

Генсек спросил у членов Политбюро: «Возражения есть?» Все молчали. Даже Подгорный как воды в рот набрал. «Тогда будем считать, что решение принято, — сказал Брежнев и пожал руку Машерову. И сразу добавил: — Договорились: указ будет обнародован накануне 30-летия освобождения Минска от фашистов»,

С именем Машерова связано создание мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» в 1969—1971 годах на территории Брестской крепости, открытие в 1969 году Кургана Славы Советской Армии-освободительницы Беларуси — памятника в честь подвига воинов 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов в Белорусской операции 1944 года, возведенного на 21-м километре шоссе Минск—Москва, мемориального комплекса «Прорыв» в честь прорыва вражеской блокады партизанами 5 мая 1944 года в ходе Полоцко-Лепельской битвы 1944 года, созданного в 1974 году на месте боев между деревнями Паперино, Плина и Новое Село, в 7 километрах от городского поселка Ушачи.

Вспоминая о своих встречах с Машеровым, известный скульптор, народный художник Беларуси Заир Азгур писал: «Знаменитый комплекс «Прорыв» на Витебщине и трагедийно величественная Хатынь под Минском, Курган Славы на Московском шоссе и монумент в честь матери-патриотки в Жодино, памятник Освободителям в Витебске и комплекс на месте сожженной деревни Дальва... Каждое из этих памятных мест отмечено заботой и поистине творческим вниманием П. М. Машерова...

Правда, однажды он мне показал эскиз будущего Кургана Славы Советской Армии — освободительницы Беларуси и как-то умышленно отошел к окну, будто бы всматриваясь в городской пейзаж, который открывался за стеклами, — со сквером и театром имени Янки Купалы, с фонтаном «Мальчик и лебедь». Я увидел на листе очертания будущего рукотворного кургана в честь армейского подвига наших фронтов, который сразу привлек мое внимание качеством художественного решения и народным представлением о таких памятниках в нашей

истории. Когда я об этом сказал Петру Мироновичу, он смутился и промолвил как-то торопливо, что сам он, безусловно, не художник, что это еще только набросок и над ним, нужно надеяться, еще поразмыслят и по-своему все решат настоящие профессионалы. Скажу откровенно, что и теперь Курган Славы на Московском шоссе, который притягивает к себе внимание, имеет те очертания, которые я увидел на рабочем столе Машерова. Тогда это был эскиз, набросок, рабочая гипотеза...»

Когда Машеров обстоятельно разобрал 6-томную историю Великой Отечественной войны и сделал ряд замечаний, секретарь ЦК КПСС Черненко не удержался и сказал Брежневу: «Машеров умничает».

Именно по инициативе Петра Мироновича началась подготовка к изданию фундаментального труда «Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны» в трех томах. Ему не было суждено познакомиться с книгами лично, потому что это уникальное издание вышло уже после смерти Машерова в 1983—1985 годах.

В 1976—1979 годах заведующим отделом культуры ЦК КПБ был белорусский писатель Алесь Петрашкевич. В документальном повествовании «Петр Машеров: «Теперь я знаю…» он писал: «Может, кто-нибудь и слышал от П. М. Машерова слова раскаяния в том, что именно в годы его правления в белорусской столице были закрыты последние белорусские школы. Мне слышать этого не довелось. На чужом, хотя и близком языке функционировали все высшие и средние учебные заведения, вся партийно-государственная машина. При нем почти все газеты были переведены на язык метрополии, а тиражи белорусских книг удерживались в мизерном проценте от тиражей на русском языке, а в престижные правительственные концерты попадали лишь этнографические национальные «вставки и т. д., а уж это мне известно доподлинно. Пожалуй, Петр Миронович, при всей его образованности и интеллигентности, разделял идею слияния всех языков в один великий и могучий, а культуру будущего представлял в виде некоего конгломерата культур, сперва обогащающих друг друга, а потом и вовсе сливающихся в нечто одно грандиозное. А может, и он понимал абсурдность происходящего и ждал времени, когда там, наверху, пройдет одурь?»

Народный писатель Белоруссии, член ЦК КПБ, председатель Верховного Совета БССР Иван Шамякин много раз встречался с Петром Машеровым, близко его знал.

В своих воспоминаниях он отметил: «Много хорошего сделал этот человек и для экономики, и для культуры. Но… но нелегко писать про него, потому что лично и до сих пор не могу объяснить политически, философски эту вопиющую противоречивость. Откуда она у довольно умного человека? От идеологической зацикленности? Зациклены мы были, пожалуй, все, но не в такой же мере. Все понимали ненормальность политики, которая проводилась.

Понимал же Машеров, что без культуры не будет нации, старался помочь ей. А во имя чего? Ради чего? Ради отчета? Исчезал же язык народа — основа национальной культуры. Эти вопросы мы ставили и тогда, эта боль обжигала, и мы кричали. Говорили и Машерову, и он как будто соглашался. Но русификация не прекращалась, она шла так же интенсивно, как при Гусарове (так он же русский), при Мазурове; даже русак Пономаренко не позволял таких поворотов, когда газеты западных областей, районов, «Сельская газета» переводились на русский язык. Процесс этот не был стихийным. Он поощрялся при застенчивом молчании многих. Белорусский учитель, который хорошо знает родной язык (поэму «Сказ про Лысую гору» читал на память с прекрасным произношением). Машеров ни разу — ни на одном пленуме, совещании, съезде, сессии, торжественном заседании — не выступил по-белорусски. И в частном разговоре с нами, писателями, не пользовался им. Т. Я. Киселев с Бровкой, Танком, со мной, с другими писателями говорил на родном языке. А Машеров как бы демонстрировал свою русскость.



С научной и творческой интеллигенцией.

И это действовало быстрее, чем любые постановления, — такой пример первого лица в республике. Кроме нас, писателей, никто не выступал по-белорусски — ни один идеолог всех рангов — от ЦК до райкомов, министр культуры, даже наши коллеги из творческих союзов. Исключением на республиканском уровне был один министр просвещения Михаил Гаврилович Минкевич, светлая ему память.

Все это действительно тяжело объяснить. Такая была уверенность, что в скором времени, при близком коммунизме, нации сольются и языки отомрут? Неужели было? Или было сильное давление из Кремля: «Никаких уступок национализму!»? Однако в других республиках процесс так не форсировался…»

Нужно отметить, что рядом с больными, немощными и засыпающими на ответственных заседаниях членами Политбюро ЦК Компартии Советского Союза Машеров выглядел непростительно молодым. Когда Брежнев в 1978 году с большим опозданием вручал ему Звезду Героя Социалистического Труда, он грубо оборвал Машерова, когда тот выступал с ответной речью.

Пройдет два года, и на похороны Петра Мироновича Брежнев пришлет именно секретаря ЦК КПСС Зимянина, прекрасно зная, что у Машерова с ним были прохладные отношения.

Леонида Брежнева насторожил еще один факт. Один влиятельный журнал провел опрос среди американских конгрессменов накануне выборов в президенты: кто из зарубежных лидеров мог бы стать президентом США, кого видят они на месте Брежнева?

Многие ответили неожиданно: Машерова. Для Кремля это была пугающая информация, о которой знали только в ТАСС, но от газет и радио эту информацию скрыли. Есть основания полагать, что такую популярность у американцев Петр Миронович приобрел после визита на Кубу и успешных переговоров с Фиделем Кастро.

П. М. Машеров как человек

Люди, близко знавшие Петра Мироновича, отмечают такие черты его характера, как правдивость и аккуратность.

Удивительными чертами характера Машерова были скромность и требовательность к себе. Было общеизвестно, что Петр Машеров был героем Великой Отечественной войны. Леонид Брежнев об одном пребывании на Малой земле издал книгу и заставил говорить о ней всю страну. Машеров поступал по-иному. Он вычеркивал из текстов, которые приносили ему на визу, все страницы и абзацы, относящиеся к его собственным подвигам. В 1981 году, уже после смерти Машерова, в Минске вышла в свет вторая часть книги о Героях Социалистического Труда под названием «Труд. Талант. Доблесть». Там опубликован очерк народного писателя Беларуси Ивана Шамякина «Подвиг ратный и трудовой», посвященный П. М. Машерову. В нем есть такие строки:

«Написать о нем хотелось много, но не позволила скромность Петра Мироновича. Создателям этой книги он сказал: «Обо мне не больше, чем о любом другом Герое Труда».

Простота, заинтересованность, искренность и задушевность располагали к Петру Мироновичу людей, воодушевляли, создавали атмосферу взаимного доверия и уважения, открывали простор для беседы.

Работая первым секретарем ЦК КПБ, Машеров часто приглашал работников ЦК к себе на дачу, где было много цветов, кудахтали куры, а в вольере жили косули. Петр Миронович сам формировал кроны деревьев, маленькой чешской косилкой с бензиновым движком стриг газоны. В такие минуты он казался простым и домашним.

Бывший помощник П. М. Машерова Владимир Величко замечает: «По долгу службы мне часто приходится бывать в командировках, поэтому я не понаслышке знаю, с какой теплотой люди и поныне вспоминают о незабываемых встречах с Машеровым. У него напрочь отсутствовали чванливость и высокомерие, присущие многим чиновникам той поры…

Он ценил свежую мысль, исключительно тепло относился к тому, кто был ее автором».

Любовь к музыке была с рождения. Он всегда с гордостью говорил, что нежный мамин голос часто звучит у него в ушах. Они с отцом красиво и часто пели по праздникам, бывало, и в будни. В юности Петр попробовал серьезно развивать голос, но астрономия и физика все же увлекли сильнее.

Сочувствовать и сострадать научила Петра Мироновича жизнь. Когда в двадцать один год молодой учитель получил в деревне Старые Россоны, в трех километрах от школы, свою первую квартиру, ему после ареста отца пришлось взять к себе всю большую семью, в том числе и мать, которая к тому времени осталась одна.

В интервью с журналисткой Галиной Булыкой в связи с 80-летием П. М. Машерова Полина Андреевна Машерова отметила: «…А если у человека беда случалась, он не знаю что готов был сделать, последнюю рубаху снять, только чтобы ему помочь. Он очень жалостливый был. Помните, завод футлярный взорвался? Мы тогда в Москве на медицинском обследовании были. Он тут же вылетел в Минск. В семье был траур…»

Машеров ходил на балет и театральные спектакли, много читал, преимущественно журналы и газеты, радовался удачам талантливых людей, особенно в области науки и культуры.

Можно привести много примеров, подтверждающих ту истину, что Петр Машеров был преданным сыном, мужем и отцом.

9 сентября 1942 года от рук гестаповцев погибла мать Петра Мироновича — Дарья Петровна. Сын до конца жизни чувствовал себя виноватым, что

не спас мать, считая, что она погибла из-за него. Будучи первым секретарем ЦК, пролетая над Витебщиной, Машеров всегда отмечал на карте две личные точки, где обязательно надо было приземлиться. Первой из них было посещение могилы матери. Он молча входил в оградку простого сельского кладбища. Петр Миронович стоял, склонив голову. Он гладил руками надгробье и тихо шептал: «Прости». Ему казалось, что материнское сердце продолжает биться в его собственной груди, что мать слышит и понимает.

Петр Миронович Машеров трагически погиб в автокатастрофе 4 октября 1980 года на 63-м году жизни. Он похоронен на Восточном кладбище в Минске. В Витебске установлен памятник Машерову. Его именем назван один из красивейших проспектов в Минске, улицы многих населенных пунктов Беларуси, Витебский государственный университет, различные предприятия и организации нашей республики.

В интервью газете «Советская Белоруссия» в феврале 1993 года тогдашний глава правительства нашей республики Вячеслав Кебич сказал: «Он гордился своим народом и дорожил землей, на которой родился. Он был красив и обаятелен, талантлив и умен. Его речи всегда воспринимались людьми, его ораторским искусством восхищались и всенародно любили — без лести, без словесного холуйства. Таким был, есть и останется в людской памяти Петр Миронович».

Нельзя не согласиться со следующими словами его ближайшего соратника А. Н. Аксенова, сказанными им на юбилейном собрании в городе Минске, посвященном 85-летию со дня рождения П. М. Машерова:

«Теперь о Петре Мироновиче Машерове как личности.

Машеров — это человеческая глыба. Это личность былинная, глубоко народная. О таких людях в прошлые века слагали легенды. Он материализовал собой и поистине масштабно воплотил в себе менталитет белорусского народа: его мудрость и мужество. его трудолюбие, его рассудительность и скромность, простоту и бескорыстную доброту. Его глубокое уважение к другим народам. И таким он вошел в историю как политический деятель и как личность. И это он подтвердил всей своей жизнью, своими делами, своей борьбой за счастье людей. Он любил людей, отдавал им ежедневно свое сердце и свою душу. Во имя людей он не щадил себя, работал самоотверженно и талантливо. Он весь до последнего вздоха отдавался делу, в идеалы которого верил. И это придавало его деятельности особую, я бы сказал, романтическую окраску и возвышало ее. Это была могучая и цельная личность, полная ума и обаяния. И за все это его глубоко уважали и по-доброму любили наши люди».

Фото Юрия Иванова.



Раиса СЛУЦКАЯ

В поисках истины

Стихи, стихи! — Души услада.
В несчастье — жалкая отрада,
А в счастье с вами жизнь полней.
Живете вы в душе моей,
Как богом данная награда,
Взамен давно минувших дней.
Взамен растаявшей печали,
Взамен испытанной любви,
Что в бездну времени умчались,
И нет их, сколько ни зови,
Взамен друзей, что отреклись,
Взамен надежд, что не сбылись.



Эти стихи написаны известным белорусским ученым в области физиологии, биохимии и биофизики растений, доктором биологических наук, профессором Валентином Матвеевичем Иванченко, автором более 150 научных работ по проблемам фотосинтеза, молекулярно-мембранным механизмам регуляции, а также научно-популярных книг и пяти изобретений.

Валентин Матвеевич умер почти двадцать лет назад, но мы до сих пор с благодарностью вспоминаем этого замечательного человека: умного, справедливого, честного, талантливого во всех его начинаниях.

Внешне это был человек высокий, стройный, довольно красивый, с правильными чертами лица и грустными глазами. Не будучи весельчаком по своей природе, Валентин Матвеевич все же обладал хорошим чувством юмора.

Когда читаешь его стихи, видишь в них человека искренне любящего свою Беларусь, свою землю.

Родился Валентин Иванченко в 1937 году в маленькой уютной деревушке под претенциозным названием Александрия, расположенной на берегу Днепра и окруженной густыми лесами.

Семья Валентина была многодетной — десять детей, один другого меньше. Чтобы заработать на скудное пропитание, родителям приходилось трудиться как в колхозе, так и на собственных сотках от темна до темна. Жили трудно в это послевоенное время. Впрочем, как и вся страна.



Во время учебы в техникуме. 1950-е гг.

Отец не очень-то любил крестьянское хозяйство. Большую часть времени проводил в церкви. «Наденет свой лучший костюм, подстрижет усы — и пошел петь в церковный хор», — с иронией вспоминал Валентин Матвеевич.

Основная нагрузка по ведению хозяйства и воспитанию детей легла на плечи матери. Это была хрупкая женщина, добрая и бесконечно трудолюбивая. Никто никогда не слышал от нее ни жалоб, ни упреков. Не случалось так, чтобы она повышала голос на своих детей. Валентин Матвеевич очень любил свою мать и часто целовал ее натруженные мозолистые руки. Она же отвечала ему взаимностью. Говорила: «Из детей больше всех люблю Валю. Он моя надежда и опора». Последний год жизни она провела в семье Валентина Матвеевича. Вечерами нежно его обнимала, и они подолгу о чем-то беседовали. Это нашло отражение в стихах:

Я все невзгоды забываю,
Как будто рядом мать сидит
И молча с тихою тоскою
Мне нежно гладит волосы рукою.

С самого детства Валентин выделялся среди своих сверстников. Он рос тихим, спокойным, трудолюбивым мальчиком, всегда помогал матери по хозяйству. Будущий ученый был на редкость способным и не по годам рассудительным. Хорошо учился в школе, много читал, прекрасно рисовал. Мальчик еще тогда понял одну простую истину: никто ему в жизни не поможет, никто ничего не подаст на блюдечке с золотой каемочкой.

В детских воспоминаниях Валентина Матвеевича часто возникал сказочно красивый лес с его маленькой солнечной полянкой, куда он вместе с деревенскими ребятишками ходил за грибами и ягодами (какое-никакое подспорье семье). Именно там Валентин Матвеевич строил свои грандиозные планы, поверяя деревьям сокровенные тайны. В мечтах он видел себя то известным поэтом (уже тогда он начал писать стихи), то выдающимся художником, то великим ученым, как, например, Циолковский.

Но закончилось обучение в Александрийской школе-семилетке, и судьба, словно испытывая юношу, предлагала на выбор различные варианты будущего пути. Отец с присущим ему прагматизмом советовал: «Иди учиться в техникум, там хоть стипендию платят». Юноша последовал этому наставлению.

Валентин Матвеевич покинул родной дом практически навсегда. Позже он будет с теплом вспоминать свою деревню и сельчан — доброжелательных, приветливых и сердечных.

Будущий ученый уехал в Полоцк и поступил в лесной техникум. Город поразил его своей противоречивостью. С одной стороны — это древний культурный уголок Беларуси, где много исторических памятников и зданий — Софийский собор с его древними фресками и музеем, лютеранская кирха, домик Петра I и ряд других великолепных старинных сооружений. Это город, в котором родились великие люди, такие как Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина, Симеон Полоцкий.

С другой стороны — это полуразрушенный маленький городок с немощеными грязными улицами, переживший годы фашистской оккупации и только-только начавший восстанавливаться после войны.

А вот техникум юному Валентину понравился сразу. Это трехэтажное здание из красного кирпича, построенное в 1907 году для Спасо-Евфросиниевского женского епархиального училища, а в 1921 году преобразованное в лесной техникум, выглядело красиво и величаво. К тому же, здесь были свои общежитие, столовая, спортивный зал и свое лесное хозяйство.

В техникуме Валентин Матвеевич познакомился и подружился со своим ровесником Николаем Александровичем Картелем, впоследствии ставшим видным ученым-генетиком, доктором биологических наук, членом-корреспондентом, академиком Национальной академии наук Беларуси. Судьбе угодно было распорядиться так, чтобы эта дружба продолжалась до конца их дней.

В техникуме оба были отличниками и по завершении обучения получили путевки для дальнейшей учебы в Белорусском лесотехническом институте имени С. М. Кирова (ныне Белорусский технологический университет). Позже оба работали в Академии наук Беларуси и смогли добиться существенных результатов в своей научной деятельности.

Именно Картель в свое время рассказал много интересного о своем друге:

«Как-то раз, учась в институте, я потерял всю свою стипендию. Взять денег было неоткуда. Я же рос сиротой — отец погиб еще в финскую войну, мать расстреляли фашисты в годы Великой Отечественной войны. И мы с Валентином (не хочется называть его по отчеству, ибо, когда я рядом с ним, кажется, что мы по-прежнему молодые, веселые, задорные ребята) буквально впроголодь прожили целый месяц на его стипендию. Многое пришлось нам вместе пережить: и холод, и голод…

Да, он умел дружить. Одно время мы снимали вместе комнату. Жили своеобразной коммуной втроем — моя жена, Валентин и я. Валентин спал на полу, а мы, как молодожены, — на кровати. Буквально с первого дня у нас установились теплые дружеские отношения. Я ни разу не видел, чтобы он что-либо утаивал, жадничал. Его отличали великодушие, безудержная щедрость, желание поделиться всем, что у него было.

Кроме того, меня всегда восхищала его разносторонняя талантливость. Он прекрасно рисовал, поэтому ему поручили редактировать стенгазету. Там же он печатал свои стихи. Валентин даже умудрялся играть на барабане в институтском музыкальном ансамбле. Он считался дисциплинированным студентом, обладал великолепной памятью, способен был быстро усваивать огромное количество материала. Предпочитал вести разговоры на философские темы или о литературе, искусстве. Как выражался сам — «образовывался». Говорил, что культуру надо прививать, а бескультурье вырастает само, как бурьян».

Еще будучи студентом института, Иванченко заинтересовался работами видных ученых-физиологов. Особенно его внимание привлекли исследования ученого с мировым именем, профессора, академика Академии наук Беларуси Тихона Николаевича Годнева, чье имя стало легендой в научном мире. Это был ученый старой московской школы (закончил физико-математический факультет, отделение естествознания Московского университета), истинный интеллигент, хорошо ориентировавшийся не только в биологии, но и в математике, физике, философии, литературе. В 1928 году Тихон Николаевич переехал в Беларусь, выучил белорусский язык, писал на нем некоторые свои научные труды. Тепло относился и дружил с Максимом Богдановичем, с которым вместе учились в Ярославской гимназии (1902—1911гг). По своей природе Годнев был скромным, приветливым, к житейским мелочам, быту относился весьма равнодушно. Говорят, он был настолько рассеян, что снимал калоши, входя в троллейбус. В общем, это был истинный ученый, без сомнения внесший огромнейший вклад в белорусскую биологическую науку. Именно усилиями Тихона Николаевича были созданы школа физиологов и школа фитосинтетиков, получившие международное признание. Его фундаментальные исследования процессов биосинтеза хлорофилла подвели многих ученых мира к познанию процессов фотосинтеза и возможности его воспроизведения в искусственных условиях. Его авторитет был велик не только среди ученых и интеллигенции Беларуси, но и далеко за ее пределами.

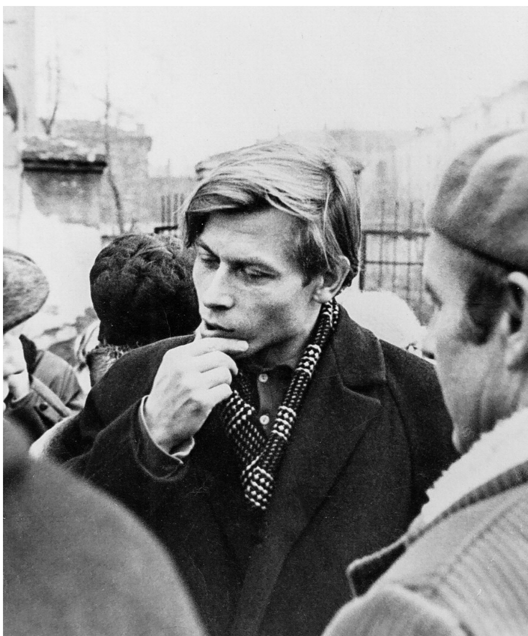
Вдохновившись его исследованиями, Валентин решил посвятить себя науке, в частности, сложной и многоплановой проблеме, которой активно занимались лаборатории многих стран мира, — фотосинтезу. С этой целью он поступает на работу в Институт биологии Академии наук БССР лаборантом в лабораторию фотосинтеза, созданную в 1962 году видным белорусским ученым, доктором биологических наук, профессором, членом-корреспондентом АН БССР Михаилом Николаевичем Гончариком, а чуть позже становится его аспирантом.

О профессоре Гончарике нельзя не сказать несколько слов, ибо этот человек — плоть от плоти своего времени, на судьбе которого отразились и лучшие, и худшие страницы истории нашей страны. Выпускник Горецкого сельскохозяйственного института, который окончил в 1924 году, он с ностальгическим восхищением вспоминал: «Жили мы тогда, скажем, скудно; хлеб да картошка — вот и вся наша еда. Но об этом мы просто не задумывались. Нашим богатством были — духовность, восторженность всем, что происходило вокруг нас, мы жили этим».

Надо сказать, что Горецкая академия в 20—30-х годах прошлого века была центром белорусской культуры. В ее стенах преподавали и учились многие известные люди. Достаточно назвать такие имена, как Константин Вереницын, Максим Горецкий, Юрий Гаврук, Николай Голодед. В то время жизнь в академии буквально «бурлила» — устраивались литературные вечера, проходили горячие диспуты на разные темы, велись споры о роли культуры в жизни людей. Плодотворно работал там и драматический кружок, где ставились пьесы только белорусских авторов, и только на белорусском языке.

«Помнится, как-то раз мы поехали в Минск, чтобы найти пьесу для нашего драмкружка. Обратились к одному известному тогда драматургу (не буду называть его фамилию, его уже нет на этом свете). Так он запросил у нас денег за свою пьесу. Ну откуда у нас, бедных студентов, деньги? Мы и так еле-еле сводили концы с концами. Тогда нам посоветовали идти к Владиславу Голубку. И он не только подарил нам свою новую пьесу, но и накормил, дал денег на дорогу», — вспоминал Михаил Николаевич.

После окончания академии М. Н. Гончарик направляется на работу в Оршу заведующим окружным отделением народного образования. Там же он познакомился и подружился с поэтом, а впоследствии видным ученым, доктором



На октябрьской демонстрации. Конец 70-х.

биологических наук, профессором, академиком Академии наук Беларуси Александром Степановичем Вечером. Широкому кругу читателей он известен как Алесь Вечар, автор двух опубликованных поэтических сборников — «Кола дзён» и «Зварот да слова», поэмы «Мая гімназія». Им переведена на белорусский язык поэма А. С. Пушкина «Домик в Коломне». Именно Алесь Вечер порекомендовал Гончарику вступить в литературное объединение «Молодняк». К тому времени Михаил Николаевич уже давно плодотворно работал на поэтической ниве, выступая в белорусских изданиях под псевдонимами Ландыш, Лесун, Яким Сявец. А его первое стихотворение «Араты» напечатала в 1914 году газета «Наша Ніва».

Но в 1928 году «Молодняк» закрывают, а в 30-е годы многие члены этой организации были репрессированы. Не избежал такой участи и Михаил Николаевич Гончарик. В 1933 году его арестовали. В те годы даже научная рецензия, содержащая обвинения в «отступлении от марксистской идеологии», могла стать поводом и причиной ареста ученого. Но чаще всего основанием для репрессий в отношении ученых служили клевета, прямые или косвенные доносы на них коллег по работе. Кстати, Михаил Николаевич знал имя своего «обидчика», но никогда и никому не называл его. В итоге Гончарик заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на десять лет.

Как-то в разговоре Михаил Николаевич признался: «Честно говоря, не хочется думать и вспоминать о тех годах, проведенных в лагерях. Но не могу избавиться от назойливых мыслей, почему и зачем потеряно столько лет жизни. Я бы мог так много за это время сделать для нашей науки, для нашей страны».

Освобожден был Михаил Николаевич только в 1947 году. Он устроился на работу на Орловскую опытную станцию. Но не прошло и года, как М. Н. Гончарика снова арестовали. К прежним вымышленным обвинениям добавлены новые. Его высылают на Крайний Север в город Игарка. Слушая печальную историю ученого, который не имел на поселении работы, скитался по холодным баракам, зачастую жил без всяких средств к существованию, восхищаешься его стойкостью, силой воли, жаждой жизни. Невзгоды не смогли сломить этого человека, а только закалили его душу.

Говорят, свет не без добрых людей. Так Михаил Николаевич случайно встретил своего старого знакомого, который знал Гончарика как хорошего агронома и устроил на работу в совхоз. Параллельно как истинный ученый-физиолог Михаил Николаевич вел научно-исследовательскую работу. В частности, его заинтересовала проблема продуктивности растений в зоне вечной мерзлоты и круглосуточного освещения. К примеру, он сумел доказать возможность выращивания овощных культур на Крайнем Севере.

В 1954 году Михаил Гончарик был освобожден, из ссылки вернулся сначала в свою альма-матер — Горецкую сельскохозяйственную академию. Позже, благодаря помощи президента Академии наук В. Ф. Купревича переехал в Минск и поступил на работу в Институт биологии (ныне институт экспериментальной

ботаники имени В. Ф. Купревича) в лабораторию вышеупомянутого Т. Н. Годнева. Через некоторое время М. Н. Гончарика избирают директором этого института. Позже, в 1962 году, он становится заведующим лабораторией фотосинтеза.

Нам же Михаил Николаевич вспоминается всегда рядом с женой, Стефанией Николаевной. Гончарики дружили со многими известными людьми. Например, жили в одном доме с Якубом Коласом. Одну половину занимал писатель, а другую — они. Михаил Николаевич вспоминал: «Каждую субботу ходили с дядькой Якубом в баню, после — по чарочке и допоздна вели разговоры. Он был такой интересный рассказчик, с юмором и прибаутками, что хотелось слушать его бесконечно».

К своим сотрудникам Михаил Николаевич относился очень дружелюбно, уважительно. Особенно по-отечески опекал своих двух аспирантов — Станислава Галактионова и Валентина Иванченко. Ему импонировали их трудолюбие, собранность, умение смотреть в корень проблемы, любовь к своему делу.

Эти молодые люди были похожи своим стремлением к совершенству, глубоким философским подходом к деятельности, но в то же время их отношение к жизни разнилось. Галактионов отличался жесткостью в оценке тех или иных событий, он не читал советских изданий, не участвовал в политических мероприятиях. Был прямолинеен, знал себе цену. Станислав Геннадиевич не старался нравиться, но его ум и обширные знания притягивали к нему людей. Диапазон его интересов был поистине широк — от математики и физики до философии и искусства. Казалось, все ему удается легко и просто. Например, он выучил и свободно общался на английском, немецком, чешском, японском языках и даже подрабатывал в Торговой палате.

Вскоре после защиты кандидатской диссертации со словами: «Лучше я там буду последним, чем тут первым» (где «там», можно только догадываться) Галактионов неожиданно уходит от М. Н. Гончарика. Его устремления — молекулярная биология, в частности, структура белка, в белорусской науке новое направление. Не найдя у себя в институте ни моральной, ни материальной поддержки, он, словно птица, потерявшая свое гнездо, устремляется на поиски места, где поддержат его начинания. Под свое крыло Галактионова берет известный ученый Теодор Перельман, заведующий лабораторией в Институте тепло- и массообмена Академии наук Беларуси. Станислав Геннадиевич создает там группу ученых-энтузиастов и успешно разрабатывает свою тему. Затем там же блестяще защищает докторскую диссертацию.

После трагической гибели Т. Перельмана группа, которая работала под руководством Галактионова, распускается. Станислав Геннадиевич уезжает в Ригу, а после возвращается в Минск, трудится в разных научных учреждениях. Несмотря на некоторую неустроенность в профессиональной деятельности, Станислав Геннадиевич много и плодотворно работает. В своих исследованиях он переходит от пептидов, которыми он ранее занимался, к пространственным структурам больших белков. Издает ряд научных и научно-популярных книг. А в 1991 году уезжает на постоянное место жительства в Америку, где более десяти лет работает в Центре молекулярного дизайна Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Ушел из жизни Станислав Галактионов в 2011 году после тяжелой болезни. В итоге в справочной литературе значится как американский и советский ученый.

Жизнь Валентина Матвеевича Иванченко тоже не была простой. Драматизм судьбы исследований ученого заключается в том, что ему очень часто приходилось доказывать свою правоту и вступать в конфликт с известными учеными, объявившими себя экспертами в области биологии. Трудно передать весь спектр отрицательных эмоций, которые довелось испытать ученому из-за непонимания сообществом его передовых взглядов, но, превозмогая их, Иванченко все-таки упорно и планомерно убеждал оппонентов в своей правоте.

«После защиты кандидатской диссертации я здорово разозлился за то, что меня не поняли, не оценили. Захотелось все бросить, забраться куда-нибудь в лес, чтобы никого не видеть и не слышать. Но подумалось потом, мол, Бог с ними, неверующими. Не будем ныть и отказываться от того, на что потрачено столько усилий», — говорил Валентин Матвеевич.

И то правда. Не очень-то уютно чувствовать себя слабым и немощным. Взяв себя в руки, Иванченко с головой окунулся в работу и, как обычно, ни под кого не подстраиваясь, высказывал свои идеи. Без сомнений, потому что был уверен в своей правоте, потому что знал, о чем говорил, каждый раз защищая свою точку зрения так, словно от этого зависела его жизнь.

Дело пошло — Валентин Матвеевич защитил докторскую диссертацию (конечно же, на защите не обошлось без язвительных выпадов некоторых ученых), написал ряд научных статей и несколько научно-популярных книг.

70—80-е годы для Валентина Матвеевича были самыми трудными, зато очень плодотворными. В этот период ученый посещал лекции по математике в университете, усиленно изучал английский язык, не забывая уделять время своим аспирантам. Показательно, что две аспирантки из Вьетнама буквально боготворили своего учителя и в один голос говорили: «Это прекрасный человек, добрый, талантливый — берегите его».

В то же время в характере Валентина Матвеевича появилась замкнутость. Он бывал раздражительным, напористым, делал резкие заявления. Одним словом, вел себя, как завхоз в научном учреждении: «Вы тут витаете в облаках, а мне работать надо».

Конечно, человеку не следует замыкаться в себе, но столь же несомненно то, что только через личный опыт, личное переживание и осознание собственной ответственности он может приобщиться к общей судьбе. Замечательно об этом сказал Андрей Платонов (кстати, уважаемый и читаемый Валентином Матвеевичем прозаик): «Одному человеку нельзя понять смысла и цели своего существования. Когда же он приникает к народу, родившему его, и через него к природе и миру, к прошлому времени и будущей надежде, — тогда для души его открывается тот сокровенный источник, из которого должен питаться человек, чтобы иметь неистощимую силу своего деяния и крепость веры в необходимость своей жизни».

Раздражение, испытываемое ученым, было вызвано ханжеством и бюрократизмом, которые имели место в научных кругах. Иванченко же был прямолинейным, бесхитростным и очень ранимым человеком. Ученому было чуждо притворство, и свою работу он выполнял по совести. Он писал:

Живет во мне противоречивый дух.
Его молю и молча я, и вслух,
Но он меня не покидает.
И от него душа моя страдает,
И потому так труден каждый день,
Что прожит мной среди людей.

В 1976 году по настоятельному требованию М. Н. Гончарика (ставшего научным консультантом) Иванченко возглавляет лабораторию фотосинтеза. Был ли он этому рад? Вряд ли. Валентин Матвеевич скорее являлся, если так можно сказать, «индивидуалистом в науке». Для него важны были научные разработки, получение ожидаемых результатов, новые направления в науке. И ради этого он готов был работать день и ночь.

Сын как-то спросил ученого: «Папа, ты так много времени проводишь на работе! Интересно, на каком месте мы у тебя?» И Валентин Матвеевич, смеясь, ответил: «На первом месте — работа, на втором — работа, на третьем — тоже работа, а вы у меня на четвертом».



*На рыбалке с сыном
и Борисом Легенченко. 80-е гг.*

Свое кредо он определил так: «Сейчас нужен такой ученый, который бы задавал вечные вопросы». Далеко не каждый, поставив такие вопросы, найдет отклик и понимание, заставит поверить в серьезность своих намерений. У Иванченко был особый талант, отличавший его от коллег. Он мог умело поднять настроение, настроить на деловой лад, увлечь своими замыслами учеников и сотрудников.

Валентин Матвеевич был строг с разгильдяями (в лаборатории таковые если и были, то быстро перевелись), любил умных людей и не терпел дураков. Он легко находил единомышленников, готовых поддержать любые его начинания. К сотрудникам относился весьма уважительно, был вежлив, поддерживал инициативных и давал им возможность реализовать свои предложения.

Мы часто заходили в его скромный кабинет в лаборатории и пили там кофе, пока Валентин Матвеевич с жаром и упоением рассказывал о своих сотрудниках и о таких понятиях, как фотосинтез, хлоропласты, митохондрии, мембраны, в которых я тогда мало смыслила. Но важно было не то, о чем был разговор, а как он велся. Неповторимая энергетика, увлеченность и искренность настолько завораживали, что я слушала с открытым ртом.

Глядя порой на Валентина Матвеевича, я думала, что этот человек безупречен. Но, наверное, у него есть какие-то свои тайны, недоступные чужому взору? Он был талантлив, воспитан, никогда не ленился сделать что-либо хорошее для другого человека. Сам он, когда слышал об этом, лишь усмехался: «Ну, известно, что никто не бывает безупречным. — И словно в подтверждение этих слов добавлял: — Когда я раздражен — кричу».

К счастью, поводов раздражаться у Иванченко было не так и много. «Недавно я действительно сильно рассердился. В очередной раз мне было предложено вступить в члены КПСС. Как обычно ответил, что еще не готов. Но я-то видел, как многие вступали в партию ради карьеры, получения звания, хороших должностей. Да, мне было трудно реализовать свои возможности, но помогал каторжный труд», — признавался Валентин Матвеевич.

К советской действительности он относился весьма неоднозначно: иронично отзывался о политиканстве, лживости цитат, громко произносимых с трибуны. Ученый говорил: «Если знаю, что мною манипулируют, мне это не нравится. Я чувствую себя кошкой, которую пинают». Впрочем, Иванченко никогда не произносил вслух таких «крамольных» мыслей в лаборатории, где работала молодежь. Он считал, что ее надо воспитывать в духе патриотизма. С годами Валентин Матвеевич стал более сдержан и гибок, по тем или иным вопросам высказывался в обтекаемой форме, чаще прислушивался к чужому мнению.

Тем не менее, чувство долга и ответственности перед родиной его никогда не покидало. Валентина Матвеевича не раз приглашали работать за границей, но он всегда отказывался. Свое предназначение ученый видел в служении народу. Кроме того, Иванченко не мог предать дело своего учителя Михаила Николаевича Гончарика и оставить созданную им лабораторию.

Валентин Матвеевич берег своих сотрудников и всячески охранял теплую атмосферу в лаборатории: «Мы живем в трудные времена: в стране инфляция, кризис. Да, наши зарплаты меньше, чем на Западе. Я как могу стараюсь поддержать своих сотрудников — пусть не материально, так хоть морально». Тут Валентин Матвеевич несколько лукавил. Однажды ученый отдал часть своей зарплаты одному из работников. «Не мог же я допустить, чтобы из лаборатории ушел великолепный математик», — объяснял он позже свой поступок.

Вне работы Иванченко всегда держался скромно, но обладал огромным человеческим обаянием, что неизменно влекло к нему окружающих. Он умел внушить уважение к себе без особого старания. При Валентине Матвеевиче никто не мог позволить себе грубость или бестактное отношение друг к другу.

Ученый практически не обращал внимания на свой внешний вид. Страшно не нравилось ему ходить по магазинам. Если приходилось покупать костюм для мероприятия, он с неохотой мерил и... не брал, ибо предпочитал привычное сочетание из брюк, рубашки и блейзера.

Все свое свободное время Иванченко уделял семье и детям. Очень любил делать подарки, которые оставлял под подушкой. Часто ходил с родными в поход и на рыбалку. Рыбак он был заядлый, страстный. Надо было слышать его рассказы о пойманных огромных рыбинах. На деле же Иванченко куда чаще ловил маленьких плотвичек, которых даже кошке не хватало на обед. Но как он возился с этой рыбешкой...

Разбудив детей в пять утра, Валентин Матвеевич восхищенно восклицал: «Посмотрите, какая красота! Какая изумительная природа нашей Беларуси! Вы еще не раз вспомните это время». И действительно, эта красота была особенно ощутима ранним утром, когда туман накрывал еще не проснувшуюся землю, огромное солнце лениво выплывало из-за леса, а вокруг расстилались желтые ковры полей подсолнухов.

Иванченко очень любил своих детей. «Я хочу, чтобы дети мои всегда были со мной или хотя бы чаще были рядом. Хочу, чтобы они мной гордились так, как я горжусь ими. К сожалению, ни один из них не пошел по моим стопам. Сын Александр стал экономистом, дочь Ирина — юристом. Я знаю, что они порядочные, толковые ребята, нам за них не стыдно ни перед Богом, ни перед людьми», — говорил Валентин Матвеевич.

Ученый обладал богатой эрудицией. Его любимыми художниками были Боттичелли (в кабинете стояла репродукция «Рождение Венеры») и Микеланджело. Знал и ценил классическую музыку, часто ходил на концерты выдающихся музыкантов, страстно любил оперу. Он много читал, правда, времени на это занятие часто не хватало.

Природная скромность Валентина Матвеевича не позволяла ему громко заявлять о собственных произведениях. Свои стихи почему-то называл «анахронизмами».

Мои стихи не совершенны,
Я отдаю отчет вполне.
Рождались ведь они мгновенно
И похоронены во мне.
Не важно им чужое мненье,
Чужда редактора рука.
Они — моей души волненье,
Они — крови моей река.
И пусть они не совершенны,

Не украшают мир земной,
Пускай, как тело мое, бренны,
Зато всегда они со мной:
В минуты тягостных раздумий;
В минуты горестных утрат;
В минуты сладостных безумий.
Сейчас, как много лет назад,
Они мне, слабому, опора,
И мне, слепому, поводырь,
Мне с ними много легче горе
И радостней душевный мир.

Мысленно перелистывая страницы жизни Валентина Матвеевича Иванченко, хочется найти там что-то светлое, радостное, хорошее. Вспоминаются конец 60-х и 70-е годы прошлого столетия — время, когда Иванченко и его друзья были аспирантами, не обремененными ни званиями, ни властью, ни почестями. Это были простые, веселые ребята. Стасик (так называли тогда Галактионова) был скромным, вежливым парнем с хорошим чувством юмора. Именно по его инициативе был организован «Клуб четырех коней», куда входили Станислав Галактионов, Николай Картель, Валентин Иванченко и Юрий Никольский. На собраниях, которые проходили каждую субботу в аспирантском общежитии на Академической улице, собирались физики, математики и кибернетики. В основном там пили пиво и вели разные споры. Обсуждались как проблемы научного характера, так и злободневные вопросы.

Почему-то вспоминается один диспут. Разговор шел об интеллигенции. Помню, хоть и не дословно, что по этому поводу сказал Валет (так друзья звали Иванченко): «Что такое сегодня интеллигенция? Каковы ее задачи? Прежде всего, как мне кажется, надо зорко наблюдать за происходящим в стране, знать настроение людей и по возможности предостерегать их. Также необходимо помогать политикам не делать ошибок».

Еще вспоминаются наши семейные посиделки. Мы подружились семьями именно тогда, в конце 60-х годов. Каждый праздник собирались у кого-нибудь на квартире. Было безумно весело. Мы любили друг друга, знали дни рождения и каждый раз поздравляли по-особенному. На стол все старались приготовить что-то вкусное и новое (не из будничного меню).

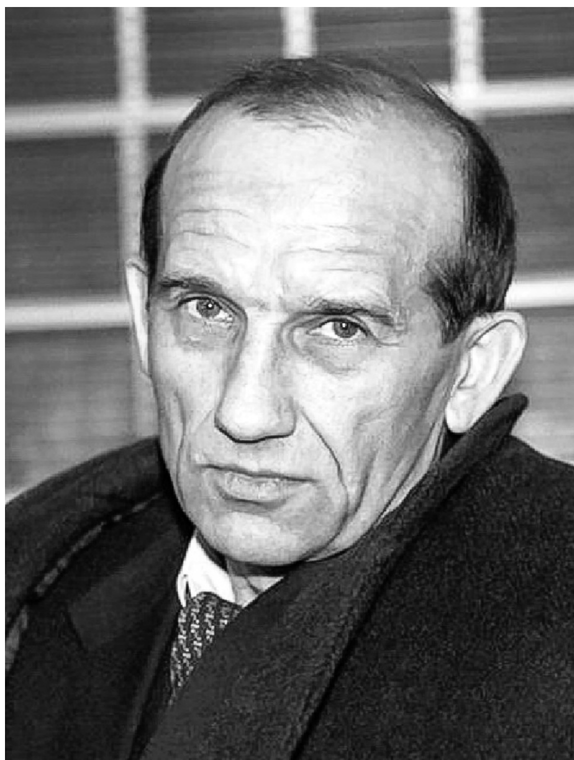
Валентин Иванченко добился всего сам. Его жизнь представляет наглядный пример, как к человеку, если он твердо знает, чего хочет, может прийти успех. Он по праву стал в один ряд с выдающимися учеными. А в нашей памяти останется как прекрасный человек, имевший свои принципы и не сгибавший спину перед сильными мира сего. Как человек, который стремился сделать как можно больше для своей родины.

Подтверждение — в стихах:

Когда в любое время года
После спокойных, ясных дней
К нам вдруг приходит непогода,
Мы что-то родственное в ней
Всегда в душе находим.
И часто в непогоду бродим
Часами, мокнем под дождем,
Как будто случая мы ждем,
Чтоб еще раз себя проверить.
Так сильно хочется нам верить,
Что дух борьбы в нас не угас
И мужество не изменило,
И что у нас достанет силы
Пожертвовать, когда наступит час.

Изяслав КОТЛЯРОВ

Поэт непостижимой простоты



Игорю Ивановичу Шкляревскому 80 лет?! В это мне еще труднее поверить, чем в свои собственные. Цепкая память снова и снова возвращает в город нашей общей юности — Могилев. Кое-где дымят послевоенные руины, но музыка духового оркестра в парке имени Горького сдувает к близкому Днепру кирпичный дым. Навстречу мне по центральной Первомайской улице идет, едва сдерживая улыбку, Шкляревский. Что-то хочет сказать, но я опережаю его вопросом: «Как дела, Игорь?» Он медлит, как бы вдумываясь в одно-единственное слово. И отвечает: «Хороши…» — «А как стихи?» — уточняю. «Так я же и говорю о стихах…» Иных дел для него уже и тогда не существовало.

А вот еще подарок фрагментарной памяти. На палубе какого-то тряского, как телега, пароходика плывем по Днепру в Баркалабово. Шкляревский расстегивает свое пальто и, вынимая руку из правого рукава, отдает его мне, дрожащему уже не только от пароходной тряски, но и от холода. Так, обнявшись этой одежкой, и плывем, читая друг другу стихи… Много лет спустя в стихотворении, посвященном Игорю, я напишу: «Плыл пароход куда-то в Баркалабово, в туман Днепра и юности туман…»

Еще один фрагмент могилевской памяти. Холодный, желтоватый от осени дождь загоняет нас под крыльцо областной библиотеки. Сквозь стеклянные двери заглядываем в зал и видим Алексея Пысина, Василя Матеушева и Петра Шестерикова. Зал полон. «Зайдем?» — то ли спрашивая, то ли предлагая, говорит Шкляревский. Заходим. Ищем, куда бы присесть. А Пысин уже объявляет: «Вот и молодые поэты к нам заглянули. Давайте попросим выступить Шкляревского…» Так и не присев, Игорь выходит к столу президиума. Нарочито кашлянув, будто прочищая голос, читает, глядя в окно на дождь, от которого мы только что убежали:

Шел дождь, и я куда-то шел,
и я, и дождь,— мы шли весь день,
пока огнями не зацвел
вокзал. Казалось, что везде
идут дожди, поют дожди,
что им конца, как жизни, нет.
Она мне крикнула: «Не жди!»
Мне было 18 лет.
Я мог назвать бы наизусть
места и даты первых встреч.
Мою хвалили в классе речь,
но речь переставала течь
от задыхания в груди.
О, жар и холод первых встреч.
Теперь все это позади.
Шел дождь, и я куда-то шел…

Цитирую по памяти. Что-то не могу припомнить, чтобы Игорь Иванович включал это юношеское стихотворение в одну из своих книг. Аплодисменты ему были такие, о каких маститым могилевским литераторам оставалось только мечтать.

Потом и я читал свои стихи. А выходя на промытый влажной свежестью проспект, Игорь пошутил: «Дождь знает, куда нас загонять…» Постояли, задумчиво медля расходиться, и он, выслушав мою похвалу прочтенным им стихам, сказал: «Писать надо просто. Вот, к сожалению, не мои строки: «Дождик появился. Я стою и жду. Потом посторонился, — дал пройти дождю…» Уже тогда он стремился к непостижимой простоте, которая станет отличительным свойством его поэзии.

Приведу один из классических примеров его поэтической простоты:

Вода лежала на земле
под телеграфными столбами,
и роща людям о зиме
напоминала сквозняками.
Уже сбивался в стаи окунь.
Вдруг стало тихо и тепло.
Забыло дерево, что осень,
и на рассвете расцвело.
И было как-то странно слышать
Вокруг него осенний шум,
Хотя я видел и межу,
И красные от листьев крыши.
И паутину у сосны,
И одинокую сороку,
И тельце высохшей осы,
И опустевшую дорогу.

Ну вот, хотел процитировать только первую строку, а процитировал все стихотворение. Удержаться невозможно… Однако я, кажется, помешал своей могилевской памяти. Летняя сцена парка имени Горького. Приехавший из Минска Григорий Соломонович Березкин — известный критик, заведующий отделом поэзии альманаха «Советская Отчизна», отобравший для публикации наши стихи, — представляет нас слушателям. Мы уже знаем, что он недавно вырвался из колючих гулаговских объятий, и каждое его слово воспринимаем с каким-то потайным подтекстом… Переполненный зал междугородних переговоров могилевского телеграфа. Игорь звонит в редакцию московского журнала «Смена», куда мы выслали по почте свои стихи. Ответ слушает с победной улыбкой. Будут публиковать. Но прежде чем вешать трубку, спрашивает и обо мне. Ответ поскромнее: «Что-то опубликуем…» Потом именно эта первая публикация Шкляревского во всесоюзной печати будет признана редакцией журнала лучшей по итогам года…

Вспоминается и горестный день похорон матери Игоря Ивановича. Его долгий, проникнутый истинной поэзией монолог над ее могилой. Я плакал от этих слов. И сказал то, что не мог не сказать: «Бессмертна мать такого поэта!» Плакал еще и потому, что по-своему знал Ксению Александровну, ее пронзительно деликатную учительскую осторожность. Заходил к ней и тогда, когда Игорь уже славился в Москве. Она почему-то недоверчиво относилась к этой славе… А вот еще один памятный эпизод. Игорь приехал из Москвы, а я — из студенческого для меня Минска. Стоим поздним вечером во дворе дома, в котором он жил. Смотрим на окна его бывшей квартиры. В них вспыхивает свет — и Шкляревский вскрикивает, будто от боли. Это свет чужих людей в родных окнах… Я обнимаю Игоря за плечи и увожу подальше от этого болезненного для него света…

Можно вспомнить и более веселое. Но оно как-то противоречит нашему пугающему и других возрасту. Но вот встречаю его на проспекте в Минске. Он вынимает на ходу свой первый сборник из внутреннего кармана плаща и, не останавливаясь, показывает: «“Я иду!” — и я иду»,— кричит мне, спеша куда-то. Да, первая его книга так и называлась торжествующе-предупреждающим глаголом: «Я иду!» Вскоре в Минске же вышла вторая книга — «Лодка», на которую откликнулся рецензией Борис Слуцкий, назвав ее так: «Лодка, которая плывет далеко». Впрочем, у Шкляревского были основания остаться недовольным этой весьма и весьма одобрительной рецензией. Потом, уже в Москве, вышли книги «Фортуна», «Воля», «Ревность», «Похолоданье», «Неназванная сила», «Тайник», «Брат», «Слушаю небо и землю»… Каждая из них воспринималась как подтверждение истинности поэзии истинным поэтом. Замечательно писал о Шкляревском Александр Межиров, с которым, кстати говоря, меня и познакомил Игорь. Очень обстоятельно и тоже с полным ощущением величия таланта Шкляревского анализировал его творчество Владимир Бондаренко. Всех не перечислить. Лично у меня всегда было ощущение того, что Игорь Иванович всю жизнь пишет одну и ту же книгу, беря из предыдущей что-то лучшее и добавляя к ней новое. А критерий всегда один — непостижимая простота. Редко у кого из поэтов можно открыть наугад страницу и не ошибиться. В книгах Шкляревского таких опасений нет. Вот открываю то, что открылось в книге «Мне все понятней облака», изданной уже после присуждения ему в 1987 году Государственной премии СССР. Читаю:

Озера спят с открытыми глазами.
Захватывает дух. Так высоко над нами
стоят орлы, сиянья, облака.
Так бездна белой ночи глубока,
что мысль твоя ныряльщицей усталой
спешит к Земле... В который раз она
не овладела этой бледной тайной,
измученная, не достала дна.
И жалок я с досадою вчерашней,
и ты с обидой маленькой своей.
Еще мы в ссоре, а над жизнью нашей
несется свет бессмысленных огней.
Забудь себя, всмотрись в ночное небо,
и может быть, помирит нас оно,
хотя бы тем, что был ты или не был,
орлам и звездам все равно...

Кстати, премию эту Игорь Иванович получил за книгу «Слушаю небо и землю». В ней — и «Слово о мире», в котором опять-таки непостижимо соединил всемирность и простоту, исходящую, может быть, из тональности великолепно перевоплощенного им «Слова о полку Игореве». Впрочем, в одном из стихотворений этой книги — «Сон под грозой» — есть и такие строки:

Я «Слово о полку…» прочел.
И окна приднепровских сел
пылают красными щитами.
Бегу оврагами, кустами.
Вдруг потемнело все кругом.
И шорох тучи страшно близок,
как будто развернулся Список
и в поле выкатился гром!
И к стенам города со мной
бегут кусты, деревья, травы.
Темно! И ветер с переправы
гнетет полынью и тоской…

С сожалением обрываю цитирование. Хотя правильность моих ощущений может подтвердить и цикл стихотворений «Запах полыни». Предметность, осязаемость стихов Шкляревского всегда поэтически убедительна. Вот подтверждение этому из той же, лауреатской книги:

Мечта великая живет,
чтоб холодило слово «лед»,
чтоб слово «дятел» на сосне
стучало в синей вышине.
Где землемер вчера дремал,
перемогая знойный день,
и под ольхой траву примял,
я увидал его сажень.
В траве лежала буква А.
Давно я разлюбил слова!
И эту книгу я писал
без слов. Но дятел лист прорвал!
Жук проточил! Огонь сожрал…

Как всегда, у Шкляревского в любой книге есть белорусские ассоциации. Они — в поэме «Черная гать». И конечно же, в «Жалобе счастья».

Руки болять! Ноги болять!
Клевер скосили. Жито поспело.
Жито собрали. Сад убирать.
Глянешь, а греча уже покраснела.
Гречу убрали. Лен колотить.
Лен посушили. Сено возить.
Сено сметали. Бульбу копать.
Бульбу вскопали. Хряка смалить.
Клюкву мочить. Дровы пилить.
Ульи снимать. Сад утеплять.
Руки болять! Ноги болять!

«Белорусскость» стихов Шкляревского ощутима не только в этой книге, но и во всех остальных. Она и в переложении поэмы Николая Гусовского «Песня о зубре», и в поэме «143148», в главном герое которой легко узнаю поэта Наума Кислика, и в стихах о наших реках, озерах, городах (особенно о родном Могилеве). Есть у него и книга переводов белорусской поэзии, которая так и называется: «Паром из Белоруссии в Россию». Но вернемся к той, что отмечена высшей премией нашей тогда великой страны. Она вобрала в себя и переложение «Слова о полку…», которое академик Дмитрий Лихачев отметил самыми лестными эпитетами. Вот что он писал Шкляревскому: «Помните, Вы — настоящий поэт, Вы не стихотворец. Поэзия — это нечто более высокое… Вы нужны русской культуре, поэтому заботьтесь о своей сохранности, как о национальном достоянии. Любящий Вас и Вашу поэзию Дмитрий Лихачев».



Изяслав Котляров и Игорь Шкляревский в Могилёве. 1959 г.

Всех книг Игоря Ивановича, наверно, не перечислю. Назову только вдумчивую, проникнутую самой сущностью поэтического слова «Поэзия — львица с гривой» и недавнюю — «Золотая блесна» (книга радостей и утешений). Стихи поэта переведены на болгарский, итальянский, немецкий, польский, чешский, японский и другие языки.

Но вернемся к той, что отмечена Госпремией СССР. В ней и «Слово о Куликовом поле» (по «Сказанию о Мамаевом побоище»), и стихи огромного географического диапазона: «Письмо из Англии», «В Сицилии», «Все тот же Рим! Все тот же мир…», «Ему в Париже снится сон…». И тут же: «На Припяти возле Турова», «Рябило поперек Днепра…» — свое, родное… Награда была более чем заслуженной. Кстати, именно в эти радостные для Шкляревского дни я по его приглашению оказался рядом с ним. Помню, остался в такси, а он ушел на Почтамт и вернулся с дипломатом, полным поздравительных открыток и телеграмм. «Вот, даже Могилевский обком партии удосужился поздравить», — устало улыбнулся мне… Потом мы сидели в ресторане ЦДЛ вдвоем и на каждую просьбу разрешить приобщиться к нашему столу, не оборачиваясь, говорил одно и то же: «Занято…» Ах, если б можно было тогда записать наш сокровенный разговор!.. Впрочем, и сейчас даже то, что помнится, не скажу. Пусть останется там и в том времени…

Перечислять наградами заслуги Шкляревского можно долго. Он и лауреат Пушкинской премии, и орденом Дружбы народов отмечен, Царскосельской и Государственной Пушкинской премиями РФ. Награжден Грамотой Экзарха всея Беларуси Филарета «Во внимание к трудам на ниве церковной, в память 2000-летия Рождества Христова».

Избирался членом правлений Союза писателей РСФСР (1985—1991) и Союза писателей СССР (1986—1991), исполкома Русского ПЕН-центра (с 1989).

Был членом общественного совета «Литературной газеты» (1990—1997), председателем экологического движения «Глаза Земли» при Советском комитете защиты мира (с 1989). Член комиссии по Государственным премиям при Президенте РФ, председатель комиссии по Пушкинским премиям при Президенте РФ (с 1999).

Только на малой родине почему-то не очень чествуют. Но эта тема не для юбилейной статьи. А вот послушать самого Игоря Ивановича, думаю, будет интересно всем. Давайте зададим ему вопросы, которые уже не раз задавали ему, и пусть ответит так, как отвечал.

— Есть житейская заповедь: каждый человек должен посадить дерево. А вы хотите...

— Эта заповедь устарела. Мы в таком долгу перед природой, что деревом не откупишься. К тому же появилась поговорка: «После нас хоть трава не расти». Я ее ненавижу. Но лучше я прочту вам стихи:

Мелькнули в книге белые страницы.
Молчи! Какой тут типографский брак?!
С 14-й — улетели птицы!
С 16-й — ручей удрал в овраг!
И лес в леса ушел из этой книги...

Во все времена у поэтов была мечта — превратить слово «лес» в живой лес, слово «птица» — в летящую птицу. Однажды мне приснилось сухое дерево, оно скрипело, и на голых ветках висели мои стихи о лесах... Я уже говорил об этом и снова скажу, — о личном пространстве человека. Природа просит нас: сбереги, сохрани, где стоишь, где живешь, — на расстоянии взгляда, хотя бы на расстоянии вытянутой руки. И твое личное пространство, помноженное на миллионы, станет охраняемым пространством страны. Я хочу посадить лес, создать такое личное пространство — очищающее. В лесхозе мне сказали, что на премиальную сумму можно посадить 30 гектаров леса. Представляете, какая будет зеленая заплата на высыхающей земле! Для меня это — радость. Меня не будет, а лес будет шуметь на берегу Припяти.

— В одной из своих книг вы пишете: «Самое сильное в человеке — его начало. Оно тайно верховодит всей жизнью...» Ваше детство прошло на Припяти?

— Нет, детство прошло на Днепре. Припять была после. У меня на глазах умирали реки, отступали леса. И я перебирался с реки на реку, пока не увидел, что уже некуда перебираться. А в детстве я просыпался — и на одеяле, на подушке сидели бабочки, нежно шуршали на висках. Бурлила заводь, рыбы выпрыгивали из воды, хватали мотыльков. Это был праздник поденки. В очках отца летали нарядные птицы. За грибами ходили из города пешком...

Что было тогда в нашем доме? Стол, несколько стульев и сколоченные из некрашеных досок книжные полки. Потом у нас появились нарядные шторы, диван, красивая скатерть с птицами. А леса отодвинулись, луга полиняли. Река уже не затопляла дороги. Как будто все краски мы перетащили с лугов и полей в свои квартиры. Мы их украшаем, а наш общий дом обкрадываем. Ходим в чистых рубахах, а свои белые облака запачкали.

— А разве там сейчас можно выращивать лес?

— В среднем течении можно. Если в одном месте земля потеряла, надо хотя бы в другом возместить.

— Почему все-таки на Припяти?

— Потому что я люблю ее песчаные отмели и плакучие ивы, зеленые сверху, а снизу седые. Тысячи костров я зажег на этой реке. Теперь ее леса в нижнем течении — уже не для людей... Ветер с Чернобыля дохнул на них. А по сути, все равно — на Припяти или на Случи, на Птичи… Вот послушайте, как в названиях свищет птица: Случью, Свислочью, Убортью, Друтью, Ипутью, Утью, Витью... А вот имена притоков Припяти: Горынь, Лань, Желонь...

Достойны ли мы этой свежести, всем нам доступной? Вот я слушал записанную в глубине океана песню кита. Он что-то нам кричит. Тайна его жизни прячется в ничтожном планктоне. И плачущий слон просит человека не убивать ничтожного мотылька, сохранить невзрачный цветок, без которого он погибнет... Мы смахиваем с лица Земли козявок, моллюсков, траву, не думая, что в одной из них запрятана тайна живучести человека. Какие беды нас ждут в недалеком будущем? Уже рыбы и жабы давятся Луной, изрыгая кормящие яды. Человеку не так уж много надо. Лучше недобрать урожай, но не отравить землю. Один поэт писал, что надо не природу оберегать от человека, а человека от природы, как будто на больной земле могут вырасти здоровые дети. Земля моего детства, мои реки и лес пострадали от чернобыльской аварии. Прошло полтора года, и мы успокоились. Так было раньше — после наводнений, нашествий, пожаров. Спадала вода, смирялся огонь, и люди успокаивались. Сегодня нам не хватает воображения. Рано мы успокоились. Люди махнули рукой, собирают грибы и ягоды, несмотря на предупреждения, — живут, как жили. Кое-кто уже и продает дары леса, выдавая себя за жителей незапыленных районов. Если бы у нас раньше была гласность, не было бы чернобыльской трагедии.

— Писателей часто упрекают в некомпетентности, когда они предсказывают экологические беды. Что вы об этом думаете?

— Компетентностью любовь и совесть не заменишь. Я уже похоронил четыре любимые реки. В детстве я и брат пили прямо из Днепра ладонями, шапкой. А теперь, скажите, где та река, из которой можно напиться? Вот вам и компетентность, как будто мы слепые и глухие, без обоняния, без осязания. Так ведь даже с закрытыми глазами постоишь на берегу и все поймешь. Ни всплеска...

— А есть у вас конкретные предложения?

— Надо создать экологический манифест. Объявить воду святыней. Я давно заметил, что вода постарела. Это не поэтический образ, — бессмертное стало смертным... Нужны новые законы. Мы не учим детей в школах самому главному: Воздух — отец, Вода — мать, Земля — дом, Роса — национальное богатство…

— А совесть?

— Совесть мы научились оставлять дома. Человек прячет речку в трубу, а потом в задушевной беседе признается: да, жалко... Он все понимает, сострадает, — это совсем другой человек. Ну скажите, как соединить этих двух людей?! Мы раздвоились... Несколько лет назад на Березине было язевое побоище. Заметил один человек, вылавливая плывущие пустые бутылки, что вода на лугах забурлила. И великую тайну нереста продал за бутылку вина. И сбежались люди из поселка, и кололи вилами, и стреляли из ружей, и волокли мешки с рыбой домой. Из язей вываливалась в грязь икра. Они ее давили сапогами, икринки, прилипшие к сапогам, разлагались на солнце, и люди долго носили этот запах на подошвах и, принюхиваясь, говорили: «Что-то где-то гниет...» И оглядывались. Люди перестали думать о вечном.

— Что еще вас тревожит сегодня как поэта?

— Лес вырастает за 50—70 лет, а интеллигенция растет еще медленнее. Что-то зловещее слышится в обращении: «Женщина! Подойдите сюда». Из нашего языка выпали старинные выражения учтивости, оттенки обращений. Деловые бумаги изнуряет унылая канцелярщина — трудно вникнуть в смысл, дочитать. А ведь это вредит делу. Высокое мы произносим уже с иронией, как бы стыдясь, играя в XIX век. Мы спрямили отношения, упростили разговорный язык, лишили его достоинства. «Привет!» — «Привет!» — «Как дела?» И, не дослушав, убегаем. Особенно остро это чувствуешь, когда читаешь письма писателей XIX века. В наших школах не учат хорошему тону, благородное и высокое вызывает смех. Многие чувства в изъяснениях остались без слов, без имен, как бездомные собаки. А все бездомные собаки — трусливые и забитые.

В школе должны быть учитель поведения и соответствующий учебник. Как на запущенных огородах, там процветают амикошонство, чванливость, хихикает чернь, — та самая чернь, но уже не социальное сословие, а духовное. А потом мы объявляем войну серости, которую сами вырастили, поощряя с детства. Она умышленно занижает нравственный уровень, оправдывает себя в своих глазах. Опускаться легче, чем возвышаться, — и физически, и духовно.

— Вы сказали, что если бы у нас раньше была гласность, не было бы чернобыльской трагедии. Как вы ее представляете, гласность?

— Помните, в Михайловском мы с вами говорили о Пушкине? Он один из немногих поэтов на земле, в стихах которого соединились такие, казалось бы, разные понятия, как порядок и свобода. У других поэтов есть порядок, но нет тайной свободы, или есть свобода, но нет гармонии, «порядка». Гласность, если хотите, это испытание на благородство.

— Недавно в «ЛГ» была напечатана ваша «Грибная роса», как вы ее назвали, «нитка моих озябших радостей и печалей». Вот ваши слова: «...теперь, когда нет запретов на трагическое... мне захотелось написать о счастье». Хотя можно писать и о другом...

— Так вот, есть тайна: радость написать труднее, чем грусть. И в мировой поэзии на десять мрачных гениальных стихотворений едва ли найдется одно радостное. Кстати, читать мы любим трагическое, а себе и своим близким хотим счастья и радости. Такие мы...

— А когда вы сами бываете счастливым?

— Когда смотрю в костер или на бегущую воду. Я люблю прохладный речной песок и безлюдье. Люблю ночью слушать ветер и устраивать в ненастье ночлег, люблю запах торфяных болот, заросли скучной ольхи. И серое небо над заливными лугами, — когда пыль и солнце не злят людей... В детстве вода смотрела мне в глаза, и пронзала непонятная радость, как будто вышел из больницы и еще не привык к тому, что ты живешь, еще не пропала благодарность... И «Грибная роса» — об этом. Я давно заметил: людей в лес никто не гонит, — они сами встают до восхода и боятся опоздать к первому автобусу. Туман, сырость, моросящий дождь, а люди встают в темноте и бегут в лес, потому что там, в лесу, оживают их заснувшие, не пригодившиеся в жизни дарования. На работе он маленький серый чиновник, а в лесу — личность, он вдохновенно ищет и творит радость. Мы ведь разучились просто так радоваться, — тому, что живем, что птицы поют и облака летают.

— В каких стихах, на ваш взгляд, полнее проявилась ваша гражданская позиция?

— Сегодня страны хвалятся своими заводами. А завтра будут гордиться запасами свежести, росой, облаками.

— Мы говорили о лесах, о реках, о том, что за кругом литературных отношений и раздоров. Разве они вас не волнуют сегодня?

— Волнуют. Хочется «изронить золотое слово, со слезами смешанное», призывая к согласию наших князей поэзии и прозы. Вражда талантов вдохновляет серость, они враждуют, и серость — при деле.

— Вместо вопроса приведу цитату из записок Анны Ахматовой: «...я уверена, что еще и сейчас мы не до конца знаем, каким волшебным хором поэтов мы обладаем...»

— Несколько раз я читал оскорбительные статьи об Андрее Вознесенском. Авторы этих статей забыли все сделанное Вознесенским в нашей поэзии. Я помню, как в 19 лет стоял на днепровской круче, был холодный солнечный день, и на голой ветке, растрепанный ветром, кричал ослепительно синий, только что прилетевший грач. Вот так и на древе поэзии появился Андрей Вознесенский. Я держал в руках журнал «Знамя» с его стихотворением «Гойя», тогда я впервые прочитал Вознесенского. Так же потом меня ослепила поэма «Мастера». Он раз-

весил в воздухе ярчайшие метафоры, породил удивительный звук в поэзии, цвет, интонацию. Его стихи «Загляжусь ли на поезд с осенних откосов...» или «Отчего в наклонившихся ивах...» звучат как заклинания.

Меня радуют новые, неожиданные для многих стихи Николая Тряпкина. Групповые пристрастия никогда не были для меня больше, чем сама поэзия...

Вот так рассуждает, так чувствует, так живет и пишет Игорь Шкляревский. Большего, чем сама поэзия, для него, я уверен, вообще ничего нет. И если, как тогда, в ранней юности, спрошу: «Игорь, как дела?», ответит: «Хороши». На уточняющий вопрос: «А стихи?» — ответит снова: «Я и говорю о стихах…»

Жизнь подарила мне немало встреч с Игорем Ивановичем: в Могилеве, Минске, Москве. Во время одной из них он сказал: «Чем лучше будешь писать, тем меньше будет желающих тебе помогать…» Жестокая справедливость этих слов ему очевидна и по себе. Не знаю, стал ли я писать лучше, а вот помощников литературных действительно не стало. Главное, чтобы хотя не мешали...

Не потому ли вновь и вновь возвращаюсь мысленно в то бескорыстно светлое, изначальное для нас время? Иногда — стихами. Вот одно из них. Давнее.

* * *

Разудало лихи, хоть и бедно одеты,
колдуны и жрецы, лишь слегка подшофе, —
гонорар за стихи из районной газеты
пропивали юнцы в могилевском кафе.
Как смеялись они в предвкушении славы!
Как хотели весь мир стихотворством спасти!..
В люстрах гасли огни — тоже чем-то лукавы,
намекали, что пир завершился почти.
Нежно взгляды сошлись — неужели прощались? —
хоть и не насовсем, хоть и не насовсем.
Может, в дружбе клялись, может, плакать пытались...
Но об этом — зачем? Но об этом — зачем?
Их лирический пыл, по-весеннему резкий,
звал в иные края. Вряд ли знал Могилев,
что один из них был — ну конечно, Шкляревский,
а второй — это я, Изяслав Котляров.

С юбилеем, поэт непостижимой простоты!



Вадим САЛЕЕВ

Современный белорусский театр на фоне национального смотра

Фестиваль национальной драматургии занимает особое место в театральном процессе Беларуси. Этот смотр был задуман как катализатор для драматургического творчества, дефицит которого так явственно ощущался в последней четверти XX века. И само собой, для привлечения внимания широкой публики к процессам развития национальной культуры, ибо театр, как известно, является одним из ведущих оснований последней, а драматургия, в классической эстетической интерпретации — фундаментом, на котором, в свою очередь, строится сценическое пространство.

Этот смотр, по сравнению с другими театральными фестивалями, имеет непростую историю и нелегкую судьбу. Помнится, как в конце 90-х годов театральная общественность нашей страны горячо и заинтересованно обсуждала необходимость проведения Республиканского фестиваля национальной драматургии. Ибо на театральных смотрах, которые проводились на белорусской земле («Белая вежа» в Бресте, «Славянские театральные встречи» в Гомеле, мелькнувшие несколько раз «Панораме» в Минске), не слишком большое место отводилось творениям белорусских драматургов: как классиков, так и современников.

Правда, неожиданно «дело» белорусских драматургов (и, разумеется, белорусского театра в целом) получило 7 лет назад (сакральная, с древнегреческих времен, цифра) неожиданный новый импульс. Речь идет о возникновении, а затем о триумфальном шествии, в столице нашей республики Международного форума театрального искусства «Teart». Начинался он, помнится, довольно скромно — с появления в столице Беларуси театральной недели «Смотрим Шекспира». И задумывался оргкомитетом во главе с Анжеликой Крашевской (впоследствии эта же команда при мощной меценатской поддержке руководства Белгазпромбанка создала центр визуальных и исполнительских искусств «Art-Корпорейшн», благодаря которому в нашей столице ежегодно и проводятся наиболее крупные акции в сфере художественной культуры — «Teart» и Международный кинофестиваль «Лістапад» как знакомство минского зрителя с наиболее интересными явлениями современного сценического искусства.

Так оно и случилось. Минский зритель был бесконечно благодарен организаторам, поскольку где бы он еще мог познакомиться со спектаклями выдающегося литовского режиссера Эймунтаса Некрошюса «Отелло» (театр «Мена Фортас», показан в 2008 году) и многими другими значимыми постановками высокого художественного уровня — такими, как спектакль в постановке Санкт-Петербургского театра на Васильевском «Даниэль Штайн, переводчик» (режиссер А. Бубен) по роману Людмилы Улицкой и «У нас все хорошо» театра «ТР-Варшава» (режиссер Г. Яжына) в 2011 году, «Мертвые души» по Н. В. Гоголю Латвийского национального театра (режиссер К. Серебряников), «На дне» Вильнюсского городского театра (режиссер А. Коршунова), «Долгая жизнь» Нового Рижского театра (режиссер А. Херманис) — в 2012 году. Большой резонанс вызвали и постановки мастера эпатажа Константина Богомолова. Сначала это был «Король Лир», вовсе



не напоминающий творение великого Шекспира, ибо по воле режиссера все мужские роли в спектакле исполняли женщины, а женские — мужчины. Кроме того, волей того же К. Богомолова были приписаны сцены из Второй мировой войны — ставки Гитлера и Сталина.

Не менее спорным, но вызвавшим широкий зрительский интерес, оказался и спектакль Лиепайского театра «Ставангер», поставленный тем же К. Богомоловым.

Впрочем, каждый год функционирования «Театра» приносил минским театралам хоть один, но выдающийся спектакль. Вот и прошедшим сентябрем в качестве «гвоздя сезона» перед минским зрителем предстал спектакль Театра наций (Москва) «Иванов» А. П. Чехова в постановке режиссера Тимофея Кулябина и с целой россыпью блестящих актерских работ — Евгения Миронова (Иванов), Чулпан Хаматовой (Сарра), Елизаветы Боярской (Саша), Виктора Вержбицкого (Шабельский) и интересным актерским ансамблем.

Все это так, но много лет оставался открытым вопрос об участии в этом празднике театра постановок по пьесам белорусских драматургов.

Лед тронулся в 2012 году. Именно 5 лет тому назад в программу «Tearta» в качестве эксперимента был включен спектакль по пьесе выдающегося белорусского писателя Вл. Короткевича «Ладдзя роспачы». К сожалению, первый блин оказался комом. Режиссер Игорь Петров не справился с материалом повышенной сложности, не смог качественно перевести поэтический (и одновременно — философский) материал на язык театра. И хотя отдельные актерские работы в нем заслуживали позитивной оценки (А. Подобед, И. Трус, С. Чуб), в целом он не удался. Однако на следующий год в программу «Театра 2013» был включен уже блок из пяти белорусских премьерных спектаклей. Из них особенным успехом у зрителей пользовался спектакль «Тихий шепот уходящих шагов» по пьесе Д. Богославского, поставленный на сцене Республиканского театра белорусской драматургии режиссером Ш. Дишканбаевым. И хотя к режиссуре спектакля были определенные претензии, но сама интонация спектакля — тихая, пронзительная, по-настоящему белорусская, как и интересные работы артистов И. Брагинца, К. Воронова, Л. Сидаркевич, заслуженного артиста РБ В. Соловьева, обеспечили спектаклю успех у зрителей.

Особая ситуация, помнится, сложилась вокруг постановки «Грустный хоккеист» по пьесе П. Пряжко, специально написанной для «Tearta».

Создателем постановки был Д. Волкострелов, известный российский режиссер, спектакли которого по пьесам П. Пряжко дважды номинировались на Национальную театральную премию России «Золотая маска». На родине же спектакли белорусского драматурга не пользовались успехом и, за исключением постановки в Могилевском областном театре, ставились практически в лабораторных условиях. Оценки же этого спектакля были диаметрально противоположны (молодежь приняла постановку восторженно, старшее поколение довольно сдержанно); и все же следует признать, что в целом эксперимент можно считать удачным.

Белорусская программа «Tearta» все расширялась. Так, «изюминкой» ее в 2015 году, на мой взгляд, явились три экспериментальные работы с разными ступенями, но со значительными компонентами художественности. Важно, что

все они были интересными с точки зрения перспективы развития отечественного театра.

Это «Иллюзии» — спектакль Центра экспериментальной режиссуры Белорусской Академии искусств. В пьесе И. Воропаева тонкие наблюдения о любви и сущности жизни, режиссура и сценография Т. Троянович в своем минимализме очень точна, молодые исполнители, недавние выпускники Академии искусств, очень искренни и достоверны, особенно это касается М. Денисовой (впоследствии лауреата Национальной театральной премии) и С. Савостина.

Второе интересное явление — спектакль «Мабыць» Республиканского театра белорусской драматургии (драматург Д. Богославский при участии исполнителей постановки, режиссер А. Марченко) затрагивал многие острые вопросы современной белорусской жизни: проблемы национального самосознания, функционирования белорусского языка, отношения между поколениями. Несмотря на то, что спектакль оказался неровным по режиссуре и исполнению, он привлекал своим полемическим запалом…

И наконец, едва ли не высшее театральное достижение «Tearta 2015», сопоставимое (без всяких скидок) с лучшими зарубежными постановками, представленными на форуме. Речь идет о спектакле Евгения Корняга «Интервью с ведьмами». Театр Е. Корняга представляет собой оригинальное зрелище; здесь и пластика, и элементы театрального представления, так же как и театра переживания, особенная музыкальная ритмика. Все это проявилось в новом спектакле Е. Корняга, усилившись теми ужасающими историями, о которых повествуют со сцены героини, историями, полными кровавых подробностей… Сценарий представления не всегда отличается целостностью, но сам спектакль, благодаря единству режиссерской концепции и органичному «встраиванию» в нее исполнительниц ролей трех ведьм — Г. Гаспадарчик, Н. Кот-Кузьмой и С. Тимохиной… Это, и в самом деле, в 2015 году смотрелось как редкое, подлинно театральное событие на белорусской сцене.

В 2016 году «Teart», казалось, сменил концепцию. Теперь акцент был сделан на выступление профессионального театра. Наилучшими постановками можно было считать два спектакля Могилевского областного театра («Крейцерова соната» по Л. Н. Толстому (реж. С. Варнас) и «Время секонд-хенд» В. Петрович, а также спектакль Белорусского государственного молодежного театра по пьесе Н. Ворожбит (режиссер Д. Богославский) каждый из означенных спектаклей обладал определенными положительными характеристиками: первый блеснул, как всегда, у С. Варнаса, фундаментальной режиссерской проработкой до малейшей детали, спектакль по повести лауреата Нобелевской премии притягивал искренностью и теплой человеческой интонацией. Спектакль Молодежного театра привлекал крайне современной темой: война и простое человеческое бытие в XXI веке.

Однако к лучшим достижениям «Tearta 2016» эти спектакли вряд ли могут быть причислены. Как и предполагаемый в качестве одного из лауреатов феста спектакль Брестского Академического театра драмы «Дзяды» по гениальному творению Адама Мицкевича, поставленный польским режиссером Павлом Пассини. Спектакль имел яркую внешнюю окраску. В первой своей части он был перегружен мистическими символами — здесь и черепа, и разные звуки, а потом и тело покойника, и балерина с веревкой.

Все поддерживалось единым ритмом и выглядело довольно живописно. К тому же, в этой, первой части спектакля притягивал внимание исполнитель ролей Адама и Густава В. Цецковский; временами интересную игру демонстрировали С. Петкевич (сенатор) и Д. Сороко (ксендз Петр, Дух), и особенно заслуженная артистка Республики Беларусь Т. Левчук (пани Ралисон). Но чем дольше, тем действие становилось все более монотонным, монологи все более протяженными, не спасал и видеоряд. И главное, переход от пилигрима Густава

до патриота Конрада, по большому художественному счету, так и не состоялся. И весь спектакль, интересный по форме, по содержанию, и близко не отвечал замыслам великого славянского поэта…

Система же представления белорусских спектаклей в «Teart'е 17» мне показалась весьма эклектичной. Драматические спектакли минских театров Республиканского театра Белорусской драматургии («Это все она») и Государственного молодежного театра («Дети Ванюшина»), а также Академического театра им. Я. Коласа (Витебск) — «Тень мысли нашей» показались ниже уже заданной художественной планки. Правда, были два спектакля экспериментального образца. «Антигона», специально подготовленная центром визуальных и исполнительских искусств «Арт-Корпорейшн» (режиссер А. Марченко), сочетала в себе элементы античной трагедии и современной документальной драмы, но художественный результат оказался значительно ниже ожидаемого.

Постановка «Лондон» по пьесе Максима Досько была осуществлена режиссером (она же художник-оформитель) Еленой Силутиной вкупе с молодыми бобруйскими актерами Могилевского областного театра драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича при поддержке Центра экспериментальной режиссуры Белорусской государственной академии искусств. Спектакль о визите простого белорусского парня в британскую столицу оказался свежим, интересным по неожиданному восприятию мира. Но, конечно, о высоком качестве искусства говорить не приходится…

Однако художественное «реноме» Беларуси было, как обычно, в последнее время поддержано белорусскими театрами кукол. Было представлено три спектакля: Гродненский областной театр (почти абсолютный победитель 2-й Национальной театральной премии) представил чеховскую «Чайку», как всегда в оригинальной постановке своего главного режиссера Олега Жюгжды; Могилевский областной театр кукол, тонкий и сложный спектакль по рассказу Вл. Короткевича «Синяя-синяя» в постановке Игоря Казакова (о нем подробнее порассуждаем ниже).

И, наконец, о спектакле «Пансион Belvedere», представленном Белорусским государственным театром кукол, который и стал, на мой взгляд, художественным открытием феста. Это совместная белорусско-итальянская постановка, осуществленная режиссером М. Спьяцци (он одновременно является и автором сценария пьесы о пожилых людях, доживающих свой век в пансионе для престарелых).

В спектакле множество комических и трагических ситуаций, в которые то и дело попадают герои. Но когда смотришь все это на сцене, невольно думаешь о сущности человеческого бытия, о многообразии проявления человеческого начала в жизни, о недолговечности этой самой человеческой жизни, о необходимости человеческого участия и поддержки. Эти размышления и свидетельствуют о том, что перед нами на сцене — подлинное искусство. Характерная деталь — Маттео Спьяцци, блестяще владеющий приемами театра дела'arte, и здесь использовал маски. Но это нововведение не кажется искусственным приемом: напротив, маски как бы оттеняют ситуации, наполняют мизансцены особым флером, усиливают мысль и чувства зрителя при восприятии спектакля.

…И вот теперь, после обзора современного белорусского сценического искусства, пропущенного через «сито» самого значимого в нашей стране Международного форума театрального искусства, каким является «Teart», возвращаемся к другому смотру — Республиканскому фестивалю национальной драматургии им. Дунина-Марцинкевича, проведенному в Бобруйске в ноябре 2017 года.

Мы говорили об истории «Teart'а», можно кратко очертить и историю Республиканского фестиваля национальной драматургии. Она отличается крайней неровностью. Практически исходной точкой может быть отмечен 2001 год, когда состоялся второй обзор национальной драмы. Следующий состоялся только в

2008 году, четвертый по счету в 2011, пятый четыре года спустя — в октябре 2015 года. И вот, наконец, последний — VI форум, во второй половине 2017 года.

Вот эта неровность, неритмичность, конечно же, не способствует прогрессу белорусского театрального дела.

О том, что за этими, порой даже кощунственными перерывами (вспомнить — перед третьим смотром было 7(!) лет, перед пятым — 4 года) стоят серьезные, прежде всего, экономические причины, говорить не приходится. Как ясно и то, что серьезный фестиваль не может терять в периодичности. Он как минимум должен проводиться раз в два года. Ибо вырабатывается определенная ритмика, которая так важна в проведении и подготовке таких тонких творческих акций, каким является театральный форум.

Что проведение фестивалей, начиная от организации мест представлений и кончая работой со зрителем, включая рекламу, должно быть систематическим и планомерным (порой сверхтяжкой!), никто не сомневается.

Но и подготовка к ним — тоже. К сожалению, уже на пресс-конференции, посвященной открытию VI форума национальной драматургии и театра, почти все выступающие отмечали, что, как и на предыдущем смотре, драматические академические театры Беларуси игнорируют смотр. Два года тому назад, помнится, Театр им. М. Горького предпочел национальному форуму поездку в Тбилиси. На этот раз он был представлен пьесой В. Дранько-Майсюка «Песняр» в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь В. Ереньковой, уже увенчанной призом Национальной театральной премии.

Тем не менее, отсутствие ведущих театров становится ощутимой тенденцией при проведении форума в Бобруйске.

Однако жизнь диалектична. Она, как известно, не терпит пустоты. И отсутствие ведущих коллективов страны заполняется, с одной стороны, присутствием театров кукол, которые существенно поднимают художественный уровень любого театрального фестиваля, который проводится на белорусской земле. С другой стороны, в афише фестиваля национальной драматургии часто значатся спектакли провинциальных театров, которые никогда не попадают на финальные смотры Национальной премии; таким образом, панорама белорусского театрального процесса как бы расширяется, обнажая, кроме всего прочего, и то, что происходит в глубине. И, наконец, на Бобруйском форуме едва ли не с самого начала утвердилась так называемая экспериментальная часть. Это естественно, поскольку фестиваль задумывался как площадка, на которой, прежде всего, показываются и затем растут молодые белорусские драматурги.

Ведь еще в конце XX века люди, имеющие отношение к белорусскому театру, постоянно жаловались, что ему катастрофически недостает: а) современной драматургии достаточно высокого качества; б) современной режиссуры.

Именно Бобруйский форум можно считать первооткрывателем, той стартовой площадкой, с которой стартовали многие белорусские драматурги новой волны. И в самом деле, самые известные молодые белорусские драматурги приобрели свое имя и устойчивую репутацию — Андрей Курейчик, Павел Пряжко, Николай Рудковский, Константин Стешик, Диана Балыко — именно пройдя через творческую лабораторию бобруйского смотра (впрочем, славу первооткрывателя новых имен в белорусской драме могут разделить с бобруйчанами могилевчане — там во время международного театрального фестиваля «Март-контакт» также работает экспериментальная лаборатория, где проводятся читки пьес молодых белорусских драматургов).

Вспоминается эпизод, который я уже как-то упоминал. В 2001 году автор этих строк, будучи «визитирующим» профессором Литвы (преподавал белорусскую культуру и эстетику на славянском факультете Вильнюсского désинститута) получил приглашение на II Республиканский фестиваль национальной драма-

тургии. Первым в Бобруйске мне встретился невысокий рыжеволосый юноша. На мой вопрос: «Кто Вы?» — серьезно ответил: «Я — драматург. Моя фамилия — Курейчик…»

Автор этих строк не удержался от того, чтобы не «подколоть» начинающего драматурга: «Шекспира — знаю, Чехова — знаю, Крапиву — знаю, Курейчика — нет. На что юноша совершенно спокойно отреагировал: «Ничего. Еще узнаете…»

И вправду, ныне имя этого белорусского драматурга известно не только на родине (его пьесы ставились на сценах всех отечественных академических театров, а с недавних пор кинопроекты А. Курейчика выдвинули его в ряды создателей национального кино XXI века), в России он был поставлен даже во МХАТе и вошел в обойму самых перспективных киносценаристов (автор сценариев уже полудесятка очень популярных фильмов, среди которых по художественным критериям автор этих строк выделяет ремейк «Служебного романа» и спортивную драму «Движение вверх»), был в качестве сценариста приглашен в Голливуд.

…А все начиналось в Бобруйске, на родине В. И. Дунина-Марцинкевича.

…Вот и ныне здесь впервые прозвучали имена Юлии Чернявской, Василия Дранько-Майсюка, Виктора Мартиновича… Доброго, как говорится, им пути по выбранной ими же куда как тернистой дороге!

…И на этом, 6-м по счету форуме эксперименту нашлось место: более того, он стал одним из наиболее значимых факторов фестиваля. Это доказывается, в частности, и тем, что на фестивале было избрано специальное жюри по разделу «Эксперимент». Его возглавил Александр Марченко, актер и режиссер Республиканского театра белорусской драматургии, в котором он уже много лет руководит аналогичной творческой лабораторией, и Анжела Крашевская, менеджер экстра-класса, руководитель Центра визуальных и исполнительских искусств «Арт-Корпорейшн». И в этой экспериментальной части форума была проделана непростая работа: сценические читки пьес Александра Бугрова, Виталия Королева, Максима Досько, Карины Рыбак. Кстати, последняя предстала перед бобруйскими зрителями не только как драматург (точнее — сценарист сценического произведения), но и как режиссер-создатель небезынтересного проектного спектакля «Музыка улиц». Это сценическое исследование о музыке в переходах, об уличных музыкантах, сделанное с использованием эстетики современного белорусского театра, подкупило искренностью исполнения (трое юношей и девушка, исполнители — студенты Академии искусств) и энергетикой молодости.

Справедливости ради следует заметить, что не все читки продемонстрированные лабораторией при РТБД и организованные центром режиссуры Академии искусств, были благоприятно встречены бобруйскими зрителями. Даже у некоторых бобруйских режиссеров и актеров отдельные сцены в показах, особенно те, которые по новой моде в белорусской драматургии отмечались обилием «нефольклорной» лексики, — вызывали резкое отторжение. Но напряжение, признанное современными ритмами, идущими со сцены, не могло не вызвать интереса и позволяет надеяться, что юные новаторы в будущем сумеют сказать свое слово в развитии белорусского сценического искусства.

И еще одна новация привлекла внимание на VI форуме национальной драматургии. Речь идет об организации ряда лекций во время проведения смотра. Акция сама по себе позитивная, идея плодотворная, ибо современное развитие театра постоянно нуждается в осмыслении. Но реализована она была не лучшим образом.

Но каковы основные результаты форума?

С точки зрения драматургии, он в очередной раз оправдал себя. В нем была представлена и классическая драматургия — особенно повезло В. Короткевичу: его творения были представлены двумя ведущими кукольными театрами страны — и в конечном счете одна из них завоевала Гран-при.

К этому же классу следует причислить и спектакли по пьесам и инсценировкам А. Делендика, С. Ковалева (тоже два театра представили свои постановки на конкурс) и С. Алексиевич (все же звание Нобелевского лауреата обязывает обозначить и инсценировку по ее повести «У войны не женское лицо» как принадлежащее к классической когорте, тем более что ее представили гости фестиваля — Словацкий камерный театр).



На форуме уже закрепили свою репутацию молодые, но уже известные белорусские драматурги — Дмитрий Богославский, Николай Рудковский, Юлия Чернявская, вошедший в эту когорту своим «Песняром» Василий Дранько-Майсюк.

И особой «изюминкой» феста можно считать представление премьеры, пьесы Виктора Мартиновича «Карьера доктора Рауса». Известный в литературных кругах молодой писатель впервые выступил в роли драматурга-победителя Республиканского конкурса, который проводился в честь 500-летия белорусского книгопечатания. И его «Доктор Раус» по праву может считаться вкладом в Скориниану.

А читки новых пьес молодых авторов Александра Бугрова, Виталия Королева, Максима Досько, Карины Рыбак утвердили в мысли, что «победное шествие» новой белорусской драматургии, так явно обозначившееся с начала нового XXI столетия, продолжается и имеет ясную перспективу…

Ну, а что же было показано на сцене? Считать ли форум только «прибежищем» драматургов, или и в плане сценического искусства мы можем говорить о прогрессе? Вопрос поставлен слишком остро. Уже упоминалось, что академические театры (кроме одного) игнорировали смотр. С другой стороны, с осторожным оптимизмом можно отметить два позитивных пункта, на которых и может строиться этот сдержанный оптимизм.

Во-первых — это устойчивое уже лидерство кукольных театров в стране. Феномен этот до конца еще не разгадан. Хотя предположения, конечно же, имеются. Это, прежде всего, ощутимо видимое стремление «кукольников» к экспериментам, не на словах, а на деле. И в качестве едва ли не ведущей приметы этого стремления — введение в «тело» спектакля «живых актеров». Этот прием оказывается, по большей части, тем более оправданным, что основывается на глубинных белорусских театральных традициях: на театральной эстетике батлейки, которая пришла к нам из Средневековья. Наконец, новаторство кукольных театров зиждется на остроте режиссерской мысли. В этом плане режиссеры драматического театра существенно уступают кукольным, и имена А. Лелявского, И. Казакова, О. Жюгжды могут служить едва ли не каноническим образцом.

Вот и здесь, в Бобруйске, наилучшим (правда, в конкурсной программе «Эксперимент») был признан спектакль Могилевского областного театра кукол «Синяя-синяя», поставленный режиссером Игорем Казаковым по рассказу В. Короткевича. В этом творении классика белорусской литературы вроде ничего нет особенного: Сахара, маленькая арабская девочка и бывший белорусский повстанец, который и рассказывает малышке о своей далекой Родине — синеокой Беларуси. И страшный враг несчастных, оказавшихся в пустыне, — песок… Не знаю, как у других, — у меня это вызывает ассоциацию с другим рассказом — Эрнеста Хемингуэя «Старик и море», за который великий американец по праву

получил Нобелевскую премию. Там тоже, кажется, нет ничего: старый человек, море — и нет даже результата, ибо пойманную стариком рыбу съели акулы… Но есть величие несломленного человеческого духа, которым и живится настоящее, высокое искусство.

Так и здесь — двое таких разных людей, затерянных в бескрайних песках…

И высокий гуманизм, пронзительное чувство любви к Родине.

Словом, это и в самом деле было высокое искусство…

Точная режиссура И. Казакова, поддержанная изумительной по своему минимализму и метафоричности сценографией Татьяны Нерсисян. И в номинации «Лучшая мужская роль» победа досталась актеру этого же спектакля Николаю Стешицу.

Все эти награды, конечно, заслуженны. Как и приз за «Лучшую режиссуру», полученный Алексеем Лелявским за постановку спектакля «Ладдзя роспачы» Белорусского государственного театра кукол (сам спектакль, будучи «неудобно» представленным на «чуждой» сцене в Бобруйске, не выказал своей обычной мощи). Но у меня есть основание обвинять жюри «Эксперимента» в недостаточном профессионализме. Потому что, на мой взгляд, — критика с полустолетним(!) стажем, в конкурсе участвовал спектакль, который по своим параметрам был еще выше означенных сценических творений.

Я имею в виду спектакль Гродненского областного театра кукол «Комедия Юдифи». Пьесу по мотивам «Книги Юдифи» в переводе Франциска Скорины написал Сергей Ковалев.

Профессор Люблинского университета, доктор филологических наук С. Ковалев знаменит в белорусской драматургии тем, что он «реконструирует» мифологические сюжеты и классические тексты, представляя их в современной (и порой неожиданной) форме. В 2017 году — году 500-летия белорусского книгопечатания, его новая интерпретация наследия великого полочанина выглядела как никогда актуально. Юдифь, символ героизма, проникшая в стан врагов, соблазнившая и умертвившая их полководца Алаферна, — в пьесе предстает перед нами женщиной, которая бесконечно мечется между любовью и долгом; поскольку этот самый Алаферн и был единственным объектом ее любви. Сценическое воплощение этой стародавней истории показалось мне чудесным близким к эталону совершенства. На сцене постоянно кипит действие: здесь появляются куклы, различные предметы, говорящие головы, гарпии, танцевальная пара — все это дополняется талантливо и со вкусом, подобранным режиссером О. Жюгждой видеорядом. И все же в центре этого тонкого и экспрессивного спектакля, которому так подходит музыка Вивальди, — актеры Лариса Микулич (Юдифь) и Александр Шелкоплясов (Алаферн). Особенно поражает героиня по большей части — и по велению режиссера — она сидит в кресле, лишена движения на сцене. Но как глубок и разнообразен ее голос, как выразительны руки… И закономерно, что в номинации «Лучшая женская роль» награду получила Лариса Микулич, но повторюсь, совсем непонятно, как не получил награды весь великолепный спектакль «Комедия Юдифи», являющий собой редкое сочетание драматургической глубины и виртуозной современной концептуальной режиссуры.

Но теперь вернемся ко второму пункту, позволяющему нам испытывать осторожный оптимизм в отношении движения вперед современной белорусской сцены. Дело в том, что смотр утвердил во мнении: и в драматическом театре поколение режиссуры поднялось на следующий (не под влиянием ли режиссуры кукольных театров?), более высокий уровень. Примечательно, что это в основном режиссеры среднего поколения.

Начать с «Песняра», представленного на форуме Национальным академическим драматическим театром им. М. Горького. Будем откровенны, пьеса В. Дранько-Майсюка, посвященная выдающемуся музыканту, вклад которого

в культуру Беларуси поистине неоценим, — Владимиру Мулявину, содержит много изъянов.

Но музыкальную концепцию мюзикла, принадлежащую Алексею Еренькову, в том числе оригинальное исполнение актерами театра знаменитых песен ансамбля «Песняры» (аранжировка з. а. РБ Владимира Ткаченко), — можно считать «ноу-хау» на отечественной драматической сцене. Но главная заслуга в состоятельности спектакля (он получил приз и на Национальной премии), несомненно, принадлежит режиссеру-постановщику — заслуженному деятелю искусств РБ Валентине Ереньковой. Это она сумела объединить в единое целое разрозненные и различные актерские работы (сделанные, впрочем, вполне профессионально; недаром и здесь, в Бобруйске, Сергей Жбанков получил приз в номинации «Лучшая мужская роль» за роль «Песняра») в единый цельный спектакль.

Крепкой режиссерской работой можно назвать и постановку Венедикта Расстриженкова в Минском областном драматическом театре (г. Молодечно) лирической драмы Анатолия Делендика «Корона из любви», посвященной отношениям автора знаменитой «Павлинки» и первой исполнительницы этой роли — Павлины Меделки. К сожалению, на смотре спектакль выглядел непрезентабельно, и этому было много причин, главные из которых: замена исполнителей главных ролей, и что особенно важно, — показ спектакля на совершенно неприспособленной для него сцене (это, между прочим, проблема многих издержек, касающихся не только этого конкретного фестиваля). Но концептуальная рука режиссера была видна и в этом, не слишком удачном показе.

И особенно радостно то, что сильное и оригинальное режиссерское присутствие ощущалось и в спектакле Республиканского театра белорусской драматургии «Синдром Медеи». Конечно, пьеса Юлии Чернявской далеко несовершенна: трагическая история о преступившей все нормы женского и человеческого Медее, умертвившей своих детей, рассказанная великим Еврипидом, требовала очень тонкой и точной проекции на современную жизнь. На мой взгляд, у автора этого не получилось: в результате морального оправдания Медеи в спектакле нет.

Однако, несмотря на эту основополагающую слабость, спектакль получился и зрелищным, и интересным. И основная заслуга в этом режиссуры и активно поддерживающей ее сценографии Елены Груши, лауреата Национальной театральной премии. Особенно стоит остановиться на режиссуре. Здесь мы видим синтез — взаимную работу молодого, но уже известного режиссера драмы Екатерины Аверковой и не менее известного «пластического» режиссера, создателя авторского театра Евгения Корняга.

Этот спектакль полон тонкой музыки (удивительно, что ее автором является та же Е. Аверкова), выразительной пластики, впечатляющих массовых сцен и прекрасного исполнения роли главной героини Медеи (за эту работу актриса Людмила Сидоркевич была отмечена как победительница в номинации «Лучшая женская роль»).

Анализ трех последних спектаклей подтверждает наметившуюся после середины 10-х годов XXI века тенденцию: укрепление белорусской режиссуры. Об этом театральная общественность Беларуси мечтала в течение последней четверти века. Мы с завистью постоянно оглядывались на соседей: как же так, в Литве режиссура европейского класса, а мы при превосходстве нашей актерской школы, в этом, важнейшем для развития театра компоненте так отстаем!

Теперь, кажется, это завистливое состояние исчезает. И лучшим подтверждением этому является спектакль «Точки на временной оси» Могилевского областного театра имени В. Дунина-Марцинкевича. Этот спектакль признан лучшим спектаклем фестиваля Национальной драматургии. Заметим, впервые первый приз значительного театрального форума достался региональному театру. В качестве лауреатов названы режиссер-постановщик Татьяна Троянович, сценограф

Валентина Правдина; в номинации «Лучший актер второго плана» главный приз получил актер Александр Парфенович.

Довольно сложная по содержанию пьеса Дмитрия Богославского, где действие происходит в разное время и в различных странах, ее очень непросто было воплотить на сцене. Режиссер не только «подтянула» до достаточно высокого художественного уровня неровный состав исполнителей (вспомним, что спектакль ставился в «региональном» театре и в очень ограниченное время), сцементировала в единое концептуальные элементы спектакля, обеспечила четкий темпоритм различающихся и по смыслу, и по направленности различных эпизодов спектакля.

И еще одна важная черта в заключение. Фестиваль открылся спектаклем того же Республиканского театра белорусской драматургии «Карьера доктора Рауса». «Исторически неточная трагикомедия» — так обозначен жанр пьесы молодого белорусского писателя Виктора Мартиновича, пьесы занявшей 1-е место в конкурсе, посвященном 500-летию белорусского книгопечатания. Новаторскую пьесу поставил заслуженный деятель искусств РБ, лауреат Национальной театральной премии А. Ф. Гарцуев. И хотя спектакль показался на форуме не самым лучшим образом (как и другие, «не вписался» в пространство бобруйской сцены) и вызвал ряд возражений со стороны когорты театральных критиков, он обладает определенной художественной ценностью, как в своей режиссерской «части», так и исполнительской «сфере».

Но мне он показался знаменательным в том смысле, что содержит в себе искания молодых творцов нашего театра в сочетании с опытом уже зрелых отечественных мастеров его.

И это тоже резерв, который необходимо использовать для совершенствования театрального процесса в стране. А кроме того, нельзя исключать и энтузиазм людей, которые не перестают любить театр и в наше непростое (особенно в экономическом плане!) время.

Я отношу к ним и председателя Могилевского облисполкома В. В. Доманевского, и председателя Бобруйского горисполкома А. В. Студнева, и всю фестивальную команду Театра им. В. И. Дунина-Марцинкевича во главе с его директором В. А. Винель, самоотверженными усилиями которых и был проведен Республиканский фестиваль Национальной драматургии.

И конечно же, зрителей, ибо великий К. С. Станиславский, реформатор мирового театра, считал зрителя четвертым — наряду с драматургом, режиссером, актером — создателем спектакля.

Именно зрители, которые активно участвовали в проведении наиболее значимых в 2017 году белорусских театральных форумов «Теарта» и фестиваля национальной драматургии, — были соавторами их успеха.

И именно поведение зрителя, которого уже не удовлетворяют шоу с «обнаженкой», доминировавшие в 90-х годах, или бесконечные детективы-лидеры 2000-х, и который тянется к тому синтезу мысли и чувства, которые дает подлинный театр, и есть еще одно свидетельство в пользу того осторожного оптимизма, с которым в преддверии 20-х годов XXI века мы смотрим на развитие отечественного театра.

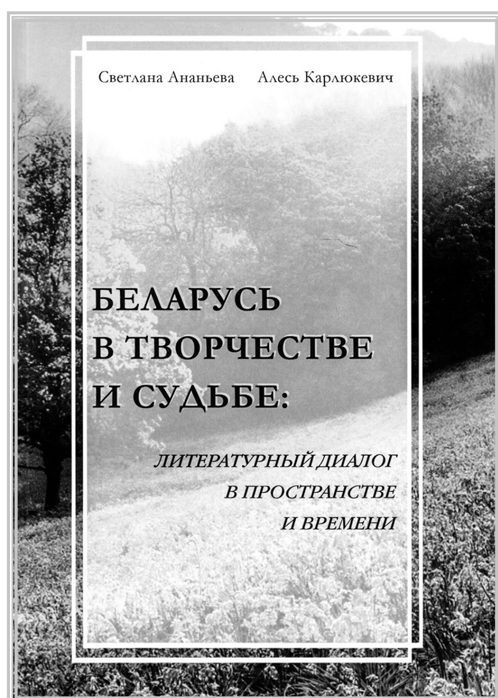
Ибо в этом древнем и вечно живом искусстве и ныне бесконечно нуждается человек.

Поскольку, перефразируя Эдуардо де Филиппо, выдающегося деятеля театра XX века, можно сказать, что театр — это попытка человека обрести смысл жизни…



С точки зрения рецензента

Литературный диалог



В 2012 году состоялся V международный форум культурологов Казахстана и Беларуси «Мировые религии и общечеловеческие ценности». Этому событию и посвящена небольшая книга С. Ананьевой и А. Карлюкевича «Беларусь в творчестве и судьбе: литературный диалог в пространстве и времени» (Минск: Звязда, 2018).

Затруднительно назвать все темы, которых касались участники форума. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Беларуси Е. Булегенов познакомил гостей с инициативами президента Назарбаева по упрочению в стране политики межнационального согласия и толерантности. Начальник управления двусторонних отношений со странами СНГ МИД Беларуси Н. Демчук — о стратегическом характере сотрудничества между Беларусью и Казахстаном. Но в рамках форума состоялся еще и «круглый стол» «Роль и значение инициатив Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко и Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева по проведению съезда лидеров мировых и традиционных религий». Крылатыми стали слова Назарбаева, произнесенные в этой связи на форуме: «Казахстан, словно птица, опирается на два крыла, — традиционный ислам и православие». Обсуждался целый комплекс актуальных проблем: статус классических ценностей в современном мире; аксиологические системы мировых религий; проблемы межконфессионального диалога; мировые религии и глобальные проблемы современности... Участники форума поддержали общую точку зрения: идеал глобальной цивилизации — планетарное единство.

Но отношения между нашими странами связывает не только общее понимание проблем политики и идеологии, есть ряд личностей, которые дороги людям обеих стран. К примеру, тесно связана с Беларусью судьба писателя А. Шарипова, государственные должности и звания которого трудно перечислить в статье общекультурного характера. В феврале 1940 года он был призван в Красную Армию, служил в Белостокской области Беларуси и 22 июня принял первый бой. Позже он организовал партизанский отряд в лесах Рославльского района Смоленщины, участвовал во многих боях, а в 1943 году его отряд воссоединился с Красной Армией. 27 месяцев он провел в белорусских лесах, среди партизан и жителей деревень.

Теплое отношение к белорусскому народу сохранилось в его сердце на всю

жизнь. Военные годы ожили в повестях А. Шарипова «Дочь партизана», «История одного полушубка», «Возмездие», «Звезды в темнице». Главное достоинство его произведений — достоверность и литературное своеобразие. По сценариям писателя была снята кинокартина «Лесная баллада», получившая высокие награды на кинофестивалях Алматы и Ташкента. Воспитание гуманизма — вот цель, которой должна служить литература, — так считал Ади Шарипов.

Полностью автобиографична повесть «История одного полушубка». В декабре 1941 года будущего писателя тяжело ранило в грудь, и партизаны укрыли его в доме лесника Романа Анодина. Ранение оказалось множественным, осколочным, и врач удалял осколки без наркоза — единственным обезболивающим средством был самогон. Шинель оказалась пропитана кровью, и дочь лесника подарила молодому бойцу свой полушубок, который служил ему до конца войны, а после победы хранился в музее Алматы. Повесть Ади Шарипова вышла с посвящением Евдокии Анодиной.

Казахстан и Беларусь навсегда связаны в судьбе Ади Шарипова. Поздравляя белорусский народ с 60-летием образования республики, он писал: «Мне как белорусскому партизану и казахскому писателю очень приятно поздравить белорусский народ с 60-летием образования Белорусской ССР». В этом поздравлении он вспоминает о встречах с великими поэтами Петрусем Бровкой, Максимом Танком и другими деятелями культуры. Но военная память — особая. «Низкий поклон тебе, земля белорусов, от нас — партизан из Казахстана! Ты берегла и согревала нас на своей груди в трудные партизанские годы. Когда берусь за перо, твой образ, Беларусь, встает передо мной. Твои защитники, партизаны, всегда в моем сердце, когда пишу о партизанской войне».

Главному герою повести «Память», когда он получил письмо от товарищей из Беларуси, показалось, что снова слышит свист бомб, щелканье пуль, гул сосен, ощущает боль обмороженного лица от секущей январской поземки… Спустя сорок лет герой повести снова в Могилеве, а по пути в Костюковичи, где ему довелось воевать, автору кажется, что он узнает окрестности. «Никогда не думал, — пишет автор, — что на склоне лет, спустя годы после жестоких изнурительных боев, я испытаю это непередаваемое чувство: будто здесь, в этих местах, я родился и вырос, и вот снова вернулся сюда».

Ассоциативные связи концепта *Родина* и концепта *жизнь* постоянно присутствуют в творчестве казахского писателя. В белорусских лесах он «обрел вторую жизнь и вырос как солдат… Грустно, но и радостно оказаться вдруг на земле своей далекой молодости, там, где остался огромный кусок твоей судьбы».

Редкое сочетание поэтического дара с научно-исследовательским выдвинуло в ряды виднейших ученых XX века поэта-фронтовика Сагингали Сеитова. Талантливый повествователь, тонкий лирик, в поэзии которого гражданственность сочетается с преклонением перед красотой бытия, литературный критик, активно участвующий в литературном процессе, переводчик мировой классики на казахский язык… Таким он остался в памяти тех, кто имел счастье быть знакомым с этим удивительным человеком.

С. Сеитов родился в 1917 году в селе Курайлисай Акжанского района и гордился тем, что был ровесником Октября. 19-летним учеником рабфака он опубликовал в уральской областной газете стихотворение, посвященное Сакену Сейфуллину. В 1937 году выступил в актовом зале Уральского педагогического института с поэмой «Ергожа и Егизбай». Стихотворения поэта становятся известными и в Средней Азии, и в России. Но война перечеркнула его творческие планы.

С первых дней Великой Отечественной войны и до 1947 года С. Сеитов служил в рядах Советской Армии сперва в подразделениях гвардейских минометчиков, затем работал в газетах Северо-Западного, Второго Белорусского фронтов и Северной группы войск.

Война подружила Сагингали Сеитова с Константином Симоновым, Максимом Танком, Левоном Мирзояном. Война для фронтового корреспондента закончилась в Берлине. В 1947 году фронтовик окончил факультет языка и литературы Казахского государственного педагогического института имени Абая. Трудовой путь его оказался успешным: инструктор ЦК КП Казахстана, директор Казгослитиздата, ведущий научный сотрудник Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова. Кандидат филологических наук. Автор ряда книг прозы и поэзии: «Сол-

даты просят слова», «Эхо», «Память», «Я всегда с вами», «Капли на тополях», «Товарищ время», «Доброта» и др.

Стихи С. Сеитова переводили лучшие поэты России М. Луконин, В. Цыбин, А. Скворцов, В. Урин, известны они также в переводах на украинский и белорусский языки.

Сеитов перевел на казахский язык М. Лермонтова, И. Гете, Г. Гейне, А. Навои, В. Маяковского, А. Твардовского, Янку Купалу, Мусу Джалиля и других поэтов.

Кроме того, С. Сеитов автор ряда литературоведческих книг. Имя ученого, как автора значительных монографий, исследований по истории казахской литературы, проблемам взаимообогащения литератур вошло в литературные энциклопедии многих народов.

Член-корреспондент НАН РКЕ. В. Лизунова вспоминала: «Пятьдесят книг за пятьдесят лет — за годом год, как вехи жизни, с которыми зорче видишь мир, духовную высоту национального характера в его единстве с другими народами. Стихи С. Сеитова выходят за границы республики: циклы военных стихов об Украине («Харьков», «Хай живе Украина», «Днепровская вода») рождают сборник стихов на украинском языке «К берегам Днепра». Многочисленные стихи о Беларуси — «Пинские болота», «Минск», «Константин Заслонов» — привлекли внимание белорусских поэтов, и в сборнике «Братство» публикуются его стихи «Белоруссия». Недавно вышла на казахском языке книга стихов С. Сеитова «Память» с вдохновенными циклами стихов о России, Украине, Беларуси, Азербайджане, Туркмении.

Так, благодаря поэтам, их взаимному притяжению обогащаются духовные связи народов, наследуется гуманизм великих классиков Востока и Запада.

Что свойственно книгам С. Сеитова? Здесь вся его биография, отношение к людям и эпохе, цельность его натуры, слияние с народом, стойкость солдата, знающего цену мира».

Известный поэт, ученый-литературовед, критик С. Сеитов награжден орденом Красной Звезды II степени, медалями СССР, удостоен правительственных наград Польши и Монголии.

В 2014 году в Минске был издан альманах «Созвучие» (составители — А. Бадак и А. Карлюкевич), задача которого — всемерно способствовать популяризации национальных литератур стран СНГ. Под одной обложкой опубликованы проза и поэзия литераторов почти всех бывших республик Советского Союза. Есть в альманахе и стихи Сагингали Сеитова. Книга переводной поэзии доктора филологических наук Вячеслава Рагойши «Глаза в глаза, мысль в мысль» включает раздел «Из казахской поэзии». На белорусском языке опубликованы и стихотворения Сагингали Сеитова «Моя анкета», «Брест», «Минск» и др.

Чистейшая лирика Людмилы Шашковой, уроженки Беларуси, — ярчайшая страница казахско-белорусских литературных отношений. Известный казахстанский журналист, автор поэтических и прозаических книг, член Союза писателей СССР и Республики Казахстан, председатель русской секции СП Казахстана Л. Шашкова пишет по-русски и по-белорусски, и народная белорусская основа обогащает ее русскую поэзию. Певучая основа белорусской речи, по мнению критика В. Михайлова, дает ее творчеству хороший творческий импульс. В 1991 году Л. Шашкова являлась участником съезда белорусов зарубежья. Ее судьба состоялась в Казахстане, но Беларусь занимает особое место в творчестве поэтессы. («Но отчего, скажите, и поныне, / Как только неспокойно где-то в мире — / Гудят, гудят колокола Хатыни, / Деревни Белоруссии гудят?»).

Поэзия Л. Шашковой начинается с благоговейного преклонеия перед белорусской землей. Характерная черта поэтического стиля Л. Шашковой — постоянное присутствие родной Беларуси в ее строках. Это и названия рек, озер, деревень, местечек, названия месяцев по-белорусски, пословиц и поговорок. «Влюбленная в культуру, в народ Казахстана Любовь Шашкова помнит свой родной край и с особым душевным трепетом рассказывает казахстанцам о березинских лугах, о криницах и мостках, о запахе земляники», — пишет А. Карлюкевич. Родная Беларусь видится поэтессе в васильковом венке.

Оттуда, из детства, образ Ваньки Бусела, хату которого сожгли фашисты вместе с детьми и теткой Марьей. Беларусь преодолела горькое наследие военных лет, «поднялась на крыльях журавлиных», но на исходе прошлого века пришла новая трагедия — Чернобыль: «Сосны твои здесь свечами оплыли, / Падает наземь смола». Чернобыльская

катастрофа окрашивает поэзию Л. Шашковой в иные, трагические тона. Над ее родной Василевкой расстреляли радиоактивное облако.

И вот несет она в глазах
За нас с тобою взятый страх,
И вот несет она в крови
Погибельность своей любви…

Особый талант поэтессы, по мнению В. Михайлова, заключается в умении рассказывать про казахскую степь мелодией белорусской речи, про восторг «пред лоскутком огня, упавшим с неба, пред маком, мерцающим в зелени, «как свечечки, манящие вдали».

Пейзажи Казахстана — неотъемлемая часть поэтического мира Людмилы Шашковой, как и пейзажи Беларуси.

Особое место в творческом наследии Л. Шашковой занимают поэмы. «На кутью» (из Янки Купалы) и «Рогнеда» навеяны мотивами белорусской литературы, славянского фольклора. Поэму Я. Купалы «На кутью» Л. Шашкова переводила непосредственно с белорусского, консультируясь с белорусскими писателями по отдельным языковым моментам. Так впервые появилась на русском языке эта поэма классика белорусской литературы, где каждая страница говорит чистейшим, многоцветным русским языком.

Лишь Млечный Путь начнет мерцать,
Лишь снег на поле заискрится,
Как чудеса свои являть
Выходит ночка-чаровница.

Так начинается поэма «На кутью». Ну а в такую ночь возможны любые чудеса. Потому что свои чары насылает лесная глушь, обвенчавшаяся с тишиной…

Л. Шашкова своей профессиональной деятельностью всемерно способствует упрочению наших духовных связей, ведет содержательную рубрику «Прочтение» на страницах «Казахстанской правды», благодаря которой читатели узнают о книжных новинках отечественной литературы, о ярких событиях международного сотрудничества. Она является составителем книги «Русские Казахстана», заведует отделом культуры журнала «Простор». Деятелям отечественной культуры посвящена ее книга очерков и эссе «Хранители огня». «Поражает, насколько интересные, многогранные личности открылись перед писательницей, — замечает А. Карлюкевич. — Это настоящие художники, каждый из которых не побоялся сказать правду о своем времени».

Впервые казахстанские писатели приняли участие в праздновании Дней белорусской письменности и в работе международной конференции «Художественный текст как средство общения народов» в Сморгони осенью 2009 года. «Урок любви к родному языку» — так назвала свой материал об этой поездке в Беларусь Л. Шашкова. «Общие для стран постсоветского пространства составляющие современного культурного процесса заставляли и на праздник Дня белорусской письменности посмотреть с точки зрения полезного опыта. Ведь задача сохранения и развития национального языка в Казахстане, как и в Беларуси, — одна из приоритетных в государственной политике», — писала она.

Тяготение к вершинам белорусского поэтического древа считает отличительной особенностью ее творчества А. Карлюкевич. «На кутью» — это не просто перевод, а новое, современное прочтение, осмысление классического, далекого от нас по времени произведения… Казахстан всегда был близкой Беларуси страной-сторонкой. Благодаря деятельности Любови Шашковой ширится присутствие Беларуси в Казахстане».

Рассказывает книга и о других литераторах Казахстана, чье творчество так или иначе связано с Беларусью: о Г. Доронине с повестью «Вторник», о его путевых заметках «Сквозь призму любви»; белорусская тематика звучит в творчестве Е. Зейферт, а в Кустанайской области руководитель национально-культурного центра белорусов Л. В. Шевченко издает на белорусском языке газету «Зубр» тиражом свыше 10 000 экземпляров…

Литературный процесс в Беларуси и Казахстане имеет много точек соприкосновения. Прежде всего это история наших стран и народов: революция 1917 года, коллективизация, Великая Отечественная война, восстановление народного хозяйства. В литературное воплощение этих тем и проблем внесли свой вклад и казахстанские, и белорусские писатели.

Олег ЖДАН

«Арбузы на пробу показывают красные языки…»

Рыгор Бородулин и Азербайджан

У белорусской литературы — прочные связи с национальной литературой Азербайджана. Еще в 1930-е годы азербайджанские писатели пропагандировали творчество народных песняров Беларуси Купалы и Коласа. Уже в 1935 году в журнале «Ингилаб ве меденият» («Революция и культура») появилось упоминание о Янке Купале. В 1939 году Купала входил в юбилейный комитет по празднованию 800-летия Низами. В 1940 году в Баку была напечатана на азербайджанском языке книга народного песняра «Мальчик и летчик». В разные годы в Баку на азербайджанском языке вышли книги Эди Огнецвет, Петруся Бровки, Елены Василевич, Павла Ковалева, Кастуся Киреенко, Якуба Коласа и других белорусских писателей. В последнее время Камран Назирли перевел несколько книг современных писателей Беларуси. В том числе — и тех, кто работает на русском языке: Николая Чергинца, Анатолия Матвиенко.

Знаю, что в разные годы в Баку побывали и сегодняшние активные участники белорусского литературного процесса — поэтесса и переводчица Татьяна Сивец, поэтесса, переводчица, литературовед Юлия Алейченко. Татьяна Сивец написала поэму, посвященную Азербайджану, — «Баку».

Но сейчас хотелось бы немного рассказать о связях известного белорусского поэта и переводчика Рыгора Бородулина с Азербайджаном. Его не так и много переводили на азербайджанский. Всего несколько стихотворений — об этом говорят публикации народного поэта Беларуси в газете «Эдэбият вэ инчесенет» и журнале «Улдуз» в 1975 и 1977 году. Переводчики — И. Исмаилзаде и А. Абдулла. Но зато точно известно, что в 1967 и 1981 гг. Рыгор Бородулин был в Азербайджане, открыл для себя Баку. Многие стихотворные строки белорусского классика посвящены Азербайджану, азербайджанским друзьям. Читаем в записной книжке Рыгора Бородулина от 7 сентября 1967 г.: «Баку. Утро. … На базаре мужчины. Арбузы на пробу показывают красные языки…» И еще: «Строительный камень бесподобный. Такой бы для Минска…» С того 1967 года — встречи и знакомства с писателями Оразом Мамедом (1933—2004), народным поэтом Азербайджана, Гаджой Фикретом, которому Рыгор Иванович посвятил «Поэму признания: Письмо в Азербайджан», опубликованную в книге «Рум» в 1973 году. Вероятно, в Баку Рыгор Бородулин был на войсковой стажировке, на сборах. В газете Бакинского округа ПВО. Где-то около трех недель.

А вот поездка 1981 года оказалась более насыщенной. В столицу Азербайджана Рыгор Иванович попал 31 мая 1981 года. Одна из первых записей в дневнике: «Поход по городу. Присутствие нефти в воздухе Баку. Узнаю и не узнаю город. Чайхана в тени деревьев…» Вместе с Рыгором Ивановичем была и бригада телевизионщиков. В их числе и кинооператор Владимир Пранько — лауреат Государственной премии Республики Беларусь, главный телеоператор Белтеледерадио. Читаем в дневнике поэта: «…По дороге встретили Вилайэта Рустамзаде (поэма о Беларуси, брат погиб, нашли следопыты), Машеров встречал. Согласился участвовать в передаче. В четверг будет подстрочник и оригинал концовки поэмы…» Белорусский поэт оставил в своих блокнотных записях названия

многих азербайджанских слов. Мастера стихосложения привлекла мелодия таких слов, как торпаг — земля (родина и все стихи о земле, планете), нагыл (сказка), лайла (колыбельная)… Все открытия белорусский поэт делал по старому словарю. В Баку Бородулин знакомится и с Сабиром Ахмедовым — азербайджанским прозаиком, а также с писателем Исмаилом Мамедом — поэтом, прозаиком, публицистом.

Одна из встреч при подготовке телевизионного фильма — с Героем Советского Союза Асланом Везировым (1910—1988). Она просто не могла не состояться. Во время Великой Отечественной войны Аслан Везиров освобождал Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. В мае 1944-го он был назначен командиром 1-й гвардейской штурмовой инженерно-саперной бригады. Участвовал в прорыве оборонительных сооружений немцев на реках Проня и Бася. Форсировал Днепр в районе Могилева. Бригада получила почетное наименование «Могилевская». За умелое руководство бригадой в этих боях (и еще будучи дважды контуженным, Везиров не покинул поле боя) командира наградили вторым орденом Красного Знамени. Во второй половине июля 1944 г. 1-ю бригаду передислоцировали в район Новогрудка, где она действовала в составе 50-й армии. В ходе Белостокской наступательной операции бригада обеспечивала переправу частей армии через Неман. За штурм крепости Осовец Везиров был награжден третьим орденом Красного Знамени. А вскоре был отмечен еще одним орденом Красного Знамени. Уже за бои при взятии Берлина славному сыну азербайджанского народа присвоили звание Героя Советского Союза.

…Несомненно, та майско-июньская встреча Рыгора Бородулина с Азербайджаном и азербайджанцами много интересного привнесла и в его творчество, и в осмысление далекого от Беларуси края. Ветер Каспия навечно остался в поэзии народного поэта Беларуси. В этом сомневаться не приходится. Уверенно сужу об этом еще и потому, что знаю, с каким интересом, душевным трепетом приходил в минскую мастерскую азербайджанского художника Камиля Камала Рыгор Иванович. И от всего сердца написал душевные, яркие строки о мастере живописи и графики. Приведу стихотворение Рыгора Бородулина в оригинале, на белорусском языке:

Горы горда вулканіў Каміль Камал
Верай і дасканалейшым клёкам.
Жарсці спякотнай нястрымны абвал
Плён прыпыніў несурочыстым вокам.

Шматаблічацца шчырыя духі ў гарах
І сябе зразумець намагаюцца самі.
Гром з заснежаных стром
Страх змятае, як прах.
Мроі дзёрзкія смела лунаюць з арламі.

У галлі бліскавічным,
У ледніковых карчах
Гнездзішчы незямной непакоры.
У камілякамалаўскіх гор на плячах
Любяць недатыкальна задумацца зоры…

(«Камількамалаўскія горы», 9 снежня 2002 г.).

А азербайджанец Камиль Камал, который вот уже почти сорок лет живет в Беларуси, Минске, нарисовал портрет Рыгора Бородулина. И теперь, когда поэта уже несколько лет нет среди живых, оформил книгу его переводов китайской поэзии. Когда мы с Камилем Камалом смотрели иллюстрации к этому изданию, художник сказал:

— Хорошо бы собрать стихотворения азербайджанских поэтов. Переведенные Рыгором Бородулиным, добавить в сборник его поэтические произведения, посвященные Азербайджану и азербайджанцам, а я бы все это оформил своими рисунками… Стихи Бородулина и стихи на белорусском Самеда Вургуна, Фикрета Садыга, его поэму «Тринадцать свеч»…

Что ж, будем верить, что и такой проект литературной, творческой дружбы двух истинных мастеров искусства состоится, будет воплощен в жизнь, а у наших национальных культур появится еще один мост дружбы.

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ

САЛАМАХА Владимир Петрович. Родился в 1949 г. в д. Бересневка Кировского района Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Прозаик, публицист, киносценарист. Автор книг прозы «На ўзмежку радасці», «Прывід у скураным крэсле», «Напрадвесні» и др. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь и Национальной литературной премии. Живет в Минске.

МАЛЯВКА Микола (Николай Александрович). Родился в 1941 г. в д. Миколаевщина Столбцовского района Минской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Поэт, переводчик. Автор многих книг для детей и взрослых. Лауреат Литературной премии им. Аркадия Кулешова, премии Федерации профсоюзов Беларуси, Специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства, премии «Золотой Купидон». Живет в Минске.

КАРЕНДА Иван Арсеньевич. Родился в 1950 г. в д. Кривичи Ивьевского района Гродненской области. Окончил филологический факультет Гродненского государственного педагогического института им. Янки Купалы, отделение журналистики Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ в Москве. Автор ряда книг прозы и поэзии для детей и взрослых. Живет в Минске.

АВРУТИН Анатолий Юрьевич. Родился в 1948 г. в Минске. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик. Автор многих книг поэзии. Член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств и Академии поэзии (Москва). Лауреат нескольких международных литературных премий и Национальной литературной премии. Живет в Минске.

ПЕТРЕНКО Юлиана (Юлия Витальевна). Родилась в 1981 г. в д. Жгунь Добрушского района Гомельской области. Окончила Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. Печаталась в журналах «Маладосць», «Нёман», «Полымя» и др. Автор книги «На досвітку». Лауреат конкурса «Первая глава. Четвертый сезон» издательства «Регистр», областной литературной премии имени Кирилла Туровского. Живет в Гомеле.

ДУБРОВСКИЙ-СОРОЧЕНКОВ Алесь (Александр Владимирович). Родился в 1976 г. в Новогрудке. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета, магистратуру и аспирантуру при кафедре теории литературы. Кандидат филологических наук, доцент. Автор книг поэзии «Паміж небам і багнаю» и «Эстэтыка маўчання». Живет в Минске.

АРТЮХ Змитер (Дмитрий Владимирович). Родился в 1978 г. в д. Рутка Новогрудского района. Окончил Минский государственный педагогический колледж УО МГПУ им. М. Танка и факультет журналистики Белорусского государственного университета. Печатался в журналах «Першацвет», «Алеся», «Маладосць», «Полымя», «Врата Небесные» и др. Автор книг «Вясна ў кароткім паліто…», «На скрыжаванні». Живет в Минске.

ЧЕЧИК Феликс Михайлович. Родился в 1961 г. в Пинске. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Стажировался в институте славистики Кёльнского университета. Автор сборников поэзии «Неформат», «Стихи для галочки», «Из жизни фауны и флоры», «Улитка ползет», «Сирень», «Муравейник», «ПМЖ». Лауреат «Русской премии» за 2011 год. Живет в Нетании (Израиль).

ДЖО АЛЕКС (Сломчинский Мацей). Родился в 1920 г. в Варшаве (Польша). Польский писатель, переводчик и драматург. Автор псевдоанглосаксонских детективов и милицейских повестей, среди которых «Я третий нанесла удар», «Лабиринты смерти», «Пусть найдут своих врагов», «Черные корабли», «Серая тень» и др. Кавалер ордена Возрождения Польши. Умер в 1998 году в Кракове (Польша).